

В ДЕРЖАВ
ИМЕННИК



К жизни //Мастацкая літаратура, Мінск, 1989
ISBN: 5-340-00374-4
FB2: "fb2design", 28 June 2012, version 2.0
UUID: BC2B5FFA-1D5F-4A4F-AC48-43BA2C9ACA45
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

К жизни (сборник)

В книгу известного русского советского писателя В. В. Вересаева (1867–1945) вошли произведения, давно не публиковавшиеся — повести о судьбах русской интеллигенции в конце XIX — начале XX века, ее отношении к революции и народу: «Без дороги», «На повороте», «К жизни» и роман «В тупике», являющийся одной из первых попыток в нашей литературе без прикрас создать объемное повествование о гражданской войне.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Ф.И. Кулешов. Подвижник	0005
Без дороги	0006
Часть первая	0006
Часть вторая	0107
Поветрие	0174
На повороте	0217
К жизни	0449
Часть первая	0449
Часть вторая	0624
В тупике	0690
#1	0690
Часть первая	0690
Часть вторая	0853
Часть третья	1074
Исанка	1131
Часть первая	1131
Часть вторая	1160
Часть третья	1190
Euthymia	1217

**Викентий Викентьевич
Вересаев
К жизни**

Ф.И. Кулешов. Подвижник

[Текст отсутствует]

Без дороги

Часть первая

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино
Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сушчок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

*И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять...*
[1]

Кругом все так близко знакомо — и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время...

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться, уничтожиться телом, душой, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня»[2]. Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю — это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Созна-

вай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом, — оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое мирозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман [3] говорит, что убеждения наши — плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в моем мирозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени — сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так

изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось: неужели *эти* — всего только младшие братья, вчерашних. В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло во все не во имя каких-либо новых начал, — о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство — ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил... Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной урод-

ливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обесмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля»[4]. Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел, наконец, к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, — что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, — так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты — какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земско-

му врачу, было много, особенно в последний год, — работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдать ся делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя — вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то *enfant terrible*[5]; председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома, на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с

реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету, — сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

— Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! возьми простыню, повесь на

дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погребца... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, — говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. — Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

— А как же? Разве без барышень можно? — спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже — рыцарь! — сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни — aqua vitae? — спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»... — Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки. — А ведь остроумно придумано! — сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом. — Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши? — спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу. — Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, — ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы

Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я нырнула, — быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно? — изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови. — Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! — сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «спасайся, кто может!», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились? — вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и неза-

метно повела взглядом на отца; значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? — спохватился дядя. — Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны — самое любимое кушанье. — сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но — признаться — скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатилетний сильный парень, с мрачным, насупленным лицом — молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время подельывал, — сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не

хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил — вот и все... А скажите, — я сейчас через Шеметово ехал, — кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц. Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я, студентом, приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое? — грозно крикнула тетя. — Кто это там?

— Это — я! — торжественно объявил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь-мальчишка!

— Это я читать кончил, — объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это? — спросил он, побрякивая. — Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крикнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя выпустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? — спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, — стройная, худощавая блондинка с мато-

во-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера, — сказал я. — Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить,

Дядя засмеялся и встал из-за стола. — Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать![6]

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть? — спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыканты начинают! — почтительно произнес Петька и

ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет! — рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и

помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно — неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотой и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?.. Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понутив голову. Дремлет ли он или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

— Митя, пойдем мы сегодня гулять? — ше-

потом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами

— Конечно! — тихо ответил я. — А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод... Раздались громовые заключительные аккорды Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

— Славно, Вера, ей-богу, славно! — воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

— Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни... — любезно сказал он.

— Именно, именно, камни укрощает! — с мальчишеским чувством подхватил я. — За

вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму, — шутливо шепнул я ей.

— Благодарю! — ответила она, улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

— Ого! уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи! Как это?.. э... э... *Leben Sie wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!*..[7] Ххе-хе-хе-хе? — Дядя засмеялся и протянул мне руку. — Немцы без *бира* никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! — сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

— Тетя, посмотрите, какая ночь!

— Да Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

— Речь тут не обо мне, тетя...

— Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

— Ну, значит, позволяете! — заключил я. — А мальчиков можно с собой взять?

— Э, да уж идите все! — махнула она рукой. — Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

— Ну, что же, господа, на лодке поедем? — шепотом спросил я.

— Конечно, на лодке!.. В Грёково, — быстро сказала Наташа. — Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?..

Все были как-то особенно оживлены — даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

— Вот, Митя, потеха была сегодня! — смеясь, заговорила Наташа. — Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад, — я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме, — вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюш-

ки! Спасайся, кто может!» — и как была, одетая, — в воду! — Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? — краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида, молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном обращении, к ней слову.

— И вся, вся замочилась, выше пояса! — хохотала Наташа. — Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

— «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо! — в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

— Да ну, Петька, пошел прочь! — с досадой сказала Лида. — Вешается ко всем.

— Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? — меланхолически произнес Петька. — Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

— Ну, Петька! Шут! — лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по кособогу спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под

гору.

— Ай!.. Ната-а-аша!!! — закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессиленная от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

— Да ну, Петя... Ради бога!.. Ох! — стонала она, хватаясь за грудь. — Будет!.. Ох, не могу!.. О-о-ох!

— О-о-ох! — вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками и все-таки смеялась.

— Ну, Верка, размякла совсем! — презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки. — Настоящая рыба!

— Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно, — запротестовал я.

— Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем! — крикнула Наташа.

— О-ох, Наташа, Наташа! — вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке. — Что ты со мною делаешь!

— Да ну же, садитесь скорей! — повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла, Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа — у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки, над лугом, высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синею каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назад; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосой отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

— Ах, какая чудная луна! — томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

— Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз

мы с нею шли в Пожарске через мост: на небе луна — тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

— Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я — рыба. Разве рыбы бывают сентиментальные? — спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

— Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! — великолепная луна!»

Соня состригла неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

— Господа, давайте голоса ночи слушать, — предложила Наташа. — Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем при-

близилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забилась муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

— Как Вера на луну! — сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

— Ну, господа, дальше можно ехать, — сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

— Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали, — сказала она, с детскою ласкою заглядывая мне в глаза.

— За что выгнали? О, голубушка, это история долгая...

— Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвину-

лись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну, я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

— Что же он? — быстро спросила Наташа.

— Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо: ну, а так врачу не пишут.

— Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить, — сказала Вера. — Ведь он же ваш начальник?

— Да ну, Вера! всегда вот такая! — нетерпеливо повела Наташа плечами. — Так что ж такое?

— Как — что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он нежена-

тый человек.

— Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест, сказал я. — Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями, — подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

— Свобода вероисповедания... — задумчиво произнес Петька.

— К чему ты это сказал? — с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

— К чему я это, правда, сказал? — проговорил он с недоумевающей улыбкой. — А все-таки есть смысл.

— Какой же?

— Го-го! Какой! Свобода вероисповедания, — из-за нее в средние века сколько войн происходило.

— Ну, так что ж?

— Ну, так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг схватила обеими руками Веру и, хохоча, ста-

ла душисть ее поцелуями. Вера вскрикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу; она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

— Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! — говорила Вера, оправляя прическу.

— Скорей, господа, скорей гребите! — говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

— Сильней гребите, сильней! — смеялась Наташа, нетерпеливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошной стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей. — Ну, вот, приехали! Вылезайте!

— Спорить трудно: действительно приехали! — засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

— Однако! Довольно-таки по-суворовски! — сказала она, поднимаясь.

— Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роце ужином накормлю.

— Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

— Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть, — сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

— Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал! — вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

— Эй, вы... акафисты! — донесся из-за кустов голос Петьки. — Идите сюда: тропинка!

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревшая рожь. Так и пахнуло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

— Ох, устала! — проговорила Вера, опускаясь на траву. — Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

— Фу ты, безобразие! Как старуха охает! — сказала Наташа. — Сколько раз ты сегодня охнула?

— Старость приходит, о-ох!.. — вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

— Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! — испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

— Наташа, да сойди же сию минуту, — волновалась Вера.

— Ну, Верка, не сентиментальничай! — засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

— Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бо-ога!..

— Наташа, да ты вправду с ума сошла! — воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

— Ну можно ли, Наташа, так?!. Что, ты больно ушиблась?

— Да ничего же, Митя, что ты! — ответила

она, вспыхнув.

— Не может быть ничего: с такой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

— Ах, Митя, какой ты чудак! — рассмеялась она. — Ну, что это — из-за каждого пустяка такую тревогу поднимать!

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

— Это бог знает что такое! — сердито встретила ее Соня. — Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

— Кому до этого дело?

— Ах, господи! — всплеснула Вера руками!.. — Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело»! Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

— Всегда, постоянно и постоянно... — благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих

СЛОВ.

— Ну, ну! *просто* — постоянно! — улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

— Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

— Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! — сказала Наташа. — Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до рощи.

— О, Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

— Вот и дома тоже: когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно, — сказала Вера. — И мальчики сейчас этим пользуются.

— Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? — удивленно спросил я.

— О, да еще как! — улыбнулась она. — Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь, — они сейчас подхватят, я и рассмеюсь. Особенно Саша, — он та-

кой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

— Ну, ну я сейчас кончу! — торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покатился в рожь.

— Дурак! — слышалось изо ржи.

Миша гневно крикнул:

— Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

— Думает, что сильнее, старший братец, так может что хочет делать! — сердился он.

— Да в чем дело? Миша, за что ты его? — спросила Соня.

— Черт знает что такое! Иду, — вдруг он

меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

— А я почему знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит — длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

— Глупо-с, Петенька! — ядовито заметил Миша.

— Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

— Шут гороховый!

— О-о-о-хо-хо! — глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам. — У Наташи в глазах две курсистки сидят, — объявил он. — В каждом глазу по курсистке: одна в очках, другая без очков,

— Ну, оставь, Петя! — недовольно остановила Наташа.

— А ты разве на курсы собираешься? — быстро спросил я.

— Н-нет... не знаю, — ответила она и взглянула вперед. — Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полосой вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая

осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

— Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин, — с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

— Откуда это у тебя тут?

— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь — разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

— Г-ге-ге! это нужно вперед знать, — сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для кост-

ра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела, не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно. Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно — кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало

на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли, наконец, на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

— Слушай! — сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая; и вдруг, близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок... Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы твякнула собака. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

— Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! — предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

— Что ж, Митя, будем мы молоко пить? — спросила Наташа.

— Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

— А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх

молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

— Господа, извольте только все молоко выпить! — объявила она.

— Почему это?

— А то мама увидит, что не всё выпили, и вперед будет меньше оставлять.

— Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепилась, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы — и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чирканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сон-

ным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водой.

Спать!

21 июня

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробирается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издали доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так, хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо — синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкой, нежною прохладой; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы.

Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений: что гречневая каша — национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «Каша — мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские — водку и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

— Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься? — сказала Софья Алексеевна. — Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

— У тебя какие же на этот счет «принципы»? — спросил я.

Наташа засмеялась.

— Я не знаю, о каких мама принципах говорит, — ответила она, садясь рядом со мною. — А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь, правда, смешно?

— Ничего смешного нет, — поучающе возразила Софья Алексеевна. — Это известное

условие между людьми, которое...

— Нам все смешно, нам все решительно смешно! — вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу. — Здраваться и прощаться — это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке, — предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним — это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкою наклонилась над своею чашкою и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то, не раз уже вызывавшее их на столкновения.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый женский медицинский институт[8]. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи; двадцатитрехлетней Соне, по-видимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дожидаться вну-

чат. Между тем Наташа, с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлой осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец он объявил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григоревского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен Государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятель-

ная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказал наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно объявил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

26 июня

Может быть, это — лишь следствие того подъема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа, — что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры, — чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; те-

перь она свалена в верхней кладовой и служит пищею мышам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с жития-ми святых, Руссо — с крепостным правом, «*Les liaisons dangereuses*»[9] — с Фомою Кемпийским[10], — жизнь жестокою, наивную, сладострастную и сентиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомо, и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня, чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение,

что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцитоза[11] или о вероятности гипотезы Альтмана[12]. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое. И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться, — и вместо этого пошел в земские врачи. Она спрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова: «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

27 июня

Со станции привезли газеты. В Баку — холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

28 июня

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли на дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена — это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания в даль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного, — в этом она вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он — «замечательный человек»: для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но...

право, полюбить, например, героя Гарибальди — «невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «Если он умрет, — и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию...

Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины».

Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье, — что до того? Ведь это не забава и не фон для поэтического романа; это — тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев...

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа. Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и столько в этом взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению замну разговор. Ну, вот, — я не остановился, не свел разговора на другое... О, мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренно, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. вечера

Весь вечер я просидел наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскры-

ты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

— Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я — я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и

прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком вилянье перед Наташей, меня злость берет: уж два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и недоумевающе. Бог весть, как объясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре; она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо. Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке слабо чувствуется их запах; все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он

застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожею, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед, как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес; я придержав Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля, —

Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо ног лошади и вдруг, словно что вспомнив, взмахнула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильнула обратно. Бесенок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами. Я повернул на дорогу, вившуюся среди ржи по направлению к Санинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я не был, — я чувствовал, что грудь моя больна, но мне доставляло даже удовольствие это совершенно безболезненное ощущение гнездящейся во мне болезни, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательских желтеньких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях, — а я вот еду и дышу полною грудью, и все у меня в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я — чахоткою...

Вспомнился мне профессор N., у которого я два года работал, — хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомнились мне его предостережения, когда я сооб-

щил ему, что поступаю в земство[13].

— Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба? — говорил он, сердито сверкая на меня глазами. — Туда идти, так прежде всего здоровьем нужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью, — выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки — и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуете ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело — клиника, лаборатория. Поедете — в первый же год чахотку наживете.

Я знал, что все это правда, и тем не менее поехал же; я и под дождем мокнул, и в полыньи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к роженице, корчащейся в эclamптических судорогах. Когда ночные поты и утренний кашель навели меня на подозрение и я нашел в своей мокроте коховские палочки, — именно сознание, что я добровольно шел на это, и не дало мне пасть духом. И вот теперь я стыжусь... чего? — стыжусь говорить, что нужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледневшее личико Наташи с боль-

шими, печальными глазами... Да неужели же я не имею права хоть настолько-то уважать себя, чтоб не бояться разговора с нею, не бояться того вопроса, с которым она хочет ко мне обратиться? А как я ее мучил!

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинников, ярко зеленела костяника; запахло папоротником... Утомившийся Бесенок шел щеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте дороги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, пода-

лась назад.

— Наташа! ты каким образом здесь? — радостно крикнул я и поспешил ей навстречу. — Здравствуй, голубушка! — Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

— Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?..

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

— Поедем, мне все равно, — в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчишка.

— Ну, вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь съехались? Как хорошо — правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лощину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно ржал на шедшего бок о бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые ветви осиной то и дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга. — Я там была сейчас, — сказала Наташа, — ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать, — нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина — это глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная, красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем, смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

— Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу домой, — засмеялся я. — Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая, как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

— Вот дорога, как раз для скачек, — сказал я и с улыбкою взглянул на Наташу.

Наташа встрепелулась.

— А ну, давай опять перегоняться! — предложила она, поправляясь на седле. — Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

— Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только что они рассказали и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами земли. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут вбок, и скакали по-прежнему; но поросята неуклюже все мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

— Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут! — крикнула Наташа,

смеясь.

Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и трясь боками друг о друга.

Мы попытались осторожно объехать их; поросята взвизгнули и опять как угорелые бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

— Вот так задача! — сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

— Ничего, все равно, поедем! — сказала Наташа. — Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой: вон куда они забрели, их еще волки съедят! Поедем к Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествоваемые поросятами.

— Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок — маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама случайно

заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут»...

Никогда еще я не видел Наташу такую; ее лицо так и дышало детскою, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщовой рубахе и лаптях, вышел нам навстречу.

— Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы! — сказала Наташа, соскакивая с лошади.

— А-а, барышня касаткинская, — воскликнул Денис, щурясь. — Просим милости, пожалуйте. — Сунув шапку под мышку, он взял за повод наших лошадей.

— Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молочком... Едем мы сюда, — вот он и говорит: не даст нам Денис молока! Кто, я говорю, Денис-то не даст?

— Господи! Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйте в горницу. Девка-то моя на де-

ревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то и дело самым степенным образом гладил свою жидкую бороденку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатление, будто маленький ребенок старается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

— А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда? — сказал Денис. — Смотрю, смотрю, — нет, чтой-то словно...

— Он недавно только приехал...

Денис поглядел на Наташу.

— Они что же, барышня, — уж не обессудьте на вопросе, — не женишком ли вам придется?

— Ну, да же, конечно, женихом!

— То-то я все смотрю... Чтой-то, думаю, — с

чего такая радость?

— Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти — дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

— Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все? — неизвестно!

— Вот-вот. Ну, а я вот нашла себе.

— Ну, дай вам бог счастливо!.. Они, что же, по акцизной части[14] служат?

Наташа расхохоталась.

— Голубчик Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

— Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе! — рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой

воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо; я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была теперь не любовь, тут было нечто другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь — отдохнуть, ни о чем не думать. А Наташа стоит передо мною — верящая, ожидающая...

11 час. вечера

Ну, произошел, наконец, разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чащи несло росой. Я остановился в две-

рях и закурил папиросу. Наташа обернулась на свет спички.

— Ах, это ты, Митя! — тихо сказала она, выпрямляясь. — Хочешь, пойдем в сад?.. Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно тербила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

— Помнишь, Митя, — вдруг решительно заговорила Наташа, — помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно, — что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя, много думала об этом... Ведь это ужасно — жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил, — ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня поднималось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она, наконец, понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немного пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне при-

ходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка.

Наташа замолчала.

— Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами, — проговорил я. — Ну, как ты, с охотою занималась, нравится тебе это дело?

— Д-да, — сказала Наташа, запнувшись.

— Ну, вот и дело. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи в сельские учительницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтись с ним, влиять на него...

Я говорил, как плохой актер говорит заученный монолог, и мерзко было на душе. Мне вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустив голову.

— Голубушка, это дело мелко, что говорить, — сказал я, помолчав. — Но где теперь блестящие, великие дела? Да не по ним и узнается человек. Это дело мелко, но оно дает великие результаты.

Я почти физически страдал: как все фаль-

шиво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа видит меня насквозь; и казалось мне еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увидел, какая безнадежная пустота во мне...

— Вот это прелестно! — раздался в темноте голос Веры. — Мы с Лидой играем для них, стараемся, а они себе ушли и гуляют здесь! Стоит вам играть после этого! Никогда не стану больше!

Вера, Лида и Соня подошли к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля

Привезли газеты. На меня вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходится все шире, как степной пожар, и захватывает одну губернию за другою; люди в стихийном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещие слухи. А наши медики дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозной гостье. Столько силы чувствуется, столько молодости и отваги. Хорошо становится на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля

Я в Пожарске. Приехал я на лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какие-то покупки. Мы остановились у Николая Ивановича Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач и имеет в городе обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович — славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории.

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губернию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье

На заборах и фонарных столбах расклеены

объявления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем прозойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный ход по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных, к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ Тихвинской божией матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий, — всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна — ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку с трясущею головою и

сострит:

— Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесарске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный съезд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск. Он вытаращил на меня глаза.

— В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

— С какой стати?

— Да не слыхали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня и оглядеться не дадут.

— Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

— Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас, ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится;

а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «войска давайте!» И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили — для себя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу... Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! Да чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет идти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение вдруг стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пихнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

— Ну, пойдём и мы следом! — сказал Виктор Сергеевич. — А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевич ещё раз настоятельно посоветовал мне заблаговременно взять свое заявление назад.

6 июля

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, придется ждать больше недели. Вчера вечером, перед отъездом из Пожарска, мы пили у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Иванович рассказывал мне о своих исследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная и доложила ему, что его хочет видеть «один человек».

— Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел! — сказал Николай Иванович.

В дверях залы показался высокий человек в мещанском пиджачке и стоптанных сапогах. Он поклонился и смиренно остановился у порога.

— Чего тебе, братец? — спросил Николай Иванович.

— Вот карточка вам от Владимира Владимировича.

Николай Иванович пробежал несколько строк, написанных на оборотной стороне визитной карточки, слегка покраснел и нахмурился.

— Ах, виноват! Очень приятно познакомиться! — и он протянул вошедшему руку. — Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Господин Гаврилов! — отрекомендовал он его нам.

На тонких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклонился и так же смиренно сел к столу на кончик стула. Это был худощавый человек лет тридцати пяти, с жиденькой бородкой и остриженный в скобку; выглядел он мелким торгашом-краснорядцем или прасолом, но лоб у него был интеллигентный.

Николай Иванович еще раз прочел карточку и спросил:

— Вы чего же собственно хотите?

— В этом году, как вы изволите знать, —

начал Гаврилов с тою же чуть заметною усмешкою, — Россию посетил голод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиною и соломою, сотнями мрет от цынги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделялось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, обедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу как подачку и только развращало его, потому что всякая милостыня разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда — холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

— Общество, разумеется, по-прежнему

остаётся достойным себя, — продолжал Гаврилов. — В этой новой беде, которая грозит уж и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

— Общество должно, наконец, прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдаст ему. «Другие трудились, а вы вошли в труд их», — говорит Иисус...

— Извините, пожалуйста, — прервал его Николай Иванович. — Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

— Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

— Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих? — медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

— Нам нужны ваше сердце, ваш ум, — сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись, на небрежный вопрос Николая Ивановича. — Деньги — это последнее; *только* деньги нам не нужны. И во всяком случае я пришел просить у вас не денег.

— А чего же-с?

— Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

— Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь, — прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

— Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

— Ну, а после нее — деньги? Ведь за хлеб купцу нужно заплатить деньгами, а не любовью.

— За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

— Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

— Странно! Я здесь никого не знаю, всего

только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

— Ну, исполать вам!.. — засмеялся Николай Иванович. — Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в ко-торой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят — в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они по-морщились. «Посмотрим, говорят, может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек, — возьмитесь за дело как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!» И знаете, какой из этого вышел результат?

— Какой же вышел результат?

— Ну, как вы думаете?

— Ну-с?

— С тех пор меня перестали приглашать в этот дом! — отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно посмотрел на него.

— Зачем вы лечите таких? — спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

— Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

— Какого же рода «активной работы» желаете вы от меня? — спросил Николай Иванович, нахмурившись. — Прикажете идти в деревню, в народ?

— Народ не только в деревне, а и в городах, везде, — и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно: чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку, — погорелец знает, что он — товарищ, потерпевший несчастье. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятак, погорелец — нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего, и бе-

рущего. Господа съезжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона[15] на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа[16], а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья мать добрее — Ахтырская или Казанская, и на скольких китах стоит земля. Это — два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренной улыбкою спросил:

— Извините, может быть, я вам наскучил?

— Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

— Ближе стать, к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

— Да-с? — выжидательно сказал Николай Иванович.

— Приближается холера. Народ голодает — это лучшая почва для нее; народ невеже-

ствен — и это отнимает у него последние средства защиты. Пора. Пора же сознать, что когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать. (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками.) Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты — нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди рады, если раздобудутся к обеду парюю картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкивать только свою совесть.

— Если я вас понял, — проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку, — вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать... Так?

— Да-с! — ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

— Ну, скажите, господин Гаврилов, — уверещающим тоном заговорил Николай Иванович, — неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

— Почему вы полагаете, что это вздор? — спросил Гаврилов с своею быстрою усмешкою, несколько не обидевшись.

— Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

— Если вы одни так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы — один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удастся у нас ничего, что

все руководствуются лживою, но очень удобною половицею: «Один в поле не воин».

— Д-да, картина во всяком случае довольно умилительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья»-постояльцы бьют себе баклуши на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

— Где мне ее прикажете взять?

— Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

— Ну, хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями? — И он в комическом недоумении развел руками.

— Семьи можно бы в настоящее время и не иметь, — сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

— А-а! — расхохотался он, вставая. — Теперь, батенька, я вас узнал. Это — известная Zweikindersystem или, еще лучше, «Крейцерава соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уже и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы — толсто-вец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

— Я не слышал, чтоб «всё это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а Zweikindersystem тут ни при чем. Это — старая истина, которая *не может* быть опровергнутой. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. *И враги человеку — домашние его*», — сказал Иисус[17]...

Николай Иванович резко прервал его:

— Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Иисус, я знаю только Иисуса Христа.

— Виноват! — почтительно ответил Гаврилов. — Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоесте-

ственными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и проистекающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства, о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

— Господа, однако уж восьмой час! — обратился он к нам. — Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

— Я, кажется, слишком долго засиделся, — сказал он со смущенной улыбкой. — Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

— Мы? — переспросил Николай Иванович и поднял брови. — У вас что же, партия целая есть?

— Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо должно ставить выше лично-

го.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

— Господи, боже ты мой! — воскликнул он, оглядывая нас. — Сколько чуши можно наговорить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

— Да, этот человек по крайней мере знает, чего хочет, и верит в это, — сказал я, наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянущиеся по сторонам поля.

— И все-таки он лучше всех, которые там были, — процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначущими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее на-

хмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго создаваемое душевное спокойствие разлетелось прахом, — и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким маленьким и жалким. И передо мною опять встает вопрос: ну, *а что, чем же я живу?*

Время идет — день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить, — жить, боясь заглянуть в себя, боясь прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мне мое честное и гордое мирозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которой я живу одной жиз-

ню, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако обмануть себя я не в состоянии. Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание — лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненависть чувствую ко всем этим тунеядцам, начиная с темно-го Чулкатурина[18] и кончая блестящим Плошовским[19], я не могу простить нашей чуткой славянской литературе, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чухоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом помотришь, — жизнь молчит, как могила.

8 июля

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Страшная эта музыка: глубоко-тоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдая; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого, — мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней и крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки по-прежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось, я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, во

влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белесоватые облака мигали редкие звезды.

— Хочешь, Наташа, на лодке ехать? — спросил я, помолчав.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

— Пойдем, — сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

— Как река прибыла! — тихо сказала Наташа, видима, чтоб только сказать что-нибудь.

— Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Эта так всегда после дождя.

— А ну! — Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше.

Теперь я видел, что обманулся в себе: я не знал, как начать и о чем говорить. Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лоцинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно

ее душили. Мы долго плыли молча. Наташа сидела, по-прежнему опустив голову. Из-за темных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть симфонии, — победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

— Митя! Помнишь, мы раз с тобою шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

— Что тебе сказать на это? — ответил я, наконец. — Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от меня ждала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе,

как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить — и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу, — как будто ты в этом виноват. А между тем идет время...

*Есть силы, — боже, гибнут силы!
Есть пламень честный, — гаснет
он!*

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всюю силою души верю, — это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого себя, — нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты доверишь, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком общо. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы

захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «Вот тебе знамя, — борись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: *я не знаю!* — в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я ни дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею ласкою. Но тогда она ждала от меня того, что дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной, — смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить...

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я; у него *ничего* нет, — в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидно и бесповоротно... Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу, — разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье

придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

— Я все-таки думаю, что ты ошибаешься, — тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте. — Неужели, правда, необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

— Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа по-прежнему неподвижно стояла в лодке.

— Ты еще не пойдешь домой?

— Нет, — коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа

снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола, — без мысли, без движения, в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я — я положил в ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?.. И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает несчастных людей.

9 час. вечера

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит

приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля. 12 час. ночи

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем — стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворчит — и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев. Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

— А-а, доктор! Здравствуйте! — встретил меня Виктор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь. — Все ли в

добром здоровье?

— Вот, Виктор Сергеевич, — сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях, — сей молодой человек, не желая спасать от холеры нас, уезжает на войну с холерными залитыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

— Вы таки едете в Слесарск?! — недоверчиво спросил он.

— Разумеется, — ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водой и взглянул в нее на свет.

— А вы что же, Виктор Сергеевич, разве не сочувствуете сему геройскому подвигу? — спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

— Отчего не сочувствовать? — равнодушно произнес он, вытирая салфеткой усы. — Убьют его там через неделю, — ну, так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

— Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на

язык! Что это такое — «убьют»!

— Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это за народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

— Что же это за народ, Виктор Сергеевич? — спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

— Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того — карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарствие» в такое место выливать? Да стаканчик раствору ихватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружил его и начал расправу; били его, били — насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

— О боже ты мой! — в ужасе воскликнула

тетя. — Ну, слава богу еще, что этого так не оставили: все-таки на них теперь страх будет.

— Страх? — расхохотался Виктор Сергеевич. — Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрязнула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут, — один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар — все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать, выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе, говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они намедни с фабрики, рассказывают: ребята сговорились, — если докторов в Заречье пришлют,

всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдём. Никаких моих уговоров не слушают, погубят свои головы...» Ведь это уж сознательный заговор! — закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ. — И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске, — нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

— Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется, — неохотно заметил я.

— Да? — рассмеялся он. — А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается? _

— Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.) Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

— Ну, вот видите! — закончил он. — Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы, все равно, ничего не сможете, — никто к вам и не обратится, — а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?.. Ну, во-от!.. — И он добродушно захохотал.

— Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай! — взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

— Ну, мама!..

— Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

— Да уж поздно теперь, тетя! — засмеялся я. — Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уж запрягли тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окружающим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в ярост-

ный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который действительно возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный, — и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлипнула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза — детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа вдруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и

улыбался в темноту.

3 часа ночи

Лег было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно не заснешь. Светает, в окно видна широкая, пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренно ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить, окруженным всеобщей ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со мною может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно — и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно, в холодном утреннем тумане тянется Заречье... Покорю ли я его или оно меня раздавит?

Часть вторая

15 июля

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие веселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трех-оконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпает за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то

мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравятся счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несется заунывная песня... Гаснет заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно снуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке — фельдшер-хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом

«да!». Расспрашивал я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака; он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестно мне стало за мое повышенное настроение духа.

Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел, — маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны навывпуск, по всему видно — прощельга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приготовлял серно-карболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой, — на руку попадет, так всю руку разъест, — в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор, — неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать,

«санитарный отряд».

17 июля

Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизематик, да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что я доктор. Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля

Всё вокруг как будто спокойно, но что-то зловещее носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погнались за мною, но я перепрыгнул через забор в баташовский

сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крючьев. Собираются, будто, вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.

19 июля. Воскресенье

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предвещал мне, что этой ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом; накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоса света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось идти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом; я

невольюно выпрямился и, проходя, сжал в руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов.

Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивали меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал им, что только что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

— Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город, — посоветовала кухарка. — Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

— Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно! — засмеялся я, потрепав ее по плечу. — Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрывать перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди, — безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только что задремал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии ёкнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харламий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он объявил:

— Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье

холера!

— Да ну?

— Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

— Что, вы сами видели? Были вы уж там?

— Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь, — мелькнула у меня мысль. — На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет: я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харламбий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо, — мне стало смешно, и я сразу овладел собою.

— Ну, вот и практика у нас с вами появилась! — сказал я с улыбкой. — Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мерцали огоньки, вда-

ли лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостьи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на дощатой кровати крепкий мужчина лет тридцати — бледный, с полузакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

— Добрый вечер! — сказал я, снимая пальто.

— Здравствуйте! — ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

— Давно его схватило? — спросил я молодую женщину.

— После обеда сегодня, — ответила она, не глядя на меня. — Пришел с работы, пообедал,

через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

— Ну, что, Черкасов, как себя чувствуете? — спросил я больного.

— Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на сердце.

— Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

— С чего это случилось с вами? — спросил я. — Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

— С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел щей, а потом сейчас две чашки выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок! — сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

— Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмутив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

— Ну, Черкасов, примите же порошок!

— А ну, выпей-ка допрежь того воды вашей, — проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

— Ты, матушка, слишком-то не дури! — строго прикрикнул фельдшер. — С чего это доктор вашу воду пить станет?

— Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

— Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она мне даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа, и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!» — со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, копя и мигая; слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь, — сказал я.

— Ничего, ваше благородие, оно жжет, только приятно, — тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Те-

перь у меня в желудке тысячи холерных бактерий; есть там еще соляная кислота или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

— Опять ревматизм появился в ногах! — быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели. — Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги: мускулы икр судорожно сокращались и были тверды, как камень.

— О-ооо!.. О-ооо!.. — протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфарным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полу-открытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая немолодая женщина, с бойким лицом и черными бровями.

— Здравствуйте, господин доктор!.. Ну, что, соседка, как муженек?

— Да лежит вот!

— Говорите-ка вот с ними, господин доктор!

гор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиныюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше, — сказал я. — Ведь это такая болезнь:хватишь в начале — пустяками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

— Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А что пустяки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова.

Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

— Вот что, голубушка, — сказал я, — всю эту посуду, из которой пил больной, оставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет все это в горячей воде прокипятить.

— Нам что ж? Кипятите.

Аксинья помолчала.

— Ему весть была дана, — проговорила она, глядя вдаль.

— Какая весть?

— Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

— Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокойно, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги и лицо болезненно

перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понурив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный ребенок, с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, поддерживает их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, что-

бы дезинфицировать отхожее место. Увы! Его не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной по-прежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикорнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любуясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубаше и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

— Вот уж как! — с радостным удивлением воскликнул я. — Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Как вы себя чувствуете?

— Да как есть здоров. Спасибо, ваше благородие, что отходили. А намерен так уж и думать, что помирать пора пришла.

— Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяжелого. Лучше всего съешьте сегодня яичко всмятку да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

— Слушаю-с! Да вы пожалуйста в горницу.

Я вошел в комнату — и остановился. Боже мой, что я увидел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали? — спросил я, через силу сдерживаясь.

— Что я такое сделала?

— Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, отставьте всю посуду в сторону...

— Да что же ей грязной стоять?

— А то вот, что вы теперь по всему дому сразу разнесли! Понимаете вы это?.. Эх!..

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

— Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам, мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутылку с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

— Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

— Вот-те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас холера была, заразная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

— Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

— Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

— Н-нет, не видал.

— А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не

убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами — ну, разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

— Да ни за что не дам поливать! — сказала Аксинья. — Польете карбовкой, вонь пойдет...

— Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте, — разве есть вонь?

Я протянул ей бутыль, Аксинья понюхала.

— Конечно, есть!

— Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

— У меня вон дети и так еле дышат, — сказал Черкасов. — Польете карболкой, все перемрут.

— Да Иван Андреич, от карбовки вреда нету, — вмешалась соседка. — Вот у меня на Всех святых дитё умерло от горла; все карбовкой полили, — отлично! Это заразу убивает.

— Э, все это от бога! — сказала Аксинья. — Бог не захочет, ничего не будет.

— От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали? — спросил я. — Бог-

то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

— Кончался, как есть кончался! — подтвердила соседка. — Прихожу я, — уж холодать начал, и глаза закатил...

— За это я вам по гроб своей жизни благодарен, — сказал Черкасов и поклонился.

— Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «Все от бога»... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто поблизости заболит, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

— Да ведь я все только насчет детей, — сказал Черкасов, понизив голос.

— Ну, послушайте, Черкасов, подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас, — хочу я вам зла или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были зарази-

тельною болезнью. Я не говорю уже о соседях, — и жена ваша, и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

— Ну, ну, Иван, чего ты, в самом деле? — сказал фельдшер. — Словно баба какая, ничего не понимаешь!

Он взял бутылку и стал поливать пол.

— Да не дам я поливать! — крикнула Акси-
нья и бросилась к нему.

Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

— Ну, матушка, ты здесь не слишком-то бунтуй! — сказал фельдшер. — А то мы поли-
цию позовем.

— Дело не в полиции, — прервал я его, на-
хмурившись. — Полиции я звать не стану. Но
скажите же, Черкасов, объясните мне, отчего
вы не хотите дать полить?

— Так, ваше благородие, нет моего согласу
на это.

— Да отчего же?

— Да окончательно сказать, не нужно это.
Бог даст, и так все живы будем.

— Вот на пасху у машиниста то же самое
было, — сказала Аксинья. — Никакой карбов-

кой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

— Эк вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

— Нет, ваше благородие, что разговаривать? не дам я поливать!

— Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболает, вы будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть: произвести дезинфекцию было необходимо, но что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности,

зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она, может быть, расползется по всему городу; я, врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, по-видимому, подворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой: все трое заболевших уже поправляются. Один из них, сторож

грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это — деревенский парень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем, желавшим проведать его, я давал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но, благодаря этому, зареченцы увидели, что барак ничуть не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжают, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещевает соседа:

— Чего не ешь? И так вон как отощал, — гляди, помрешь! Не хочется есть, — ешь по-верх своей силы-мочи... Чудак человек!

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрея гривенник.

— Небось, кисленького хочется тебе; купи огурчиков или чего такого... Ах, Андрюша, Андрюша!

— Чего же ты плачешь? — спрашивает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на него.

— Да ведь один у меня брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечите его, господин доктор! Вы люди ученые! — обращается он ко мне и низко кланяется.

Андрей лежит, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом...

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оно:

«Митя! Ты знал, какие ужасы происходят в Заречье, и все-таки отправился туда. Как хорошо, что ты так поступил! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шутки шутить, я очень хорошо знаю, чему ты себя подвергаешь, и все-таки я рада. Какая это жизнь,

если постоянно заботиться только о своей безопасности! Пусть будет, что будет, но там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком настроении ты поехал туда? Что тебя там встретило? Какие твои первые сношения с зареченцами? Как ты себя чувствуешь между ними? Пиши мне, пожалуйста, Митя! Зареченцы эти грубы и дики, как звери, но разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста, пиши мне! Ведь нетрудно же тебе написать несколько строк. Буду ждать».

27 июля

Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Фельдшер отправился произвести дезинфекцию в его квартире и взял с собой Федора. Я остался при больном. Это был старик громадного роста и плотный, медник-литух Иван Рыков. Его неудержимо рвало и слабilo, судороги то и дело схватывали его ноги. Он стонал и метался по постели. Я послал Павла готовить ванну.

— Дайте мне походить! — слабым голосом сказал больной. — Сводит ноги, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим

тяжелым телом оперся на меня и, не устояв, снова сел на постель. Он вздохнул и покачал головою.

— Нет, барин, не сдержишь меня один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то и дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь сейчас в барак хоть двое новых больных, — и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву поступить к нам в служители, — он уже поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и укутали одеялами.

— О-о, господи-батюшка! — тяжело вздохнул Рыков и прижался головою к краю подушки.

— Ай томно тебе? — с любопытством спросил Степан, словно проверяя на нем пережитые им самим ощущения.

— То-омно!..

— Под сердцем горит?

— Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал: — С чего помирать? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

— Ишь, словно яблоки! — сказал он про себя. — Ох, и где же это ветерок?! Душно мне! — с тоскою проговорил Рыков. — Дайте мне походить. Помогите, Степа!

Степан и Павел взяли его под руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

— Воды погорячей! — отрывисто сказал он. Я велел подлить кипятку.

— Хорошо так?

— Лейте, ради бога! — нетерпеливо произнес Рыков. Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

— Нельзя ли ванну подлиннее? — сердито

ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались, больной на глазах спадался и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну: сидит в ней полчаса, затем походит по комнате, полежит — и опять в ванну; и все просит воды погорячей. Степан не отходил от него, он изредка переговаривался с Рыковым слабым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выспавшийся тем временем фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтоб ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к бараку. Он глянул на меня из сырой дали — намокший, молчаливый. В

окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади под мышки.

— Ну как больной? — спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

— Ничего, — коротко ответил он. — Блюет все да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими, черными ямами, как в пустом черепе.

— Ну, что, Иван, как? — спросил я.

Рыков чуть повел головою, не поднимая век.

— Говори дюжей, не слышу! — сказал он сиплым, еле слышным голосом.

— Как дела? — громче повторил я.

Больной помолчал.

— Воды погорячей! — пробормотал он и тя-

жело перевернулся в ванне на другой бок. Пульса у него не было.

Я спросил Степана:

— Где же фельдшер?

— Он ушел: его к больному позвали.

— Давно?

— Часа три будет.

— Отчего же он за мною не послал?

— Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собою и Федора, а при Рыкове оставил Степана и только что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессилевшего Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

— Кто это вас, Павел, отпустил спать?

— Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег... — Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда.

— Послушайте, не врите вы! — повысил я голос.

— Не сутки же целые мне не спать! — проворчал он, скользнув взглядом в угол.

— Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

— Это я не согласен.

— Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

— А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

— С чего же не идти-то? — пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке. — Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков по-прежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, вино-

вато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова под мышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неустроено, неорганизовано! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень-колоду, положиться не на кого...

Часы шли. Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтобы его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, просидел в ванне, — и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля

Не знаю, испытывают ли это другие: всё,

что мы делаем, всё это бесполезно и ненужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный выход — введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет, и

зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание, — и дело бы шло на лад и можно бы принести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» — и спокойно делать, «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все — сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра — молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу. Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их старухи ма-

тери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

— Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы всё мрем... Лейте, что ж!

3 августа

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось, наконец, подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеровых и мужиков я могу положиться, как на самого себя: лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ordinarily на вид парне сколько мягкой, чисто женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов, это мускулистый молодец с светло-голубыми, разбойничьими глазами; говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родствен-

никам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарях.

Для женского отделения у меня есть две служительницы, одна из них — соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем, входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого нисколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

— Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так любил! Для вас все равно, что благородный, что простой, вы со всеми равны. С вами говорить не опасно, не то что другие — серьезные такие... Конечно, по учению вы и опять же таки, например, по дворянству. А все-таки я к

вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требованиях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел, чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

— Дмитрий Васильевич! — говорит мне Горлов, — А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит, — зачем вы так уж себя утомляете?

— Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну, судите по самому себе: вот вы пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы заболели, а теперь, благодаря вам, останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это действительно чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на

расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится: я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что недаром тратятся силы, и сознавать, — я не хочу стесняться, — сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

4 августа

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения которых он не может не понимать, — факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни

на волос пошатнуть того глубокого, слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу зареченца.

А скажи ему то же самое проходя богомолка или отставной солдат, — и он с полной верою станет исполнять все, ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и говорить: «Бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие, — и он старательно обходит наш барак за сотню сажень.

6 августа

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на постланную постель, — вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего

делать, пошел...

Фельдшер с санитарями суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой извозчик, по имени Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбужу его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинялся всему. Он принял лекарство, дал по-ставить высокую клизму; не пошевельнулся, когда я впрыскивал ему под кожу камфару; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала

на подушку.

— Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм... — Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подниматься на карачки.

— Что же это живот не унимается? Дюже болит живот! — выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

— Дайте помочи!.. Печет под сердцем... — пробормотал он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснув зубы, и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Степан и Андрей схватились за горячие бутылки. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну. Степан шепнул мне:

— Сегодня утром шесть арбузов съел натоцак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

— Напиться!.. — с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Иг-

нат дернулся всем телом, и рвота широкою струей хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом — медленно, медленно... У меня слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и идти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы, и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом

— Пузо болит!

«Пузо»... так только в псевдонародных рассказах мужики говорят, — подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату. — Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера.

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою

бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

— Эй, почтенный, где тут доктора найти? Нельзя ли помочи поскорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!» — с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

— Подойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое, — сказал я ему. — Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

— Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

— Э, да идите уж! — нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его под мышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывал ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы; то и дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в по-

стель. Степан и Андрей взяли его под мышки и приподняли. Он хотел перешагнуть через край ванны, занес было ногу, — она упала назад, и Игнат, с вывернувшимися плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало непроизвольно слабеть; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

— Ишь, арбузы пошли! — кивнул Степан.

Это действительно были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами. Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату: ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь виноват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал

вал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель и, шатаясь, становился на карачки

Степан осторожно поддерживал его.

— Дядя Игнат! Ляжь, как следует!

— Пузо дюже болит! — быстрым, шелестящим шепотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводивший живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет; а из ванны вынимать — висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцового цвета, сухие губы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза — большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окна комнаты завертелись. Я схватился за стол, чтоб не

упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрыснул больному камфару и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота, было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство — тупое, бесконечное отвращение и к этому больному и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор — вся эта деятельность для других, все... Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого? — со злостью подумал я. — Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак, — чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре часа, почти двое суток.

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть,

фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светло-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидал неслыханное диво, ахнул, да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсутков. Я выспался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противно. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. И я думал об этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро — и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены словно деревянные. Ходишь и работаешь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный, встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть

самому тебе заглядывает в лицо, — и ко всему этому относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

18 августа

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на Успение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к глазам подступали слезы. И вот нужно просыпаться, нужно опять идти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондырев. Он был без шапки, и лицо его глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?!

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиться. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик. Народу много, пьяные все... — «А, говорят, вон он, холерный, пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусываю... Подхо-

дит Ванька Ермолаев, токарь по металлу: «А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов побеспокоить?» — На что они, говорю, тебе? — «А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?» — Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело. — «Мы, говорит, твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем». — За что? — «А такая уж теперь мода вышла — докторей-фершалов бить». — Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И сам не знал, от волнения ли она или от холода: я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно! — сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь, говорят, тоже фершал выискался! — продолжал он. — Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!» — Что ж, говорю, я пойду! — Повернулся, вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, начали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал

до Серебрянки; остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?..

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, за что?

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце красными лучами скользило по обоям. Степан сидел, понунив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больно-го. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись, говорят, доктора у нас, так и

холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие, — за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?..»

В комнату неслышно вошел высокий пареня в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

— Что это, из *тех* кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросала меня в краску, выскочить в окно, подобно вору, пробираться задами... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпой в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность случившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-нибудь подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное, искаженное страхом лицоглянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно...

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и

снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок — раз, другой, и звонок оборвался.

— Они! — апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло, и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

— Оставайтесь здесь, — сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

— Что это, господа, чего вы?

— Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

— Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

— Зачем?.. Зачем?.. — бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

— Ну вот, он мне объяснит, погодите кричать... Пропустите же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело? — коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

— Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

— Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

— Что такое? Мы — народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много, — что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?.. Не может быть! Спросить многих можно, — мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали.

Ты от них это слышал, это они говорили тебе? — настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал голову.

— Мы, господин, знаем... Мы все-е знаем!..

— Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?.. Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет? — обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев, закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

— Ну, хорошо, вот что! — решительно произнес я. — Пойдемте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня, — я в ответе.

— Да пойдем, чего там! Думаешь, боимся барака твоего? — быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

— Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку.

Я закурил папиросу и заговорил:

— Ведь вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а рассудите сами, кто в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека, — доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак съел! Ну, скажите, кто тут виноват? Или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

— Нет, господин, вино не вредит! — вмешался шедший рядом мастеровой. — Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

— В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уж богу душу отдает.

— И похмелиться не поспевши, го-го! — за-

смеялись в толпе.

— Чего смеетесь? Дурье! — строго остановил Ванька Ермолаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, завидев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

— Го-о... Бе-ей!! — неистово завопил говоривший со мною старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился лицом о чье-то коле-

но; это колено с силою отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. голубчики!..» Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшей из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа

Я уж третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною, как живые, стоят пе-

рекошенные злобой лица, мне слышится крик «бей его!..». И они меня били, били! Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания — всё... Господи, господи! Что же это — сон ли тяжелый, невероятный или голая правда?.. Не стыдно признаваться, — я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений, — бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва*, жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы так и должно было быть...

20 августа

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-

то глухой кашель, из рукомошника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника, — и хочется горько плакать. Были силы, была любовь. А жизнь прошла даром и смерть приближается — такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку, — меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия, я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло, и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничто* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгли-

во сторонащимися от них и не хотящими их знать. И разве это не правда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько тяжелой правды, почему так жалко ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на всё... этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза...

23 августа

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается не много. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья подступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытье. И когда я откры-

ваю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурую фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал, он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не встал с колен, пока тот не позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью, — Степан все сидит на своей табуретке — молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевелинусь — он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно, — неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы

льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...

1892–1894

Поветрие

Эпилог[20]

I

Богучаровский земский врач Сергей Андреевич Троицкий только что произвел горло-сечение задыхавшейся от крупа девочке. Он накладывал швы на разрез раны, фельдшерица Ольга Петровна, с сухим, желтоватым лицом, в белом фартуке, придерживала вставленную в трахею трубочку.

Больная еще не проснулась от хлороформа; она лежала неподвижно, изредка делая глубокие, свободные вдохи; только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребенок начинал кашлять, и тогда из отверстия трубочки с дующим шумом вылетали брызги кровавой слизи, а Сергей Андреевич и Ольга Петровна отшатывались в стороны.

Ольга Петровна зажмурила левый глаз, ощупала мизинцем щеку, на которой повисли две алых капельки, и сказала:

— Чуть-чуть мне сейчас в глаз не попало!

— Эка штука! — с шутливым пренебрежением ответил Сергей Андреевич.

Ольга Петровна обиженно протянула:

— Да-а! Я вовсе не хочу ослепнуть.

— С чего вам, Ольга Петровна, слепнуть?

Мы с вами люди привычные: нас никакая зараза не смеет тронуть.

Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтоб достать баночку с йодоформом; она дивилась, что такое случилось с Сергеем Андреевичем: всегда сумрачный и молчаливый, он сегодня все время шутил и болтал без умолку.

Больная медленно раскрыла большие, отуманенные глаза.

— Ну, Дунька, как дела? — спросил Сергей Андреевич, наклонился и ласково потрепал ее по пухлой, загорелой щеке.

Девочка вздохнула и, отвернув голову, молча закрыла глаза. Сиделка взяла ее на руки и понесла из операционной. Сергей Андреевич тщательно вымыл сулемою лицо и руки, простился с Ольгой Петровной и пошел из больницы домой.

Через дорогу, за канавою, засаженною лозинами, желтела зреющая рожь. Горизонт над рожью был свинцового цвета, серые тучи сплошь покрывали небо. Но тучи эти не гро-

зили дождем, и от них только чувствовалось уютнее и ближе к земле. С востока слабо дул прохладный, бодрящий ветер.

Сергей Андреевич шел по дороге вдоль заросшей канавы, растирал ладонями цветки полыни и с счастливым, жизнерадостным чувством дышал навстречу ветру.

Сегодня у Сергея Андреевича был большой праздник: ему предстояло провести вечер с двумя гостями, каких он редко видел в своей глуши. Мысль об этих гостях рассеяла в Сергее Андреевиче обычные его заботы и горести, он чувствовал себя бодро, молодо и радостно.

Один из гостей уже со вчерашнего вечера находился у Сергея Андреевича и теперь ожидал его дома. Гость этот был его старый университетский товарищ Киселев, знаменитый организатор артелей. О нем в последнее время много писали в газетах. С Нижегородской выставки[21], где он экспонировал изделия своих кустарей, Киселев по дороге заехал на сутки к Сергею Андреевичу и сегодня вечером уезжал. Сергей Андреевич проговорил с ним до поздней ночи и все утро после амбулатор-

ного приема он не мог наслушаться Киселева, не мог наговориться с ним; глядя на этого человека, всю свою жизнь положившего на общее дело, Сергей Андреевич преисполнялся горделивою радостью за свое поколение, которое дало жизни таких деятелей.

Другой гость, которого сегодня ждал Сергей Андреевич, была дочь соседнего помещика, Наталья Александровна Чеканова. Сергей Андреевич не видел ее четыре года. В то время Наташа только что кончила в гимназии и готовилась к аттестату зрелости для поступления на медицинские курсы; это была девушка сорвиголова, с бродившими в душе смутными, широкими запросами, вся — порыв, вся — беспокойное искание. Осенью, против воли отца, она неожиданно уехала в Швейцарию и с тех пор как в воду канула; дошли слухи, что через два года она переехала в Петербург. Отец надеялся, что без денег Наташа долго не выдержит и сама воротится домой, но, наконец, потерял надежду; этой весной он написал ей в Петербург и приглашал приехать на лето в деревню. Наташа ответила, что очень занята и что навряд ли ей удаст-

ся скоро приехать. Тем не менее в начале июля она совершенно неожиданно явилась домой, не успев даже предупредить о приезде. По пути со станции она заехала к Сергею Андреевичу. Когда он увидел Наташу, у него сжалось сердце от жалости; видимо, за эти четыре года ей пришлось пережить немало: она сильно похудела и побледнела, выглядела нервной; но зато от нее так и повеяло на Сергея Андреевича бодростью, энергией и счастьем. Он с горячим интересом слушал торопливые, оживленные рассказы Наташи, наблюдал ее и думал: «Она нашла дорогу и верит в жизнь». Наташа пробыла у него не более получаса, и Сергей Андреевич не успел поговорить с нею как следует. Вчера он извещил ее о пребывании у него Киселева, и Наташа обещала приехать.

«Что-то стало из нее?» — с любопытством думал Сергей Андреевич, потирая руки.

И он улыбался при мысли о сегодняшнем вечере и радовался случаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей.

Сергей Андреевич подошел к стоявшему против церкви ветхому домику. Из-под обросшей мохом тесовой крыши, словно исподлобья, смотрели на церковь пять маленьких окон. Вокруг дома теснились старые березы. У церковной ограды сын Сергея Андреевича, гимназист Володя, играл в городки с деревенскими ребятами.

Вдоль боковой стены тянулась широкая, потемневшая от дождей терраса с покосившимися столбиками и подгнившими перилами. На террасе блестел самовар. Дочь Сергея Андреевича, Люба, разливала чай. За столом сидели Киселев и сын богучаровского дьячка, студент-технолог Даев.

II

Когда Сергей Андреевич взошел на террасу, между Киселевым и Даевым кипел ярый спор, и на него почти не обратили внимания.

— Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мне чайку! — обратился Сергей Андреевич к дочери.

Он взял налитый стакан чаю, положил в него лимон и со стаканом в руках подсел к спорившим.

Киселев был плотный и приземистый че-

ловек лет за сорок, с широким лицом и окладистой русою бородой; из-под высокого и очень крутого лба внимательно смотрели маленькие глазки, в которых была странная смесь наивности и хитрой практической сметки. Всем своим видом Киселев сильно напоминал ярославца-целовальника, но только практическую сметку свою он употреблял не на «объегоривание» и спаивание мужиков, а на дело широкой помощи им.

Взволнованно барабаня толстыми пальцами по скатерти, Киселев внимательно слушал студента.

— Что спорить? Сама по себе артель, разумеется, дело хорошее, — говорил Даев, стройный парень с черною бородкою и презрительно-надменною складкою меж тонких бровей. — Я не сомневаюсь, что этим путем вам удастся поднять на некоторое время благосостояние нескольких десятков кустарей. Но все силы, всю свою душу положить на такое безнадежное дело, как поддержка кустарной промышленности, — по-моему, пустая трата сил и времени.

— Почему же это кустарная промышлен-

ность — такое безнадежное дело? — спросил Киселев.

— Потому что существует более совершенная форма производства, с которою не нашему кустарю бороться. Вы посмотрите, он уже по всей линии отступает перед фабрикою, и вовсе не по каким-нибудь случайным причинам машина с неотвратимою последовательностью вырывает из его рук один инструмент за другим, и если кустарь покамест хоть кое-как еще конкурирует с нею, то только благодаря своей пресловутой «связи с землей», которая позволяет ему ценить свой труд в грош.

— Так что, значит, и пускай себе «машина вырывает у него один инструмент за другим», пускай себе развивается фабрика? Так с этим и нужно примириться? — спросил Киселев, юмористически подняв брови.

— Миритесь не миритесь, а фабрика все равно задавит кустаря.

— Возмутительно! — Киселев ударил кулаком по столу. — Для вас это — теория, а для меня это трупом пахнет!

— Полноте, какая тут теория! Нужно быть слепым, чтоб не видеть умирания кустарни-

чества, и — вы меня извините — нужно не знать азбуки политической экономии, чтоб думать, что артель способна его оживить.

Сергей Андреевич, наклонившись над стаканом и помешивая ложечкой чай, угрюмо и недоброжелательно слушал Даева. То, что он говорил, не было для Сергея Андреевича новостью: и раньше он уже не раз слышал от Даева подобные взгляды и по журнальной полемике был знаком с этим недавно народившимся у нас доктринерским учением, приветствующим развитие в России капитализма и на место живой, деятельной личности кладущим в основу истории слепую экономическую необходимость.

Слушая теперь Даева, Сергей Андреевич начинал раздражаться все сильнее. Но ему хотелось удержать свое тихое и радостное настроение, и он постарался прекратить спор.

— Эх, Иван Иванович, ну, что ты с ним связываешься? — обратился он к Киселеву, обняв его за плечи, и шутливо махнул рукою в сторону Даева. — Эти новые люди — народ отпетый, с ними, брат, не столкуешься. Нам их с тобою и не понять — всех этих декадентов,

символистов, марксистов, велосипедистов... Ну, а вот она, наконец, и Наталья Александровна.

Сергей Андреевич встал и шумно отодвинул стул.

III

К калитке, верхом на буланой лошади, подъехала девушка в соломенной шляпке и розовой кофточке, перехваченной на талии широким кожаным поясом. Она соскочила на землю и стала привязывать лошадь к плетню.

Сергей Андреевич радостно пошел навстречу.

— Наталья Александровна!.. Наконец-то!.. Здравствуйте!

Наташа с быстрою, немного сконфуженною усмешкою ответила на его пожатие и взошла на террасу. От кофточки падал розовый отблеск на бледное лицо, и от этого Наташа казалась свежее и здоровее, чем тогда, когда Сергей Андреевич видел ее в первый раз. Она поцеловалась с Любой, Сергей Андреевич представил ей Киселева и Даева.

— Какая вы уж большая стали! — сказала Наташа, с улыбкою оглядывая Любу. — Вы в

каком теперь классе?

— Перешла в восьмой, — краснея, ответила Люба и стала наливать ей чай.

На минуту все замолчали.

— Ну, вот, Наталья Александровна, опять вы в наших краях, — заговорил Сергей Андреевич, с отеческою любовью глядя на нее. А нам тут Иван Иванович рассказывал об организованных им артелях. Я вам вчера писал о нем.

— Вы давно уже ведете это дело? — спросила Наташа, украдкой приглядываясь к Киселеву.

— Четыре года веду, — неохотно ответил Киселев, еще полный впечатлений от разговора с Даевым.

Наташа нерешительно сказала.

— Вам, вероятно, уж надоело рассказывать?

— Да рассказывать-то нечего... Вот, если хотите, посмотрите наш артельный устав, там все сказано.

Он достал из бумажника сложенный вчетверо лист бумаги и передал Наташе. Наташа быстро развернула лист и с любопытством

стала читать.

— Здесь сказано, что члены артели должны жить между собой «по божьей правде». А как поступает артель с членом, если он перестанет жить по правде? — спросила она.

— Разно бывает. Чаще всего урезонишь его, — мужик и одумается, сам поймет, что не дело затеял. Ну, случается, конечно, что иного ничем не проймешь, — такого приходится исключить, шелудивая овца все стадо портит.

Наташа стала расспрашивать, как часты у них вообще случаи исключения участников, на каких условиях принимаются новые члены, насколько сильна в артелях самостоятельность. Киселев мало-помалу оживился и начал рассказывать. Он рассказывал долго и подробно.

Сергей Андреевич слушал с наслаждением. Ему уж было известно все, что рассказывал Киселев, но он был готов слушать еще и еще, без конца. На душе у него опять стало тихо, хорошо и радостно. Вечерело, небо по-прежнему было покрыто тучами; на западе, над прудом, тянулись золотистые облака фантастических очертаний. Теплый ветер слабо

шумел в березах.

— Да, господа, это дело — живое и плодотворное дело, — закончил Киселев. — Оно доставляет столько нравственного удовлетворения, дает такие осязательные результаты, так много обещает в будущем, что я всякому скажу: если хотите хорошего счастья, если хотите с пользой употребить свои силы, то идите к нам, и вы не раскаетесь... хотя вот господин Даев и не согласен с этим.

Наташа быстро и внимательно взглянула на Даева.

— Я с этим также не согласна, — сказала она, опустив глаза

Сергей Андреевич насторожился.

— Почему?

— Это дело хорошее, но мне не верится, чтоб оно много обещало в будущем. Из рассказов самого же Ивана Ивановича видно, что все держится только его личным влиянием: устранись Иван Иванович, — и его артели немедленно распадутся, как было уже столько раз.

— Почему же бы это им непременно распасться? — спросил Киселев.

— Потому что вы слишком много требуете от человека. Ваши артельщики должны жить «по божьей правде»; конечно, на почве мелкого производства единение только при таком условии и возможно; но ведь это значит совершенно не считаться с природою человека: «по божьей правде» способны жить подвижники, а не обыкновенные люди.

— Вот как! — протянул Сергей Андреевич и широко раскрыл глаза. — «При мелком производстве единение невозможно». Наталья Александровна, да уж не собираетесь ли и вы по этому случаю выварить нашего кустика в фабричном котле?

— Ни у меня, ни у кого нет столько сил, чтобы сделать это, — с усмешкой ответила Наташа. — А что исторический ход вещей его выварит, — в этом, разумеется, не может быть сомнения.

— Опять этот «исторический ход вещей»! — воскликнул Киселев. — Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы почтительно преклоняетесь перед всем, что готов сделать ваш «исторический ход вещей». Если он обещает расплодить у нас фабрики, задавить

кустаря, то и пускай будет так, пускай кустарь погибает?

Вмешался Даев.

— Сейчас, Иван Иванович, вопрос не о мерзостях, которые проделывает исторический ход вещей. Вопрос о том, — что можете вы дать вашим кустарям? В лучшем случае вам удастся поставить на ноги два-три десятка бедняков, и ничего больше. Это будет очень хорошим, добрым делом. Но какое же это может иметь серьезное общественное значение?

Сергей Андреевич почти с ненавистью слушал Даева. Даев говорил пренебрежительно-учительским тоном, словно и не надеясь на понятливость Киселева, и Сергею Андреевичу было досадно, что тот совершенно не замечает ни тона Даева, ни его резкостей.

Киселев глубоко вздохнул и поднялся с места.

— Я вижу только одно, господа, — сказал он, — вы не любите человека и не верите в него. Ну, скажите, неужели же вправду так-таки невозможно понять, что дружная работа выгоднее работы врозь, что лучше быть бра-

тъями, чем врагами? Вы злорадно указываете на неудачи... Что ж? Да, они есть! Но знаете ли вы, в каких условиях приходится жить мужику? Могут ли широко развиваться при них те задатки любви и отзывчивости, которые заложены в его душе? А задатки в нем заложены богатые, смею вас уверить! Вы смеетесь над этим. Но меня вот что удивляет: вы молоды, жизни не знаете, знакомы с нею только из книг — и в рабочих людях видите зверей. Я знаю их, живу среди них вот уже пятнадцать лет, — и говорю вам, что это — *люди*, хорошие, честные люди! — горячо воскликнул он.

— И я могу подтвердить это! — торжественно произнес Сергей Андреевич.

— Люба! Не знаешь ты, который теперь час? — вдруг громко спросил Володя.

Он уже с десять минут стоял на террасе, нетерпеливо и выразительно поглядывал на отца, но тот, занятый спором, не замечал его.

Киселев поспешно вынул часы.

— Ого, уж восьмой час! Пора, Сергей Андреевич, лошадь запрягать, а то я к поезду не поспею.

— Папа, Нежданчика запрячь? — быстро

спросил просиявший Володя.

Все засмеялись.

— Э, брат, у тебя тут, я вижу, тонкая политика была! — протянул Даев, схватив Володю сзади под мышки. — То-то его вдруг заинтересовало, который теперь час!

— Папа, Степану нужно в ночное ехать! — крикнул Володя.

— Да уж придется тебе отвезти Ивана Ивановича, — ответил Сергей Андреевич. — Пускай только Степан лошадь запряжет.

— Ни одного ведь словца, разбойник, без политики не скажет! — проговорил Даев, щекоча Володю. — Бить, брат, тебя некому, вот что.

— А вам? — возразил Володя, ежась и стараясь поймать пальцы Даева.

— Да ведь ты не даешься, злодей!

— Ну, например, за что вы меня щекочете?

— Скажи ты мне, к какой собственно мысли этот твой «пример» служит иллюстрацией?

Володя вывернулся из рук Даева и взобрался на перила.

— Никакой я вашей балюстрации не пони-

маю!

Он спустился на землю и через куртины помчался в конюшню.

Даев взял свой пустой стакан и подошел к Любе.

IV

Сергей Андреевич ревниво поглядывал на Даева. Он видел, как радостно вспыхнула Люба, когда Даев заговорил с нею: неужели он и его взгляды не возмущают ее?.. Даев сел на конце стола возле Любы и вступил с нею в разговор.

— Как для вас, господа, все эти вопросы с высоты теории легко решаются! — говорил между тем Киселев. — Для вас кустарь, мужик, фабричный — все это отвлеченные понятия, а между тем они — люди, живые люди, с кровью, нервами и мозгом. Они тоже страдают, радуются, им тоже хочется есть, не глядя на то, разрешает ли им это «исторический ход вещей»... Вот я в Нижнем получил от моих палашковских артельщиков письмо...

Киселев достал из бумажника грязную, исписанную каракулями бумагу, медленно надел на нос пенсне и, откинув голову, стал чи-

тать:

— «Дражайшему благодетелю нашему Ивану Ивановичу Киселеву от Ерофея Тукалина, Ивана Егорова и т. д. письмо». Письмо! — с улыбкою повторил он, мигнув бровями. — «Писали мы вам, что Косяков Петра продал кузницу ценою за 81 р. сер. и хочет, чтоб взять деньги в свою пользу. То поэтому, Иван Иванович, как хотите, так и делайте с ним. Но мы же оным не нуждаемся, потому что в той кузне еще не работали и не нуждаемся оной, а вы, как знаете, так делайте распоряжение»... Ну, и так дальше... «И еще кланяемся вам с благодарностью и просим не оставлять нас, за это будем об вас бога молить за ваши благодетельства нас, бедных людей»... Подписано: «братья артели» такие-то... Да, господа, и что вы там ни говорите, а я их не оставлю! — произнес он прерывающимся голосом, снимая пенсне.

— Какое письмо славное! — сказала Наташа с заблестевшими глазами.

— Ну, во-от! Не правда ли? — спросил Киселев. — Ведь невозможно, господа, так относиться! Книжки вам говорят, что по полити-

ческой экономии артелями революции вашей нельзя достигнуть, — вам и довольно. А ведь это все живые люди; можно ли так рассуждать?.. Мне и не то еще приходилось слышать: переселения, например тоже вещь нежелательная, их незачем поощрять, потому что, видите ли, в таком случае у нас останется мало безземельных работников.

— Ну, это вы слышали от какого-нибудь молодца с Страстного бульвара![22] — с улыбкою сказала Наташа.

В глазах Киселева мелькнул лукавый огонек.

— Нет, я это полчаса назад за этим столом слышал, — медленно произнес он, вежливо улыбаясь.

Наташа вспыхнула и в замешательстве наклонила над чашкою.

— На очную ставку готов стать с господином Даевым, — прибавил Киселев.

— Я в этом отношении не согласна с Даевым, — Наташа выпрямилась и глядела в глаза Киселеву с неувпешною еще сойти с лица краскою. — По-моему, переселения прямо *желательны*, потому что они повысят благосо-

стояние и переселенцев, и остающихся, а это поведет к расширению внутреннего рынка.

Киселев слушал с чуть заметной усмешкою. «Не хочет раскрыть карт!» — думал он. Сергей Андреевич откинулся на спинку стула и с беспощадным, вызывающим ожиданием глядел на Наташу.

— Ну-с, и что же дальше? Для вас это — только маленькое «разногласие» с господином Даевым?.. Странно! — Он усмехнулся и пожал плечами. — Сейчас только сами же вы признали его взгляды достойными Страстного бульвара, а теперь вдруг выходит, что это для вас — так себе, лишь незначительное разногласие!.. Гм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно на этом-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувствие!

Даев, со стаканом в руках, подошел и остановился, помешивая ложечкою в стакане.

— Скажите, пожалуйста, Василий Семенович, как вы относитесь к переселенческому вопросу? — обратился к нему Сергей Андреевич. Спросил он самым невинным голосом, но глаза его смотрели мрачно и враждебно.

— Слава богу, у нас, оказывается, и пересе-

латься-то некуда, — ответил Даев, видимо забавляясь негодованием Сергея Андреевича. — Можно ли серьезно говорить у нас о переселении? Куль-тура земли самая первобытная, три четверти населения околачивается вокруг земли; этак нам скоро и всего земного шара не хватит. Выход отсюда для нас тот же, что был и для Западной Европы, — развитие промышленности, а вовсе не бегство в Сибирь.

Наташа стала возражать.

Сергей Андреевич слушал, горя негодованием. По такому существенному вопросу они спорили неохотно, с готовностью делали друг другу уступки, — видимо, чтоб только поскорее столкнуться и прийти к концу.

— К чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о «живых людях», что они для вас? — воскликнул Сергей Андреевич. — Будьте же откровенны до конца: говорите о вашей промышленности и оставьте живых людей в покое. Если бы они грозили, остановить развитие вашего капитализма, то разве вы стали бы с ними считаться? Что значит для вас эта сотня тысяч каких-то «живых людей», умира-

ющих с голоду!

И сейчас же оба они соединились против него, доказывая, что *если бы* кто-нибудь мог остановить развитие капитализма, то и разговор был бы другой, при данных же условиях ничто остановить его не в силах.

Сергей Андреевич стал яро возражать, но положение его в споре было довольно неблагоприятное: в экономических вопросах он был очень не силен и только помнил что-то о рынках, отсутствие которых делает развитие русского капитализма невозможным. Противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались и засыпали его доказательствами. Сергей Андреевич чувствовал, что они видят слабость его позиции, и его одинаково раздражал и снисходительный тон возражений Даева, и сожаление к нему, светившееся в глазах Наташи.

К спорящим присоединился и Киселев. Спор тянулся долго, — горячий, но утомительно-бесплодный, потому что спорящие стояли на слишком различных точках зрения. Для Сергея Андреевича и Киселева взгляды их

противников были полны непримиримых противоречий, и они были убеждены, что те не хотят видеть этих противоречий только из упрямства: Даев и Наташа объявляли себя врагами капитализма — и в тоже время радовались его процветанию и усилению; говорили, что для широкого развития капитализма необходимы известные общественно-политические формы, — и в то же время утверждали, что сам же капитализм эти формы и создаст; историческая жизнь, по их мнению, направлялась не подчиняющимися человеческой воле экономическими законами, идти против которых было нелепо, — но отсюда для них не вытекал вывод, что при таком взгляде человек должен сидеть сложа руки.

— Разве все это не ясные до очевидности противоречия? — спрашивали Сергей Андреевич и Киселев.

Даев и Наташа в ответ пожимали плечами, удивляясь, как можно так плоско понимать вещи.

Впрочем, серьезно спорить и доказывать продолжала только Наташа; Даев больше забавлялся, наблюдая, какую нелепо-уродливую

форму принимали их взгляды в понимании Сергея Андреевича и Киселева.

Сергей Андреевич молча прошелся по террасе.

— Нет, господа, чтоб до такой можно было дойти узости, до такой чудовищной черствости и бессердечия, — этого я не ожидал! Ну, и времечко же теперь, нечего сказать, — довелось мне дожить!

— На время грех жаловаться, — серьезно возразил Даев, — время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. А что касается ваших упреков в бессердечии, то, уверяю вас, Сергей Андреевич, убедить ими кого-нибудь очень трудно. Мы утверждаем, что Россия вступила на известный путь развития и что заставить ее свернуть с этого пути ничто не в состоянии; *докажите*, что мы ошибаемся; но вы вместо этого на все лады стараетесь нам втолковать, что наш взгляд «возмутителен». Странное отношение к действительности! Пора бы уж перестать судить о ее явлениях с точки зрения наших идеалов.

Сергей Андреевич с любопытством спросил:

— Вы полагаете, что пора?

— Да, я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по своим законам, не справляясь с ваши-ми идеалами; нечего и приставать к ней с этими идеалами; нужно принять те, которые диктует сама действительность.

— Боже мой, боже мой! И это — молодежь, надежда страны!.. — воскликнул Сергей Андреевич.

Он схватился за голову и взволнованно зашагал по террасе.

Наташа с неопределенною улыбкою смотрела на скатерть. Даев следил за Сергеем Андреевичем с нескрываемою ирониею.

— Если об этом говорить, то... Не завидую я стране, которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь, — сказал он. — Слава богу, наша страна в этой надежде уж не нуждается. Вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс...

— Да не на вас же, конечно, рассчитывать...

Голос Сергея Андреевича сорвался. Он махнул рукою и отошел к концу террасы.

Облака на западе сияли ослепительным

золотым светом, весь запад горел золотом. Казалось, будто там раскинулись какие-то широкие, необъятные равнины; длинные золотые лучи пронизали их, расходясь до половины неба, на севере кучились и громоздились тяжелые облака с бронзовым оттенком. Зелень орешников и кленов стала странно яркого цвета, золотой отблеск лег на далекие нивы и деревни.

Сергей Андреевич, угрюмо прикусив губу, смотрел на торжествующе горевшее небо. Слезы душили его: так вот что стало из Наташи, вот в чем нашла она выход и успокоение!.. На Даева Сергей Андреевич давно уж махнул рукою. Прежде он недоумевал, как могла боевая натура Даева примириться с таким апофеозом квиетизма, потом, однако, решил, что жестокость нового учения вполне соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но Наташа!..

Сергей Андреевич, вспомнил, как однажды, четыре года назад[23], она заехала к нему с прогулки верхом, вместе с своим двоюродным братом, доктором Чекановым. Столько в ее глазах было тогда жизни и счастья,

столько молодости, радостно рвущейся на простор, отзывчивой и любящей! Сергей Андреевич сам весь тот день чувствовал себя как бы помолодевшим. Потом он увидел Наташу два месяца спустя. Она только что воротилась из Слесарска, где на ее руках умер доктор Чеканов, насмерть избитый толпою во время холерных беспорядков. Изменилась она страшно: глаза ее горели глубоким, сосредоточенным огнем, всеми помыслами, всем своим существом она как бы ушла в одно желание — желание страдания и жертвы. В то время Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво расспрашивала его, что теперь всего нужнее делать, на что отдать свои силы. Он полюбил ее, как дочь, и жизнь для него стала светлее; никогда он не работал столько, как в то время, и работал радостно, без обычного раздражения и ворчаний. Вскоре Наташа уехала на юг сестрою милосердия, затем, по окончании холеры, за границу... И вот что теперь стало из нее!

А между тем по-прежнему она была симпатична Сергею Андреевичу... Что же это за проклятая зараза, откуда забрала она столько

всепокоряющей силы?!

Из-за сарая выехал на шарабане Володя. Он нахлестывал кнутом Нежданчика, поглядывая на балкон, не следит ли за ним отец, и лихо подкатил к калитке. У стола раздался шум отодвигаемых стульев. Сергей Андреевич воротился к гостям.

Киселев застегивал пальто и надевал дорожную сумку.

— Ну, прощайте, господа! — сказал он, протягивая свою широкую руку Наташе и Даеву. — Желаю вам всего хорошего. Делайте ваше «историческое» дело — открывайте фабрики, старайтесь обезземелить крестьян, разрушить артель и кустарные промыслы, — может быть, вам когда-нибудь и станет стыдно за это. А мы — мы с нашими «братьями-артельщиками» не боимся вас... Вы не обижайтесь на меня!.. — быстро прибавил он, добродушно улыбаясь и крепко пожимая обеими руками руку Даева. — Сердца у вас хорошие, только теория вас душит, вот в чем горе!

Даев рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Киселева.

— А мне позвольте *совершенно искренно*

пожелать вам возможно большего успеха.

Киселев спустился с террасы. Сергей Андреевич после всего происшедшего чувствовал к нему прилив особенной любви и нежности; он не спускал с Киселева мягкого, любовного взгляда. Киселев, ощупывая наполненные карманы пальто, остановился перед шарабаном.

— Доедет молодой человек? — спросил он, оглядывая маленькую фигурку Володи.

Володя покраснел и с обиженной улыбкою быстро взглянул на отца. — Ничего, доедет... Только, брат, вот что, — сурово обратился Сергей Андреевич к Володе, — кнут пускай в дело пореже и назад возвращайся через Басово, а не через Игнашкин Яр.

Лицо Киселева внезапно стало серьезным.

— Ну, Сергей Андреевич, оставайся здоровым! — вздохнул он и раскрыл объятия. — Бог весть, когда теперь свидимся.

Они крепко поцеловались три раза накрест. Потом Сергей Андреевич еще раз прижал к себе Киселева и долго, горячо поцеловал его, как бы желая этим поцелуем выразить всю силу своего уважения и любви к

нему.

Киселев ступил на подножку шарабана, тяжело накренившегося под ним, уселся и еще раз ощупал карманы. Володя тронул Нежданчика.

V

Сергей Андреевич воротился на террасу. В душе у него кипело. Его мучило, что на все его упреки Наташа и Даев отвечали только пожиманием плеч и сдержанной улыбкой; и ему хотелось хоть в чем-нибудь пристыдить их.

Наташа, Люба и Даев сидели у самовара и разговаривали. Сергей Андреевич, насупившись, несколько раз прошелся по террасе.

— Извините, господа, — сказал он. — Ну, можно ли было завязывать с Иваном Ивановичем такой спор? Неужели вы не чувствовали, до чего это было грубо и бестактно?

Даев удивленно поднял брови.

— Почему?

— Какая была у вас цель? Неужели — убедить Ивана Ивановича, что дело всей его жизни — пустяки, что от него надо отказаться?

— Я решительно не могу понять такого страха перед свободным обсуждением. Тогда

и я вас упрекну: зачем вы с нами спорите? Может быть, и вы нас убедите отказаться от нашей деятельности? А относительно Киселева вы напрасно беспокоитесь: он настолько верит в свое дело и настолько туп, что его никто не переубедит. И вы меня извините, Сергей Андреевич, я думаю, что возражения наши больше огорчили не его, а вас, потому что вы в душе и сами не слишком-то верите в чудеса артели.

— Никто о чудесах и не говорит, — устало произнес Сергей Андреевич. — Но дело это, во всяком случае, хорошее, и к нему непозволительно относиться так свысока, как вы делаете.

— Позвольте, Сергей Андреевич, Иван Иванович говорил именно о чудесах, — возразила Наташа. — Но мне хотелось бы знать вот что: вы все время возражали нам, защищали Киселева; как же, однако, сами вы смотрите хоть бы на ту же общину или артель? Мне это осталось неясным.

— Не знаю, Наталья Александровна! Это только для вас будущее ясно, как на ладони; по-моему, жизнь сложнее всяких схем, и ни-

кто, относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать.

— Но ведь выдвигает же эта жизнь какие-нибудь исторические задачи? Во что же верить, каким путем идти? Что нужно делать?

Это были те же вопросы, которые Сергей Андреевич слышал от Наташи и четыре года назад. Тогда она с тоскою ждала от него, чтоб он дал ей веру в жизнь и указал дорогу, — и ему было тяжело, что он не может дать ей этой веры и что для него самого дорога неясна. Теперь, когда Наташа верила и стояла на дороге, Сергея Андреевича приводила в негодование самая возможность тех вопросов, которые она ему задавала.

Волнуясь и раздражаясь, он стал доказывать, что жизнь предъявляет много разнообразных запросов и удовлетворение всех их одинаково необходимо, а будущее само уж должно решить, «историческою» ли была данная задача, или нет; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругом так много насущного дела и так мало работников.

— Ну да, то же самое я слышала от вас и четыре года назад, — сказала Наташа, — «не знаю» — и поэтому всякое дело одинаково хорошо и важно; только тогда вы не думали, что иначе и не может быть...

Наташа быстро прошла по террасе.

— Как вы можете с этим жить! — произнесла она и с дрожью повела плечами. — Киселев наивен и живет вне времени, но он по крайней мере верит в свое дело; а во что верите вы? В окружающей жизни идет коренная, давно невиданная ломка, в этой ломке падает и гибнет одно, незаметно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый лад, выдвигаются совершенно новые задачи. И вы стоите перед этим хаосом, потеряв под ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнет бесповоротно; к нарождающемуся новому не испытываете ничего, кроме недоверия и ненависти. Где же для вас выход? На все вы можете дать только один ответ: «не знаю!» Ведь перед вами такая пустота, такой крошечный мрак, что подумать жутко!.. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь против

нас и готовы обвинить чуть не в ренегатстве всех, кто покидает ваш лагерь! Да оставаться в вашем лагере невозможно уж по одному тому, что это значит прямо обречь себя на духовную смерть.

— И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите дорогу! Когда вы ее найдете, мы первые же с радостью пойдём за вами. Но вместо того чтоб искать, вы зажмуриваете глаза, самоуверенно объявляете: «мы знаем!» там, где знать ничего не можете, и с легким сердцем готовы губить все, что не подходит под вашу схему. Разве это значит найти дорогу?.. Нет, Наталья Александровна, колоссальный успех вашей, с позволения сказать, «программы» я могу лишь объяснить совсем другим — тем всеобщим одичанием, которое вызвано теперешним безвременьем.

— Я думаю, успех ее объясняется тем, что сама жизнь слишком неопровержимо доказала ее правильность. Если бы вы видели, какие радостные, кипучие родники борьбы и жизни бьют там, куда пошли мы!.. А за все то, что мы будто бы собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны: как можем

мы что-нибудь губить? Мы никакой силы собою не представляем!

Сергей Андреевич молча оглядел Наташу и едко усмехнулся.

— Да, резюме во всяком случае получается весьма поучительное, — и уж, конечно, где ж тут может быть речь о «духовной смерти»! *Мы силы никакой не представляем. Идеалы наши подчиняем действительности. Нигде никому помочь не можем...*

Наташа хотела возразить, нервно пожала плечами и замолчала. Даев, посмеиваясь, следил за нею.

— Я думаю, спор давно уж пора кончить, — сказал он. — Ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не столкнемся.

— Действительно, пора кончить: мне уже давно время ехать. — Наташа быстро встала.

— Вот-те раз! Наталья Александровна, полноте, куда это вам? — всполошился Сергей Андреевич. — Сейчас ужин готов. Много ли вам ехать-то, всего пять верст!..

Наташа улыбнулась.

— Нет, не пять, а тридцать пять. Я в город еду, к вам по дороге заехала.

— В таком случае, ехать уж слишком поздно. Когда вы теперь в город приедете, — завтра на заре! Ведь вы не мужчина, Наталья Александровна: мало ли что может случиться по дороге! Ночи теперь темные. Оставайтесь-ка лучше у нас ночевать. Переночуете с Любой, а завтра утром напьетесь себе чаю и поедете.

— Вот еще! — рассмеялась Наташа. — Какая, подумаешь, опасная дорога! У меня в городе дело есть, завтра утром непременно нужно быть; да и жарко ехать днем.

Сергей Андреевич помолчал.

— Ну, господь с вами!

Наташа спустилась с лесенки и стала отвязывать от загородки лошадь. Сергей Андреевич, задумчиво теребя бороду, молча смотрел, как Наташа взнуздывала лошадь, как Дав подтягивал на седле подпруги. Наташа перекинула поводья на руку.

— Спасибо вам, Наталья Александровна, что заехали, — медленно произнес Сергей Андреевич. — Но должен сознаться, — с горечью прибавил он, — не *такою* думал я вас увидеть.

— Какая есть! — ответила Наташа с своею быстрою усмешкою.

Сергей Андреевич нахмурился и молча пожал ее протянутую руку.

VI

Наташа уехала. Сергей Андреевич постоял, засунув руки в карманы, надел фуражку и медленно пошел по деревенской улице.

Запад уже не горел золотом. Он был покрыт ярки-розовыми, клочковатыми облаками, выглядевшими, как вспаханное поле. По дороге гнали стадо; среди сплошного бляенья овец слышалось протяжное мычанье коров и хлопанье кнута. Мужики, верхом на устало шагавших лошадях, с запрокинутыми сохами возвращались с пахоты. Сергей Андреевич свернул в переулочек и через обсаженные ивами конопляники вышел в поле. Он долго шел по дороге, понурившись и хмуро глядя в землю. На душе у него было тяжело и смутно.

Дорога мимо полос крестьянской ржи сворачивала к Тормину. Сергей Андреевич присел на высокую межу, заросшую икотником и полевою рябинкою. Заря гасла, розовый цвет держался только на краях облаков и, нако-

нец, исчез. Облака стали скучного свинцово-серого цвета. По широкой равнине, среди хлебов, мягко темнели деревни, в дубовых кустах Игнашкина Яра замигал костер. Мужик, с полным мешком за плечами, шел по тропинке через рожь. По-прежнему было тепло, и чувствовалась близость к земле, и по-прежнему медленно двигались в небе серые тучи, не угрожавшие дождем.

Мужик с мешком вышел на дорогу и повернул по направлению к Тормину.

— Прогуляться вышел по холодочку? — ласково обратился он к Сергею Андреевичу, поравнявшись с ним.

— Это ты, Капитон! Добрый вечер! Откуда бог несет?

Капитон спустил мешок на землю и достал из кармана кисет.

— Ходил к мельничихе, вот мучицы забрал до новины...

Он набил табаком трубку и спрятал кисет.

— Ну, дай посижу с тобою, передохну маленько, — сказал он, сел на межу рядом с Сергеем Андреевичем и стал закуривать.

— Как старуха твоя поживает? — спросил

Сергей Андреевич.

— Опух в ногах уничтожился, слава богу. Под сердце нет-нет да подкатит, а только работает нынче хорошо, дай бог тебе здоровья.

Они помолчали.

— Вот рожь-то какая уродилась! И косить нечего будет, — сказал Сергей Андреевич и кивнул на тянущуюся перед ним полосу; редкие, чахлые колосья ржи совершенно тонули в море густых васильков и полыни.

Капитон поглядел на полосу и неохотно ответил:

— Скосишь, брат, и такую. Моя вот полоска такая же точно.

— Посеялся поздно, что ли?

— А то с чего же?.. Приели к Филиппову дню хлебушко, ну, и набрал по четверти — у мельничихи, у Кузьмича, у санинского барина. Отдать-то отдай четверть, а отработать за нее надо ай нет? Там скоси десятину, там скоси; — ан свой сев-то и ушел. Вот и коси теперь васильки... А тут еще конь пал у меня на Аграфенин день, — прибавил он, помолчав.

— Ну, брат, плохо твое дело! Как же ты теперь жить будешь?

— Да уж... как хошь, так и живи, — медленно ответил Капитон и развел руками.

Сергей Андреевич угрюмо возразил:

— «Как хошь»... Ведь как-нибудь надо же прожить!

— Как же не надо? Знамо дело, — надо.

— Так как же ты проживешь?

— Как! Н-ну... — Капитон подумал. — Кабы сын был у меня, в люди бы отдал: все кой-что домой бы принес

— Так ведь нет же сына у тебя!

— То-то что нет! Вот я же тебе и объясняю: как хошь, мол, так и живи.

Сергей Андреевич замолчал. Капитон тоже молчал и задумчиво попыхивал трубкою.

— Жизнь томная, это что говорить. То-омная жизнь! — произнес он словно про себя.

Сергей Андреевич, угрюмо сдвинув брови, смотрел вдаль. Он припоминал сегодняшний спор и думал о том, что бы испытывали Наташа и Даев, слушая Капитона. Сергей Андреевич был убежден, что они ликовали бы в душе, глядя на этого горького пролетария, которого даже по недоразумению никто не назвал бы самостоятельным хозяином.

Капитон докурил трубку, простился с Сергеем Андреевичем и пошел своею дорогою.

Равнина темнела, в деревнях засветились огоньки. По дороге между овсами проскакал на ночное запоздавший парень, в рваном зипуне. Последний отблеск зари гас на тучах. Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная облачная ночь.

Сергей Андреевич стоял, оглядывая даль; он чувствовал, как дорога и близка ему эта окружающая его бедная, тихая жизнь, сколько удовлетворения испытывал он, отдавая на служение ей свои силы. И он думал о Киселеве, думал о сотнях рассеянных по широкой русской земле безвестных работников, делающих в глуши свое трудное, полезное и невидное дело... Да, ими всеми уже сделано кое-что, они с гордостью могут указать на плоды своего дела. Те, узкие и черствые, относятся к этому делу свысока... Что-то сами они сделают? И тяжелая злоба к ним шевельнулась в Сергее Андреевиче, и он почувствовал, что никогда не примирится с ними, никогда не протянет им руки...

Через всю свою жизнь, полную ударов и

разочарований, он пронес нетронутым одно — горячую любовь к народу и его душе, облагороженной и просветленной великою властью земли. И эта любовь, и его тоска перед тем, что так чужда ему народная душа, — все это для *них* смешно и непонятно. Им смешны сомнения и раздумье над путями, какими пойдет выбивающаяся из колеи народная жизнь. К чему раздумывать и искать, к чему бороться? Слепая историческая необходимость — для них высший суд, и они с трезвенною покорностью склоняют перед нею головы...

— Да, что-то они сделают? — повторял Сергей Андреевич, мрачно глядя в темноту.

1897

На повороте

I

Токарева встретили на вокзале его сестра Таня и фельдшерица земской больницы Варвара Васильевна Изворова. Токарев оглядывал Таню и в десятый раз повторял:

— Вот уж не ждал-то, что увижу тебя здесь.

Варвара Васильевна сказала:

— А какая досадная вещь вышла... Я вам писала, — директор банка обещал мне немедленно дать вам место в банке, как только приедете. Вчера захожу к нему, — оказывается, он совсем неожиданно уехал за границу в Карлсбаде у него опасно заболела дочь. Спрашивала я помощника директора, ему он ничего не говорил о вас. Такая досада. Придется вам ждать, пока воротится директор.

Варвара Васильевна говорила извиняющимся голосом, как будто была виновата в неожиданном отъезде директора. Токарев улыбнулся ее тону.

— Так ведь не на год же уехал директор?

— Нет, конечно. На месяц, самое большее — на два А покамест, знаете что? Поедем-

те к нам в деревню. Я с завтрашнего числа получаю в больнице отпуск, нынче или завтра приедут из деревни лошади.

Токарев радостно воскликнул:

— Варвара Васильевна, да ведь это превосходно. Чего ж вы за меня огорчаетесь? Пожить в деревне — лучшего я бы и сам для себя не придумал...

Подошел носильщик с вещами.

— Куда прикажете извозчика брать?

Токарев веселый и оживленный, взял ремни с пледом.

— Какая у вас тут есть гостиница недорогая?

— Ну, вот еще, зачем гостиница? — встрепенулась Таня. — Остановишься у нас в колонии.

Токарев поднял брови.

— В колонии?.. Посмотрим, что за колония.

Они вышли из вокзала. Варвара Васильевна сказала:

— Поезжайте, господа. А мне нужно еще забежать в больницу, сделать две перевязки. Я сейчас буду у вас.

Токарев и Таня сели на извозчика и поеха-

ли к городу. Солнце садилось, над шоссе стояла золотистая пыль, и сам воздух казался от нее золотым. Токарев, улыбаясь, смотрел на Таню.

— Расскажи ты мне толком, как ты сюда попала. В феврале последний раз написала из Петербурга и после этого как в воду канула.

— Я тебе говорила, всю весну мы пробыли тут на голоде, в Артемьевском уезде. Ну, я тебе скажу, — и насмотрелись. Жутко вспомнить. До июня пробыли там и все просадили, у кого какие были деньги; то есть, понимаешь, ни гроша ни у кого не осталось. Ну, вот и пошли в Томилинск.

— Пошли?

— Где шли, где на товарном поезде ехали... Очень было весело. Здесь раздобыли работы, — кто по статистике, кто уроков. Живем все вместе, — целый, брат, дом нанимаем. За три рубля в месяц. Вот увидишь, славные подобрались ребята.

— Я кое-что слышал о твоей деятельности на голоде. В вагоне я разговорился с одним земским врачом, — Рассудин, кажется, фамилия. Он мне много рассказывал про тебя.

— Рассудин? Что, что он говорил? — быстро спросила Таня и с любопытством подняла голову. Ее большие глаза самолюбиво заблестели.

Токарев лукаво улыбнулся.

— Одним словом, одобрял. А передавать не стану, — загордишься... А скажи ты мне лучше вот что: когда ты уехала на голод?

— В марте месяце.

— Как же ты с экзаменами устроилась? Перешла на следующий курс?

— Я уж зимою вышла с курсов.

— Вы-ышла? — протянул Токарев и замолчал. — Почему? — коротко спросил он.

— На что они мне. Курсы важны только вначале, чтоб приобрести знакомства, попасть в известную среду А раз это уж есть, то что в них?

Токарев потемнел.

— Странно... Курсы, во всяком случае, дают систематическое знание.

Таня рассмеялась.

— Систематическое знание... Диплом они дают, а не систематическое знание. Мне не шестнадцать лет, я и без профессорской указ-

ки сумею приобрести знания.

— Я не понимаю, ведь тебе всего один год оставался до окончания, — раздраженно сказал Токарев. — Что помещал бы тебе диплом? Кто знает, что может случиться в будущем, — почему его не иметь на всякий случай?

— Господи, как это скучно — о будущем думать. Не боюсь я никакого будущего, всегда сумею прожить и без диплома. Ведь тебе вот тоже оставался всего год до диплома, — не получил, и что ж? Большая от этого беда?

Токарев нахмурился и молчал.

Пролетка переваливалась из ямы в яму по немощеной, изрытой промоинами улице. Под заборами, в бурьяне, валялись дохлые кошки и арбузные корки. Пролетка остановилась у покосившихся ворот небольшого дома. На скамеечке сидел подслеповатый, бритый старик в жилетке и железных очках. Таня крикнула:

— Иван Финогеныч, пожалуйста, откройте нам ворота.

Старик оглядел пролетку и молча пошел отпирать. Они въехали на заросший муравьей двор. В его углу, около садовой калитки,

стоял крохотный флигелек. На крыльцо вышли два студента.

Токарев и Таня сошли наземь. Таня сказала:

— Знакомьтесь, господа. Это мой брат, я вам о нем говорила.

Студенты, немного стесняясь, назвали себя и пожали Токареву руку.

— Шеметов.

— Борисоглебский.

Шеметов, стройный парень в синей рубашке, исподлобья взглянул на Токарева.

— Давайте-ка, я вам снесу. — Взял из его рук чемодан и удивился. — У-ух, тяжелый какой.

Огромный Борисоглебский крутил на подбородке жесткие черные волосики. Заикаясь, он спросил:

— Чай будете пить? Сейчас запалим самоварчик.

Вошли через сенцы в тесную комнату с грязными, полуоборванными обоями. Везде валялись книги. К стене были пришпилены булавками портреты Маркса, Чернышевского и Горького.

Шеметов ушел за булками и закусками. Борисоглебский возился в сенцах с самоваром.

Таня села на кровать.

— Ну, вот тебе наша колония... Третьего, Вегнера, еще нету, — ушел куда-то... Она помолчала.

— Ну, расскажи же, что ты поделывал в Пожарске?

У Токарева еще не совсем прошло враждебное чувство к Тане. Он неохотно ответил:

— Да нечего рассказывать. Приехал туда из ссылки, служил в управлении железной дороги, ты знаешь. Прослужил год, штаты сократили, я и остался на мели.

— Ну, а что за народ там?

— Никакого «народу» нет, одни лишь обыватели. Скука, тишь, только книгами и спасался. Совершенно мертвый городишко.

Воротился из булочной Шеметов. В сенцах раздался его ворчливый голос:

— Несчастное дитя природы, он все тут с самоваром киснет... Пусти.

— Погоди, углей надо подкинуть, — возразил Борисоглебский.

— Уйди, постылый. «Углей»! Углей доволь-

но, нужно сапогом раздуть... Вот так. Видал?
Э, как пошла... «Угле-ей»...

Таня слушала, улыбаясь.

— Милый парень этот Шеметов. Смотрит исподлобья, голос свирепый, а такая мягкая, деликатная душа. На голоде Вегнер заболел у нас сыпным тифом. Посмотрел бы ты, как он за ним ухаживал: словно мать.

Самовар подали. Сели пить чай.

Пришла Варвара Васильевна вместе с Вегнером. Невысокий и сутулый, с впалую грудью, Вегнер с застенчивою улыбкою пожал руку Токареву и молча сел за чай. Варвара Васильевна с торжеством объявила:

— Сейчас спасла Вегнера от расторгуевских собак. Подхожу к углу, вижу, — собаки его окружили, заливаются, а он стоит и собирается применить свой способ. Еле успела ему помешать.

Все засмеялись. Токарев спросил:

— А что это за способ?

— У него свой особенный способ есть отпугивать собак, самый верный. Если бросится собака, нужно только присесть на корточки и грозно взглянуть ей в глаза — она сейчас же

подожмет хвост и убежит.

— Только никак он себе грозного взгляда не может выработать, — заметил Шеметов.

— В этом-то его и горе... Недавно, на голоде, пошел он к лавочнику покупать соли для своей столовой. Выскочила громадная собака; он присел на корточки и грозно взглянул ей в глаза, а она как цапнет его за нос.

Вегнер с улыбкой качал головою.

— Как все точно! Я только говорил вам, что слышал на голоде от одного пономаря о таком способе. А вы каждый день рассказываете, как будто все это и вправду было, — даже знаете, что именно я шел покупать к какому-то лавочнику.

— И завтра будет рассказано так же, — неумолимо сказала Варвара Васильевна.

Темнело. Сменили второй самовар. В маленькие окна тянуло из сада росистой свежестью и запахом спелых вишен. Токарев взял со стола продолговатую серенькую книжку и стал просматривать. Это были протоколы недавнего ганноверского съезда немецкой социал-демократической партии[24].

Таня заглянула, какую он взял книжку.

— Вот. Правда, характерно? Весь съезд целиком был посвящен книжонке Бернштейна... Нечего было больше делать.

Токарев перевертывал страницы книжки и сдержанно возразил:

— По-моему, Бернштейн над очень многим заставляет задуматься.

Таня изумилась.

— Господи, Володя! Ну, над чем он может заставить задуматься? Ведь это просто банкрот — успокоившийся, присмиривший и трусливый. И ведь до чего он гаденько-труслив: у него даже не хватает мужества прямо отречься от прежних «мечтаний»...

— Не вижу у него трусости. Напротив, нужно было большое мужество, чтобы выступить с такою книгою. И ни от каких мечтаний он не отказывается, он восстает только против трескучих фраз.

Вегнер слегка покраснел и, пощипывая бородку, спросил:

— Но этого-то вы не будете отрицать, что он — филистер до мозга костей?

— Я этого не отрицаю, — поспешно сказал Токарев. — Но это нисколько не мешает быть

его книге по существу глубоко верною. Филистерство остается при авторе, а в книге его все-таки больше настоящего, реалистического марксизма, чем в правоверном марксизме.

Таня насмешливо улыбнулась.

— Удивительное дело. Ты согласен, что он насквозь пропитан филистерством; как же это филистерство может не отражаться на самой сути его построений? Как будто филистерство — это так себе, маленький придаток, который не стоит ни в какой связи с остальным.

Спор разгорелся жестокий. Вмешались другие, и было столько мнений, сколько спорящих. Таня спорила резко, насмешливо, не брезгала софизмами и переиначиванием слов противника. Ее большие глаза с суровою враждою смотрели на Токарева и на всех, кто хоть сколько-нибудь высказывался за ненавистного ей Бернштейна. Было уж за полночь, в комнате стоял душный табачный дым, а в окна тянуло свежую и глубокою тишиною спавшей ночи.

Варвара Васильевна взглянула на часы и всполошилась.

— Господи, мне уж давно пора в больницу. С двенадцати часов начинается мое дежурство, а теперь уж двадцать минут первого. Прощайте, господа!

Она поспешно надела шляпу, протянула руку Токареву.

— Приходите завтра, я с двенадцати часов буду свободна. — И быстро ушла.

— Ну, пора бы уж и спать, — сказал Токарев. — Правду говоря, голова трещит с дороги.

Он беспомощно огляделся: где его могут тут положить?

— Мы вам сейчас устроим постель, — сказал Шеметов и встал.

Таня опять стала милою и радушною. Она воскликнула:

— Нет, нет, не надо. У вас тут клопов много. Он у меня наверху будет спать, а я пойду ночевать к Варе. Пойдем, Володя.

По крутой лесенке из сенец они поднялись наверх. В крохотной комнатке было жарко от железной крыши и душно, как в бане. Книжки и статистические листки валялись на полу, на стульях, на кровати. На столе лежала черная юбка. Таня поспешно повесила ее на

ГВОЗДЬ.

— Ну, вот тебе комната... Тебе не будет жестко спать? — спросила Таня и пощупала рукою свою кровать.

Токарев был приятно возбужден спором и общей атмосферой, от которой уж стал отвыкать. Он рассеянно ответил:

— Нет, ничего.

— Ну, спи... Прощай.

Таня пошла к двери. Вспомнила что-то и остановилась

— Да, вот что. Не возьмешься ли ты обделать тут одно дельце?

Токарев насторожился.

— Что такое?

— Видишь ли... Какое впечатление произвела на тебя Варвара Васильевна?

— Право, не могу сказать, — я ее слишком мало видел.

— Она очень живой человек и дельный. Между тем вот уж третий год киснет тут в Томилинке, в больнице, — отслуживает земскую стипендию. Ей положительно невозможно здесь оставаться, необходимо перетаскать ее в Петербург.

— Ну, да... Но что же я тут могу сделать?

— Видишь ли, мне говорила Варя, ты знал в Петербурге ее двоюродную сестру Засецкую; она кончила на фельдшерских курсах двумя годами раньше Вари. Так вот, эта Засецкая теперь замужем здесь за членом управы Будиновским — либеральный земец, влиятельный человек. Познакомься с ними, они как раз третьего дня приехали на неделю из деревни. Ты человек солидный. Подействуй на Будиновского, уговори его, чтоб Варе сократили срок службы в земстве.

— Она что же, сама хочет этого?

— Ей ничего об этом и говорить не нужно. Она такая щепетильная, ни за что не согласится.

— Вот странно. Какое же мы имеем право без ее разрешения хлопотать за нее?

— Ах ты, господи! — Таня досадливо передернула плечами и быстро прошла по комнате. — Ну, я не знаю, — как хочешь, а здесь ей невозможно оставаться. Я прямо не могу с этим примириться.

— Проведать Засецкую я не прочь, мне интересно повидать ее. Но хлопотать за Варвару

Васильевну без ее разрешения — это, по-моему, бесцеремонно прежде всего по отношению к ней же самой... А скажи, пожалуйста, я и не знал, что Варвара Васильевна получала стипендию; ведь ее родители — богатые люди, имеют имение под Томилинском.

— Да, только оно все в долгах, усадьба разваливается, отец сильно в карты играет. Они только наружно богаты... Ну, однако, прощай. Спи... Так завтра мы все-таки пойдем к Будиновским.

Таня ушла. Токарев сел на окно, закурил папироску. Росистый сад, облитый лунным светом, словно замер. Было очень тихо. Только изредка полно и увесисто шлепалось о землю упавшее с дерева яблоко. Вдали кричали петухи.

Варвара Васильевна произвела на Токарева довольно бледное и расхолаживающее впечатление. А между тем в Пожарске и раньше — в Вятской губернии он думал о ней с сладким и захватывающим чувством. В Петербурге они были хорошо знакомы. Время стояло горячее, волна общественного настроения начинала подниматься все выше, они не

заметили, как сближение их стало чем-то большим, чем дружба. Однажды вечером, вдруг, в неожиданном порыве, Токарев высказал Варваре Васильевне то, что он к ней чувствовал; Варвара Васильевна резко и испуганно отшатнулась и с этого времени стала все больше замыкаться и отдаляться от Токарева. А между тем он чувствовал, что и она любит его... Вскоре Токарева арестовали, потом сослали в Вятскую губернию. Они все время переписывались, и в этой переписке образ Варвары Васильевны делался для него все светлее, чище и дороже. Теперь, увидев ее, он почувствовал разочарование. Идеальный образ, увеличенный расстоянием, оделся плотью и превратился в обыкновенную девушку, — к тому же бледную, похудевшую и постаревшую; только лицо ее, строгое и красивое, немножко подходило к прежней мечте.

Токарев начал раздеваться. Сел на кровать, чтоб снять ботинки, уперся в нее руками — и остановился.

— Одна-ако!.. — Он поднял одеяло и простыни. На сосновых подставках лежали три неоструганных доски, покрытые тонким сол-

датским сукном, — и больше ничего, это была вся постель.

Токарев расхохотался. Он вспомнил, как Таня спрашивала: «Не жестко будет тебе?»

— Да, «не жестко», — громко сказал он, щупая ладонью твердые доски. Охватило горячее умиление к Тане; видимо, ей самой это действительно не жестко; она заботилась, чтоб ему было поудобнее; он сказал: «Не будет жестко», — и она успокоилась.

Токарев развязал свои ремни, уложил на доски пальто, подушки, плед, все, что было в комнате из Таниной одежды, и кое-как устроил сносную постель. Все улыбаясь, он потушил свечу и лег.

Прошел час, другой, — Токарев не мог заснуть. Было душно, кусали комары и мошки, жесткие Танины простыни терли тело. Наложённые вместо тюфяка вещи образовали в постели бугры, и никак нельзя было удобно улечься. Хотелось пить, а воды не было. Токарев лежал потный, угрюмый и злой и вспоминал свою уютную квартиру в Пожарске. Опять он бездомен. Будущее темно и неверно, и что хорошего может он ждать от этого буду-

щего?

II

В широком коридоре больницы пахло валерианкой и мятой. Таня постучала в небольшую белую дверь. Ответа не было. Она отворила дверь. Комната была пуста.

— Ну, так я и думала. Вари еще нет. А уж второй час. Наверно, помогает кому-нибудь управляться. Я положительно не видывала, чтоб человек когда-нибудь так работал. С утра до ночи возится с больными, все служащие выезжают на ней и сваливают на нее всю работу, а она и в ус себе не дует.

Комната была большая и чистая, два окна выходили в больничный сад.

Токарев сел в кресло и закурил папиросу. Таня прошлась по комнате, остановилась перед этажеркою и стала пересматривать книги. За дверью тонкий женский голос спросил:

— Варенька, вы у себя?

Таня поморщилась.

— Ее нет здесь.

В комнату, с книжкою в руках, вошла молодая девушка в сером платье — бледная, с круглыми, странно-светлыми голубыми гла-

зами. Токарев поднялся с кресла. — Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Варенька скоро придет?

— Не знаю я, — хмуро ответила Таня.

Девушка растерянно поглядывала на Токарева. Таня пробурчала:

— Мой брат. Ольга Петровна Темпераментова.

Темпераментова почтительно пожала руку Токарева.

— Я очень рада, мне Варенька столько рассказывала про вас. Она ужасно рада, что вы перебираетесь из Пожарска в Томилинск... Я эти дни как раз вспоминала об вас: я вот читаю Варенькину книжку, Энгельса, «О происхождении семьи», с вашей надписью ей... Какая книжка, просто замечательно! Так глубоко, так ясно все изложено... Как неопровержимо доказывается правильность материализма...

Слова сыпались, как мелкие горошины, — ровные, круглые и сухие. На душе сразу стало сухо и пусто. Токарев слушал, стараясь изобразить на лице внимание. Таня села к окну и стала читать. А Ольга Петровна со своими

растерянными, странно-голубыми глазами продолжала высыпать свое восхищение от книжки.

Пришла, наконец, Варвара Васильевна. Она сняла больничный халат, поспешно вышла и воротилась с горячим кофейником. Сиделка внесла поднос с чашками.

— Ну, слава богу. Свободна, — облегченно вздохнула Варвара Васильевна и села на кровать.

— Долгонько вы «освободились», — с улыбкой заметил Токарев.

Темпераментова влюбленными глазами следила за Варварой Васильевной.

— Ведь вы не знаете, Варенька такая добросовестная. Всем ей нужно помочь, за всем присмотреть. Главный доктор прямо говорит, что ею держится вся больница...

— Варя, пойдёмте сейчас к Будиновским, — прервала Таня. — Володя хотел бы повидать Марью Михайловну.

— Отлично. Сейчас после кофе и пойдём.

Сели пить кофе. Ольга Петровна сыпала своим пустым разговором, время шло томительно и угнетающе. Все поспешили кончить.

Вышли на улицу. Таня шла, нахмуренная и злая.

— По-моему, это профанация Энгельса — давать его читать таким господам. Не понимаю, чего вы возитесь с нею. Ведь пять минут пробыть с нею — это каторга.

— Скучновата она, верно, — согласилась Варвара Васильевна. — Да и навязчива немножко. А все-таки она очень хороший человек... и несчастный. С утра до ночи бегает по урокам, на ее руках больной отец и целая куча сестренки; из-за этого не пошла на курсы...

На тихой Старо-Дворянской улице серел широкий дом с большими окнами. Густые ясени через забор сада раскинули над тротуаром темный навес. Варвара Васильевна позвонила. Вошли в прихожую. В дверях залы появилась молодая дама в светлой блузе — белая и полная, с красивыми синими глазами.

— А-а, Варенька! Редкий гость. — Она радостно поцеловалась с Варварой Васильевной. Потом с недоумевающей улыбкой прищурила близорукие глаза на Токарева.

— Не узнаете, Марья Михайловна? — улыбнулся Токарев.

— Ах, господи, да это Владимир Николаевич! Я слышала от Вареньки, что вы перебираетесь в Томилинск... Как же вы изменились! Ну, здравствуйте, здравствуйте! — Она крепко, несколько раз, пожала руку Токарева. — Пойдемте, господа, в кабинет... Боря, иди сюда! К нам гости!

Мягко ступая летними башмаками, из кабинета медленно вышел высокий, плотный господин с русою бородкою, остриженной клинышком. Марья Михайловна перезнакомилась всех. Вошли в просторный, прохладный кабинет.

— Это Токарев, Владимир Николаевич... Я тебе часто рассказывала про него. Приятелями были в Петербурге.

На дубовом письменном столе в порядке лежали книги и бумаги. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь жалюзи, весело играли на зеленом сукне стола и на яркой бронзе письменных принадлежностей. У окон величественные латании, нежные арки и кенции переплетали узоры своих листьев. В кабинете

было комфортно и уютно.

— Я слышал, вы переселяетесь к нам в Томилино? — медленно спросил Будиновский, глядя на Токарева спокойными, серьезными глазами.

Он стал расспрашивать Токарева о его прежней жизни, слушал и сочувственно кивал головою. Токарев рассказывал, а сам приглядывался к Марье Михайловне. В Петербурге, курсисткой, она была тоненькая и худенькая, с большими, чудесными глазами, полными беспокойства и вопроса. Теперь глаза смотрели мягко и удовлетворенно. Красивое, полное тело под легкую блузу дышало тихим покоем.

— Да, Варвара Васильевна, я вам хотел сообщить, — вспомнил Будиновский. — Вы простите меня, но я вашего заявления до сведения управы не довел.

Варвара Васильевна нахмурилась и холодно сказала:

— Очень жаль. В таком случае я сама напишу председателю.

— Вот, Владимир Николаевич, подействуйте хоть вы на Варвару Васильевну, — с улыб-

кой обратился Будиновский к Токареву. — Весною на земском собрании мы единогласно постановили выразить Варваре Васильевне благодарность за ее сердечное и добросовестное отношение к больным в нашей больнице. Послали ей соответственную бумагу, а она в ответ подала мне заявление, что не нуждается в нашей благодарности... Ну как можно это делать?

— А как можно благодарить человека за то, что он исполняет взятые на себя обязанности? — резко возразила Варвара Васильевна. — Благодарят за самое обыкновенное исполнение своих обязанностей! Да ведь это дико! Этак скоро дождешься еще благодарности за то, что не обворовываешь больных и не берешь с них взяток!

Будиновский улыбался, забавляясь ее негодованием.

— Мы благодарили вас именно за особенное отношение к своим обязанностям, а не за обычное, формальное; отзвонил, и с колокольни долой!

— Ну, не стоит об этом говорить! Дело само по себе слишком ясно. Я работаю вовсе не для

вашего земского собрания, и мне решительно все равно, одобряет оно меня или порицает.

В ее голосе зазвенели слезы обиды. Она быстро прошла по кабинету и, закусив губу, остановилась у окна. Будиновский посмеивался. Токареву тоже было немножко смешно. Таня слушала, внимательно насторожившись, глаза ее блестели; у нее создавался новый план.

Вошла горничная и доложила, что подано кушать. Марья Михайловна встала.

— Господа, пойдете обедать!

Направились в столовую. Таня отстала от других и остановила Будиновского.

— Борис Александрович, мне нужно с вами поговорить.

Будиновский с удивлением посмотрел на Таню и любезно сказал:

— Пожалуйста! В чем дело?

— Видите ли... Вы сейчас рассказывали, как довольна управа службою Варвары Васильевны. Ей еще год нужно отслужить стипендию... Нельзя ли, во внимание к ее выдающейся деятельности, устроить так, чтоб простить ей этот год?

Будиновский, наклонив голову, внимательно слушал.

— Я не совсем вас понимаю... Зачем ей это нужно?

— Затем, что тогда она может уехать отсюда, — в Петербург, например. Ее только отслуживание стипендии и удерживает здесь.

— Я этого не знал.

Будиновский в замешательстве погладил бородку и медленно прошелся по кабинету.

— Откровенно говоря, мне сделать это чрезвычайно неудобно. Вы знаете, Варвара Васильевна — двоюродная сестра моей жены. На меня и так все косятся за мой последний доклад о недостатках постановки народного образования в нашей губернии; если же я предложу сделать, что вы желаете, то все скажут, что я «радею родному человечку»[25].

— Господи, стоит на это обращать внимание!

— Очень даже стоит, — серьезно возразил Будиновский.

— Что же теперь делать? — Таня задумалась. Вот что: тогда познакомьте меня с каким-нибудь другим влиятельным членом

управы.

«Вот неугомонная!» — подумал Будиновский и неохотно ответил:

— Сейчас все разъехались из города. Раньше осени все равно ничего нельзя сделать.

— Господа! Идите же обедать! — крикнула из столовой Марья Михайловна.

Таня быстро сказала:

— Только, пожалуйста, не говорите Варе о нашем разговоре.

Они пошли в столовую. По тарелкам уже была разлита ботвинья с розовыми ломтиками лосося и прозрачными кусочками льда. На конце стола сидел рядом с бонной шестилетний сын Будиновских, в матроске, с мягкими, длинными и кудрявыми волосами. Он с любопытством глядел на Токарева и вдруг спросил:

— Зачем у тебя синие очки?

— Ах, Кока, ну что тебе за дело? — рассмеялась Марья Михайловна. — У дяди глазки болят.

— Глазки болят... Тогда нужно компрессы, — уверенно сказал Кока.

— Какой опытный окулист! — улыбнулся

Будиновский Токареву.

Марья Михайловна вздохнула.

— Да, тут станешь опытным!.. Всю эту зиму он у нас прохворал глазами; должно быть, простудился прошлым летом, когда мы ездили по Волге. Пришлось к профессорам возить его в Москву... Такой комичный мальчугашка! — Она засмеялась. — Представьте себе: едем мы по Волге на пароходе, стоим на палубе. Я говорю. «Ну, Кока, я сейчас возьму папу за ноги и брошу в Волгу!..» А он отвечает: «Ах, мама, пожалуйста, не делай этого! Я ужасно не люблю, когда папу берут за ноги и бросают в Волгу!..»

Все рассмеялись. Кока, ухмыляясь, оглядывал смеющихся.

В передней раздался звонок. Вошел красивый студент в серой тужурке, с ним молодая девушка — розовая, с длинною косою. Это приехали за Варварой Васильевной из деревни ее брат Сергей и сестра Катя.

Сергей, только что вошел, быстро спросил:

— Получила отпуск?

— Получила!

— Чудесно! Значит, едем!

— Сережа, Катя! Садитесь скорей, ешьте ботвинью! — сказала Марья Михайловна.

Пришедшие поздоровались. Сергей крепко и радостно пожал руку Токареву, — видимо, он уж слышал о нем от сестры.

— А мы с Катей приехали, сунулись к тебе, — обратился Сергей к Варваре Васильевне. — Тебя нету, сидит только девица эта... Как ее? С психологической такой фамилией. Сказала, что вы сюда пошли... Ну, а ты, шиш, как поживаешь? — спросил он Коку. — Дифтеритом не заразился еще? Пора бы, брат, пора бы тебе схватить хороший дифтеритик.

— Ах, Сережа, ну что это такое?! — воскликнула Марья Михайловна.

— Нет, ей-богу, следовало бы ему заразиться! Живут в деревне, мать — по образованию фельдшерица и не позволяет бабам приносить к себе больных ребят, — заразят ее Коку!

Марья Михайловна заволновалась.

— Ну, Сережа, мы лучше об этом не будем говорить! Я не могу заниматься общественными делами. Женщина, имея детей, должна жить для них — это мое глубокое убеждение.

Сергей изумленно вытаращил глаза.

— Какое же это общественное дело — каломелю или хинину дать ребенку?

— Мы делаем для народа все, что можем. Благодаря Борису в нашем уезде прибавлено восемь новых фельдшерских пунктов, увеличена сумма, отпускаемая на лекарства... Мы за это имеем право не подвергать опасности Коку. Я могу жертвовать собою, а не ребенком... Владимир Николаевич, что ж вы себе лафиту не наливаете? Боря, налей Владимиру Николаевичу... Нет, право, эта молодежь — такая всегда прямолинейная, — обратилась она к Токареву. — Недавно продали мы наше мценское имение, — только одни расходы с ним. Сережа смеется: будете, говорит, теперь стричь купоны?.. Я решительно не понимаю, — что ж дурного в том, чтоб купоны стричь? Почему это хуже, чем хозяйничать в имении?

— Я ничего против купонов не имею, — возразил Сергей с легкой улыбкой. — Но Борису Александровичу не восемьдесят лет, чтобы сидеть на ворохе бумаг и резать купоны.

— Это все равно. Мы не имеем права рисковать капиталом.

— Почему так?

Марья Михайловна поправила кольца на белых, мягких пальцах.

— Деньги от мценского имения целиком должны остаться для Коки.

После цыплят подали мороженое, потом кофе. Сергей перешептывался с Таней. Будиновский курил сигару и своим медленным, слегка меланхолическим голосом рассказывал Токареву об учрежденном им в Томилинке обществе трезвости.

— А какую прекрасную публичную лекцию в пользу этого общества прочел у нас недавно Осьмериков, Алексей Кузьмич, — обратилась Марья Михайловна к Токареву. — О рентгеновских лучах... Это учитель гимназии нашей, — такой талантливый человек, удивительно! И как его дети любят! Вот, если бы у нас все такие учителя были, я бы не боялась отдать Коку в гимназию.

— Действительно, удивительно дети его любят, — сказала Варвара Васильевна. — Весною встретилась я с ним на улице, идет в целой толпе гимназистиков. Разговариваю с ним, а мальчуган сзади стоит и тихо, любов-

но гладит его рукою по рукаву... Так жалко его, беднягу, — в злейшей чахотке человек.

— Только ужасно долго он лекцию эту читал, — улыбнулась Марья Михайловна. — Два часа без перерыву. Хоть и демонстрации были, а все-таки утомительно слушать два часа подряд.

— Да, у нас вообще не привыкли долго слушать, — сказал Токарев. — Вот в Германии, там простой рабочий слушает речь или лекцию три-четыре часа подряд, и ничего, не устает.

— Так это почему? Они сидят себе, пьют пиво и слушают; женщины вяжут чулки... Когда чем-нибудь занимаешься, всегда легче слушать. Да вот, например, мы иногда с Борисом читаем по вечерам «Русское богатство». Я читаю, а он слушает и рисует лошадиные головки. Это очень помогает слушать.

Сергей расхохотался.

— Ч-черт знает, что такое... Лошадиные головки... А ведь остроумно вы это придумали!

Он смеялся самым искренним, веселым смехом. Будиновский сконфузился и нахмурился.

— Ну, Маша, что ты такое рассказываешь? Просто, я вожу машинально карандашом по листу, а по твоему рассказу выходит так, что без лошадиных головок я и слушать не могу.

Марья Михайловна стала оправдываться.

— Нет, я только говорю, что это все-таки помогает сосредоточиваться. Ведь, правда, как-то легче слушать.

Сергей несколько раз замолкал и опять прорывался смехом. Таня скучала. Варвара Васильевна перевела разговор на другое.

Опять раздался звонок. Вошел господин невысокого роста и худой, с большою, остриженной под гребешок головою и оттопыренными ушами; лицо у него было коричневого, нездорового цвета, летний пиджак болтался на костлявых плечах, как на вешалке.

— А-а, Алексей Кузьмич! — приветливо протянула Марья Михайловна. — Вот легок на помине. А мы только что говорили о вашей лекции. Все от нее положительно в восторге.

— Угу! — пробурчал Осьмериков и подошел поздороваться, — подошел, втянув наклоненную голову в поднятые плечи, как буд-

то ждал, что Марья Михайловна сейчас ударит его по голове палкою.

— Ну, здравствуйте, — сказал он сильным голосом, сел и нервно провел рукой по стриженной голове. — А я слышал от Викентия Францевича, что вы приехали, вот забежал к вам... Да, вот что! Кстати! — Осьмериков тусклыми глазами уставился на Сергея. — Скажите, вы не знаете, Коломенцев Александр кончает в этом году?

— Уж кончил, кажется, — небрежно ответил Сергей. — Даже при университете оставлен.

— А-а! — хрипло произнес Осьмериков. — Дай бог дай бог!

— Ну, не знаю, чего тут «дай бог». Ведь это полнейшая бездарность.

Осьмериков своим сильным, срывающимся голосом возразил:

— Зато работник! Это гораздо важнее! Для жизни нужны работники, а не одаренные люди... Ох, уж эти мне одаренные люди! Вы мне, пожалуйста, не говорите про них, я им ничего не доверю, никакого дела, — вашим «одаренным людям».

— Одн-нако! — удивился Сергей. — Уж что-что другое, а бездарность — профессор — это нечто прямо невозможное.

— Да ведь светочей-то среди них — всего два-три процента, не больше! — воскликнул Осьмериков. — А остальные... Вот я недавно был в Москве на физико-математическом съезде. Ужас, ужас!.. У-ужас! — Он поднялся с места и быстро огляделся по сторонам. — Где люди? Нету их. Профессор математики, ученый человек, европейская величина, а заставь его поговорить с ребенком — он не может! Слишком сам он большая величина. Ребенок для него — логарифм! Вот этакая коробочка, в которую нужно запихивать знания, пихай! Извольте видеть? Во-от-с!.. А я вам скажу: умный человек не тот, кто умеет логически мыслить, а тот, кто понимает чужую логику и умеет в нее войти. Вот иной раз у меня же в классе. Толкуешь, толкуешь мальчишке, — никак не возьмет в толк. Кто виноват? Я! Я не поймал его логики!.. Вызовешь другого мальчика: ты понял? — Понял! — Ну, ступай с ним за доску, объясни ему там... И объяснит. А я вот, старый дурак, не сумел!

Он снова быстро сел на стул и придвинулся с ним к столу. Сергей неохотно возразил:

— Так вот, ведь вы, именно, и доказываете, что педагогом может быть только одаренный человек.

— Нет-с, нет-с, я этого не доказываю! Нужно быть только добросовестным работником, не смотреть на жизнь свысока, не презирать ее! Не презирать чужой души, не презирать чужой логики!

Осьмериков говорил быстро, нервно и глядел на Сергея тусклыми, как будто бесцветными и в то же время пронизательными глазами.

— Бездарный работник именно на это-то и не способен, — сказал Сергей.

— Почему нет? Почему нет?

— Потому что он слишком преклоняется перед...

— Почему нет?

— ...перед собственной логикой. Она для него все.

— Нам нужны «большие дела», на малые мы плюем. Почему нет?

Осьмериков снова порывисто встал и на-

чал оглядываться, как будто собирался немедленно уйти, потом опять сел.

— «Одаренные люди»!.. О господи! Избави нашу жизнь от одаренных людей! Они-то все и баламутят, они-то и мешают нормальному течению жизни... Вот, я вам прямо скажу: вы — одаренный человек. Я все время видел это, когда вы были моим учеником. И тогда же я сказал себе: для жизни от вас проку не будет... Вас вот в прошлом ходу исключили из Московского университета, через год исключат из Юрьевского. И кончите вы жизнь мелким чинушей в акцизе или сопьетесь с кругу. Почему? Потому что нам нужно «большое дело», обыденный, будничный труд для нас скучен и пошл, к «пай-мальчикам» мы питаем органическое отвращение!

— Верно! Прямо органическое отвращение питаю!

Осьмериков обрадовался.

— Ну, во-от! Не правда, что?.. Серые, обыденные люди для вас не существуют, они для вас — вот тут, под диваном... Милый мой, дорогой! Жизнь жива серыми, тусклыми людьми, ее большое дело творится из малого,

скупного и ничтожного!

Таня встала.

— Мне пора идти! — сказала она. — Нужно еще поспеть в статистический комитет.

— Господа! Пойдемте, нам ведь тоже уж давно пора! — обратился Сергей к остальным.

III

Они вышли. Вечерело. Вдали еще шумел город, но уже чувствовалась наступающая тишина. По бокам широкой и пустынной Старо-Дворянской улицы тянулись домики, тонувшие в садах. От широкой улицы они казались странно маленькими и низенькими.

— Кто этот гриб? — спросила Таня.

Сергей усмехнулся.

— Осьмериков-то?.. Чистая душа!.. Ведь действительно вся душа светится. Но сколько он народу среди учеников перепортил своею чистою душою!

— Как душно с ними! — Таня быстро повела плечами. — И какое все кругом маленькое, низенькое, смиренное! Совсем вот, как эти домики... И арифметика, и чувства — все какое-то особенное: малое больше большого, серое ярче красного.

— А как вы нашли Марию Михайловну? — обратилась Варвара Васильевна к Токареву.

— Какая она стала... мягкая и белая! — улыбнулся Токарев.

— Страшно! Страшно, как человек меняется! — задумчиво сказала Варвара Васильевна. — Ведь одно лишь имя осталось от прежнего. Что значит семья и дети...

— Да, — вздохнул Сергей, — много я видал семейных счастья и нахожу, что на свете ничего нет тухлее семейного счастья.

— И это положительно что-то роковое лежит в женщине, — продолжала Варвара Васильевна, — ребенок заслоняет от нее весь большой мир... Нет, страшно, страшно!.. Никогда бы не пошла замуж!

Таня с неопределенною улыбкою возразила:

— Я не знаю, — отчего? Все зависит от самого человека. Я бы вышла, если бы захотела.

— Совершенно с вами согласен, — решительно сказал Сергей. — Люди устраивают себе тухлятину. Виноваты в этом только они сами. Почему отсюда следует, что нужно давить себя, связывать, вваливать на себя какие-то

аскетические ограничения? Раз это — потребность, то она свята, и бежать от нее стыдно и смешно... Эх, ночь какая будет! Господа, чуете? Давайте, выедем сегодня же. Лошади отдохнули, а ночи теперь лунные, светлые... Заберем всю колонию с собою и поедем.

У Тани разгорелись глаза.

— Вот это славно!.. Им всем полезно будет отдохнуть: в Питере жили черт знает как, на голоде сами голодали, а тут уж совсем пооблезли... Превосходно! Все и поедем!

Когда они пришли в колонию, там все сидели за работой. Сергей объявил:

— Ну, ребята, одевайтесь! Едем в деревню!

— Да ну-у? — просиял Борисоглебский. — Вот так здорово! Серьезно?

Таня оживленно говорила:

— Статистику заберем с собою, и там можно будет работать! А деревня, говорят, чудесная. Славно недельку проживем.

Митрыч слабо свистнул и с торжествующим видом запрыгал по комнате, неуклюже поднимая ножищи в больших сапогах.

— Чай, и простокваша есть у вас там?.. Собирайся, ребята!

— Ишь, зачуял простоквашу, разыграл!.. Ну, забирайте вашу статистику, одевайтесь. А я пойду на постоялый, велю закладывать лошадей. — Сергей ушел.

Варвара Васильевна сказала:

— Только, господа, еще одно: нужно будет и Ольгу Петровну взять с собою, Темпераментову.

Таня скорбно уронила руки и застонала.

— Ну, Таня, ну что же делать? Пускай и она немного отдохнет. Ведь совсем, бедная, заработалась за зиму.

— Отрав! — вздохнул Митрыч. — Аппетита к жизни лишает человека! А что оно, конечно, того... Нужно же и девчонке отдохнуть, это верно.

В девятом часу вечера из города выехал запряженный тройкою тарантас, битком набитый народом. Сидели на козлах, на приступочках, везде. Сергей правил.

— Селедки, селедки моченые! — тонким голосом кричал Шеметов, когда навстречу попадались проезжие мужики.

Тарантас выкатил на мягкую дорогу. Заря догорела, вошла луна. Лошади бежали бой-

ко, Сергей ухал и свистал, в тарантасе спорили, пели, смеялись.

Была глухая ночь, когда гости приехали в Изворовку. Их не ждали. Встала хозяйка Конкордия Сергеевна Изворова, суетливая, радужная старушка. Подали молока, простокваши, холодной баранины. Сонные девки натаскали в гостиную свежего сена и постелили гостям постели. Уж светало, когда все — оживленные, веселые и смертельно усталые — залегли спать и заснули мертвецки.

IV

Изворовка была старинная барская усадьба — большая и когда-то роскошная, но теперь все в ней разрушалось. На огромном доме крыша проржавела, штукатурка облупилась, службы разваливались. Великолепен был только сад — тенистый и заросший, с кирпичными развалинами оранжерей и бань. Сам Изворов, Василий Васильевич, с утра до вечера пропадал в поле. Он был работник, хозяйничал усердно, но все, что вырабатывал с имения, проигрывал в карты.

Жизнь для гостей текла привольная. Вставали поздно, купались. Потом пили чай и рас-

ходились по саду заниматься. На скамейках аллей, в беседках, на земле под кустами, везде сидели и читали, — в одиночку или вместе. После завтрака играли в крокет или в городки, слушали Катину игру на рояли. Вечером уходили гулять и возвращались поздно ночью. Токарев чувствовал себя очень хорошо в молодой компании и наслаждался жизнью.

Прошла неделя. Завтра «колония» должна была уезжать. На прощание решили идти куда-нибудь подальше и прогулять всю ночь. Был шестой час вечера. Токарев и студенты сидели с простынями под ближними елками и ждали, когда выкупаются барышни. День был очень жаркий и тихий, в воздухе парило.

Сергей крикнул:

— Эй, девицы! Скорей! Прохлаждаются себе уж два часа, а тут кисни... Эй, барышни! Потопли вы там, что ли?

От террасы быстро прошла по дорожке Таня с простынею на плече и книгою под мышкой.

— Тэ-тэ-тэ!.. Татьяна Николаевна! Это что же, вы только еще идете купаться?

Таня быстро ответила:

— Я в одну минуту буду готова, только один раз окунусь.

— Слушай, Таня, ведь это невозможно, — раздражаясь, сказал Токарев. — Ведь кричали тебе купаться, — нет, сидела и читала, а знаешь, что люди ждут. А когда кончают, теперь идешь. Еще полчаса ждать!

— Ну, вот увидишь, я с ними в одно время ворочусь. — И Таня прошла.

Токарев прикусил губу, стараясь не показать своего раздражения. Как раз вчера утром он проспал и шел купаться, когда там уже купались, а Таня сидела под елками и ждала. Она энергично воспротивилась и непустила его, — по одиночке будете ходить, так целый день придется тут ждать... А сегодня сама делает то же самое... Шеметов сидел на столе и лениво раскачивал ногами.

— Черт возьми, голова трещит! Облом этот Митрыч в восемь часов сегодня поднял... Слушай, Сережка, убери ты его, пожалуйста, от нас в другую комнату, я с ним, с подлецом, не могу спать.

Митрыч, ослабив лицо, посмеивался.

— Ты же сам вчера просил разбудить тебя.

— А сегодня утром я тебя просил не будить... Черт знает, как восемь часов, — хватает и стаскивает с постели. Этакая свинья!

— А уж Сашка-то тут извивается! — засмеялся Вегнер. — Осторожнее, ты меня запутал!.. Ой, Митрыч, оставь, я очень похудел!.. Бог знает, что говорит, и самым серьезным, озабоченным тоном.

— Потеха у нас... того... бывает с ними по утрам! — обратился Митрыч к Токареву. — Вечером просят будить: это, говорят, разврат — спать до полудня. Ну, я и стараюсь. Значит, стащишь Сашку с постели, он ругается, а потом вдруг вскочит и бросится немца стаскивать.

Шеметов сердито говорил:

— Нет, я, главное, не понимаю, для чего будить! Невыспавшийся человек не в состоянии работать; что же он? Будет только сидеть над книгой и клевать носом. Это все равно, что пустым ведром воду черпать!

— Гм... — Сергей задумался. — А ты полагаешь, что обыкновенно воду черпают полным ведром?

— Полным, пустым — мне все равно. Я ва-

ших глупых пословиц вовсе не желаю знать.

— Он вообще насчет пословиц и цитат любитель, — заметил Вегнер. — Вчера вдруг провозглашает:

*На свете много есть, мой друг Го-
рацио,
Чего нехитрому уму не выдумать
и век!*

Уверяет, что это Шекспир сказал...[26]

Сергей заорал:

— Эй, вы, девицы! Скоро вы?

От пруда донесся голос Тани:

— Сейча-ас.

Но там все слышались плеск воды и смех.

Токарев кипел. Что за бесцеремонность!

Она даже и не считает нужным поторопиться!.. Вообще за эту неделю у Токарева много накопилось против Тани. Приехавшая с ними из Томилинска Темпераментова была действительно невыносимо скучна, но так третировать человека, как третировала ее Таня, было положительно невозможно. Больше же всего Токарева возмущало в Тане ее невыносимое разгильдяйство, — она приехала сюда, не взяв с собою из одежды решительно ниче-

го, — не стоит возиться, а тут без церемонии носила белье и платья Варвары Васильевны и Кати. Так же она относилась и к чужим деньгам: Токарев из своего скудного заработка в Пожарске высылал ей в Петербург денег, чтоб дать возможность кончить курсы; ни разу она не отказалась от денег, хотя могли же быть у нее хоть иногда кой-какие заработки; этою весною она вышла с курсов, ничего ему даже не написала, а деньги от него продолжала получать.

Наконец, со стороны пруда раздалось:

— Идите!.. Можно!

Барышни поднимались по тропинке. Таня сказала Токареву:

— Ну, видишь, в одно время кончила со всеми!

Он ничего не ответил и прошел мимо.

Горячее солнце играло на глади большого пруда, старые ивы на плотине свешивали ветви к воде. От берега шли мостки к купальне, обтянутой ветхою, посеревшею парусиною, но все раздевались на берегу, на лавочках под большою березою

Шеметов и Сергей лениво разделись и

остались сидеть на скамейке. Вегнер уж давно был в воде. Маленький и юркий, он, как рыба, нырял и плескался посредине пруда.

Шеметов спросил:

— Слушай, немец, вода теплая?

— Приятная! — значительно крикнул Вегнер.

— Гм... — Шеметов взошел на мостки и попробовал ногою воду. — Да-а, «приятная»!..

Борисоглебский стоял на берегу — огромный, мускулистый и голый, обросший жесткими черными волосами, с странно щурившимися без очков глазами. Протянув руку вперед, он пел своею глубокою, рычащею октавою:

*Проклятый мир!
Презренный мир!
Несчастный,
Ненавистный мне...*

Ой, черт!..

Шеметов с мостков брызнул в него водою. Борисоглебский серьезно сказал:

— Ну, что за свинья! Ведь холодная она, вода-то! — Он потер себе бок и продолжал:

*Несчастный,
Ненавистный мне мир!..*

Сергей перемигнулся с Шеметовым и Вегнером, с невинным видом вошел в воду, — и на Митрыча полился целый дождь брызг.

— Чер-рти!! — зарычал Митрыч и ринулся на них. Вегнер и Сергей, как лягушки, бросились в воду. Шеметов перед носом Митрыча захлопнул дверь купальни и заперся на крючок. Митрыч, сильный, как медведь, плавал плохо и в воде чувствовал себя неуверенно.

— Погодите вы, черти! Выйдете на берег, я вас каждого заставлю «Проклятый мир» спеть!

Шеметов из купальни крикнул:

— Ребята! Заключим против него общий морской союз!

— Идет! — отозвался с середины пруда Сергей. — Лезь в воду, Сашка!

— Да вода, брат, холодная!

Борисоглебский на берегу пел:

*Сражался я, искал я смерти,
Но остался жив...*

Сергей и Вегнер тихо, стараясь не шуметь,

подплывали к купальне.

— Ой, подлецы!.. Карау-ул!! — завопил вдруг в запертой купальне Шеметов под хохот других голосов. Сергей и Вегнер нырнули в купальню и обрызгали Шеметова.

— Ой!.. Погодите, мне вам что-то нужно сказать! — кричал Шеметов, а вода бурлила в купальне, и брызги взлетали высоко вверх.

Дверь хлопнула, и Шеметов бомбою вылетел на берег.

*И будешь ты царицей ми-и-ира
Подруга первая моя...[27] —*

рявкнул Борисоглебский и, широко расставив руки, облапил Шеметова.

Шеметов серьезным, озабоченным тоном говорил:

— Ой, Митрыч, погоди! Что мне тебе нужно сказать!.. Поосторожнее, пожалуйста, я запутался!

— Он запутался! — смеялись в купальне.

— Пой: «Проклятый мир!»

— Убирайся к черту!.. Ах ты, кутья несчастная!

Шеметов ловко дернулся и охватил Бори-

соглебского. Началась борьба. Шеметов, ловкий и стройный, искусно увертывался от попыток Митрыча сломить ему спину. Тела переплелись, напрягшиеся крепкие мышцы оставляли на коже красные следы. Митрыч с силою налег на Шеметова, тот увернулся и брякнул Митрыча наземь, но Митрыч уж на земле подмял его под себя.

Задыхаясь, он навалился на Шеметова.

— А-а, брат!.. Ну, пой: «Проклятый мир!»

И запустил ему толстый большой палец под ребра.

— Бо-ольно, Митрошка!

— Пой: «Проклятый мир!»

— Ой-ой!.. Кишки выдавишь, свинья!

— Пой, — сейчас пуцу!.. «Прокля-атый мир!..»

Шеметов неистово завопил:

— «Проклятый мир!»

— «Презре-енный мир!.. Несчастный!..» — подсказывал Борисоглебский и ворочал пальцем под ребрами Шеметова.

— «Презренный мир!..» Ой, Митрофан проклятый, саврас без узды!..

Митрыч мрачно и сосредоточенно подска-

зывал:

— «Несча-астный...»

— «Несча-астный...»

— Морской союз идет на континент! — крикнул Сергей.

Он и Вегнер выскочили из воды и вцепились в Митрыча.

Четыре тела слились в общую кучу. Они возились и барахтались на траве. Мелькало красное, напряженное лицо Митрыча и его огромные мускулистые руки, охватывавшие сразу двоих, а то и всех троих. Токарев сидел на скамейке, смеялся и смотрел на борьбу. Ему бросилось в глаза злобно-нахмуренное лицо Сергея, придавленного к земле локтем Митрыча. Наконец, Борисоглебского подмяли под низ, и все трое навалились на него.

Все еще со злым лицом, Сергей запустил ему палец в живот и крикнул:

— Пой: «Проклятый мир!»

— «Прокля-атый мир!» — покорно заорал Митрыч — так дико, что галки на ивах всполохнулись и с криком полетели прочь.

— Дальше.

— «Презре-енный мир!.. Несчастный!..»

Ненавистный мне мир!..»

Его выпустили. Все поднялись — красные, взлохмаченные, задыхающиеся. Шеметов поглаживал ладонью бока и возмущался.

— Этакая гнусная привычка! Чуть что, сейчас палец под девятое ребро, — рад, что анатомию знает, — и пой ему: «Проклятый мир...» Да, может быть, я в этот момент совсем не расположен петь?

— Скоты такие! Самому мне все брюхо разворочали! — сказал Митрыч.

— Ну, ребята, довольно возиться! — объявил Шеметов. — Нужно купаться. Чур, не брызгаться... — Он вздохнул. — Только у меня что-то уж и охота прошла в воду лезть.

— А раньше большая охота была! — засмеялся Вегнер.

— Молчи ты, плюгаш паршивый! Предатель! Я с тобою и разговаривать не хочу... Владимир Николаевич, — обратился он к Токареву, — пойдете в купальню, как полагается приличным людям.

Он взял Токарева под руку и важно прошел с ним в купальню.

— Ишь, всю купальню замочили! Порядоч-

ному человеку и выкупаться нельзя!

— Ну, вправду, ребята, чур, не брызгаться! Будет! — сказал Борисоглебский.

Вегнер и Сергей поплыли на ту сторону пруда. Митрыч три раза окунулся в купальне и вылез в пруд.

— У-у, пес твою голову отверти! Хорошо!

Он в восторге гоготал, подпрыгивал и окунался до плеч. Токарев тоже влез в воду. Только Шеметов стоял, опираясь о перекладину купальни, и болтал ногою в воде. Он ворчливо говорил:

— Ключи у вас здесь какие-то бьют на дне, что ли? Вода какая холодная!

— Лезь, Сашка, а то опять обрызгаю! — крикнул с того берега Сергей.

— Я тебе «обрызгаю»! — погрозился Шеметов и вздохнул. — Нет, ей-богу, я нахожу это прямо безнравственным: зачем я буду насиловать свое тело? Я и без того прозяб, инстинкт тянет меня согреться, а какой-то нелепый долг повелевает лезть в холодную воду.

Митрыч стоял по грудь в воде и мылил голову. Шеметов встрепенулся, тихонько соскользнул в купальню и исчез под водою.

— У-у-уй!!! — завопил Митрыч и шарханулся к берегу.

Из воды вынырнуло смеющееся лицо Шеметова.

— Ну, брат, напугал ты меня! Я думал — рак!

— «Ра-ак...» Будешь ты вперед «Проклятый мир» заставлять меня петь?

Сергей крикнул:

— Ну, ребята, одевайся! Скорей! А то поздно будет!

Они оделись и пошли к Дому.

На широкой каменной террасе, заросшей диким плющом, кипел самовар. Все уж пили чай. Конкордия Сергеевна растирала деревянной ложкою горчицу в глиняной миске.

Катя выставила из-за самовара свое розовое молодое лицо и лукаво спросила:

— Какую это вы, Шеметов, песню пели на берегу?

Шеметов вздохнул:

— Это мы с Митрычем спевались. Дуэт из «Демона». Он Демона пел, а я Тамару, — томно сказал он. — А что, хорошо? Производит эстетическое впечатление?

— Прелестно! Производит...

— То-то! — проворчал Шеметов. — А вы думали, что только вы способны доставлять эстетическое наслаждение, разыгрывая своих Шопенгауэров?

Катя расхохоталась и в восторге забила в ладоши. Варвара Васильевна невинно спросила:

— А это хороший композитор — Шопенгауэр?

— Он Шопена хотел сказать! — засмеялась Катя. И все засмеялись. Шеметов презрительно оглядывал их.

— Смеются!.. Как будто композиторы бывают только в области музыки!

— А где ж они еще бывают? — спросил Вегнер.

— Где! Да хоть в философии. Среди твоих немцев есть целый ряд философов-композиторов, — например, тот же Шопенгауэр, Ницше... Платон...

— Да Платон вовсе не немец.

— Поэтому я об нем и не говорю. Вот еще — Фихте...

— Ну, ну, припомни, каких ты еще философов слышал, — засмеялся Сергей. — Вали: Гегель, Лейбниц, Шеллинг, Кант...

Шеметов сердито ответил:

— Нет, они были сухими рационалистами. В них не было этого... порыва, экстаза, что ли...

— Какой нахал! — вздохнул Вегнер.

— А каким голосом говорит свирепым, как будто хочет смертоубийство совершить? — воскликнула Варвара Васильевна.

— Я самым обыкновенным голосом говорю.

— Да, обыкновенным! — сказала Катя. — Мама, смотри, он тебе голову скусит! Налей ему поскорее чаю, умилоствивь его!

— А, чтоб вас бог любил! — смеялась Конкордия Сергеевна, разливая в стаканы чай.

Все усердно ели и пили. Пришел Василий Васильевич, загорелый старик в больших сапогах и парусиновом пиджаке. Конкордия Сергеевна налила ему чай в большую, фарфоровую кружку с золотыми инициалами. Василий Васильевич стал пить, не выпуская из рук черешневого мундштука с дымящеюся

папиросою. Он молча слушал разговоры, и под его седыми усами пробежала легкая, скрытая усмешка.

Таня встала.

— Ну, господа, напились? Пойдемте!

— Идем!

V

Быстрым шагом они шли по дороге среди ржи. Солнце садилось в багровые тучи. Небо было покрыто тяжелыми, лохматыми облаками, на юге стояла синеватая муть.

Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине.

Сергей, с странным, нервным блеском в глазах, радостно потер руки.

— Гроза будет! Чуется в воздухе!

— Господа, пойдемте подальше! — оживленно сказала Таня. — Ведите, Сергей Васильевич!.. Да поскорее, господа, что так медленно?

Катя засмеялась:

— Медленно! И так почти бежим.

— Правда; гроза будет? — встрепелась Темпераментова. — Так тогда лучше воротиться, захватить калоши; а то все утонем.

Шеметов проворчал:

— От утопления калоши не могут спасти.

Ольга Петровна радостно засмеялась и поправила:

— Не от утопления, а чтоб ноги не промочить.

Митрыч неуклюже шагал по пыли своими большими сапогами. Слегка заикаясь, он заговорил:

— Не только не спасут калоши, а в них и топиться ходят. У нас в селе, где мой батька псаломщиком служил, был поп, у него сын, в семинарии учился со мною. Смирный был мальчишка, того... Скромный. Ну, ладно. Вот раз попал он в компании на ярмарку, — то, другое, и напился вдрызг, до риз положения; не знает, как домой попал. Утром проснулся — голова трещит, лохматый; лежит и стонет: «Олёна, а Олёна! Подай мои колоши!..» У нас там, в Олонецкой губернии, на о говорят. Вышел на двор, вцепился в волосы... «О, позор, позор!.. Где мои колоши? Пойду утоплюсь!..»

Катя вдруг воскликнула:

— Господа, посмотрите, что наверху дела-

ется!

Тучи — низкие, причудливо-лохматые — горели по всему небу яркими красками. Над головою тянулось большое, расплывающееся по краям, облако ярко-красного цвета, далеко на востоке нежно розовели круглые облачка, а их перерезывала черно-лиловая гряда туч. Облако над головою все краснело, как будто наливалось кроваво-красным светом. Небо, покрытое странными, клубящимися тучами, выглядело необычно и грозно.

— Смотрите, господа, смотрите, какое у Митрыча красное лицо, — засмеялась КатяГ

— Да у вас еще краснее, — возразил Шеметов.

— У всех, у всех! Господа, посмотрите друг на друга! И дорога! и всё!

Лица были алы, дорога и рожь казались облитыми, кровью, а зелень пырея на межах выглядела еще зеленее и ярче. На юге темнело, по ржи изредка проносилась быстрая нервная рябь. Потянуло прохладой, груди бодро дышали.

— Вперед, господа, вперед! — торопила Таня. — Эх, славно!

Они шли как раз навстречу надвигавшимся с юга тучам. Там поблескивала молния, и слышалось глухое ворчание грома. Облако над головою сузилось, вытянулось и стало лиловым. Все облака наверху стали темнеть.

Варвара Васильевна сказала:

— А там-то какая идиллия, посмотрите! На севере, на бирюзово-синем небе, белели легкие облачка, все там было так тихо, мирно и спокойно...

— Туда посмотреть и потом сразу обернуться сюда — совсем два различных мира.

Далеко на дороге взвилось большое облако пыли и окутало серевшие над рожью крыши деревни. Видно было, как на горе вдруг забилась старая лозина. Ветер рванул, по ржи побежали большие, раскатистые волны. И опять все стихло. Только слышалось мирное чириканье птичек. Вдали протяжно свистнула иволга.

— Господа, не присядем ли мы здесь на минутку? — сказала Ольга Петровна.

У перекрестка дороги шел углом невысокий вал, отгораживавший мужицкие конопляники. По ту сторону дороги высился запу-

ценный сад, сквозь плетень виднелись заросшие дорожки и куртины.

Таня враждебно оглядела Темпераментову.

— Ну, вот еще!.. Дальше, господа, дальше пойдём!

Токарев решительно сказал:

— Нет, я тоже устал, присядем.

— Ну, что ж, присядем, — согласилась Варвара Васильевна.

Ольга Петровна, Катя и Вегнер устало опустились на вал.

— Погодите, давайте тогда большинством голосов решим, — предложила Таня.

Токарев возмутился.

— Я решительно не понимаю, как такие вещи можно решать большинством голосов! Я удивляюсь, у тебя нет самого элементарного чувства товарищества. Многие устали, не могут идти, а ты хочешь большинством голосов заставить их тащиться за собою.

— Да о чем тут говорить? Отдохнем немного, того... покурим, и пойдём дальше, — примирительно произнес Митрыч и сел.

И все сели. Таня презрительно повела головою.

— Эх вы, ползучие люди!

Она продолжала стоять и жадно глядела в надвигавшиеся тучи.

Черно-синие, тяжелые, они медленно нарастали, поблескивая молниями. Гром доносился уже совсем явственно; за полверсты, на склоне горы, вдруг бешено забились и зашумела роща, и этот шум было странно слышать рядом с неподвижным, молчащим садом. Вскоре заревел и он; деревья заметались, сверкая изнанкою листьев.

Сергей продекламировал:

Ночь будет страшная, и буря будет злая.

Сольются в мрак и гул и небо и земля...[28]

Токарев удивился.

— Сергей Васильевич, вы знаете Фета?

Удивился и Сергей.

— А почему бы мне его не знать? Очень даже его люблю!

— Сережа, почти все стихотворение! — коротко сказала Варвара Васильевна, подперев подбородок и глядя вдаль.

Таня стояла и жадно дышала бодрым, про-

хладным ветром.

— Господи, я положительно этого не могу понять!.. Тут настоящая, живая гроза идет, а они сидят и стихи читают про грозу!.. А ну вас! Шеметов, пойдете вперед! Мы воротимся.

— Идем! — Шеметов вскочил.

— А, черт! Я тоже с вами! Чего тут киснуть? — Сергей тоже вскочил.

Они втроем пошли по дороге навстречу ветру. На юге сверкали яркие зигзаги молний, гром доносился громко, но довольно долго спустя после молний. Далеко на дороге, на свинцовом фоне неба бился под ветром легкий светло-желтый шарф на голове Тани и ярко пестрели красная и синяя рубашки Сергея и Шеметова.

Митрыч лежал на животе и жевал сухую былинку.

— А гроза-то замешкается! — лениво сказал он.

Тучи, действительно, как будто остановились, ветер упал. Наверху вяло двигались клочковые облака — серые, бессильные. Наступила тишина — природа словно подозри-

тельно прислушивалась. Потом вдруг все оживилось. Птицы беззаботно зачирикали.

Варвара Васильевна глядела на неподвижные тучи.

— Господи, да ведь они вправду остановились!

— А те-то, несчастные! — засмеялась Катя. — Смотрите: стоят и ждут!

Митрыч зычно крикнул: — Эй-эй, ребята! Спектакль отложен, ворочайтесь!

Прошло пять минут, десять. Воздух и небо были неподвижны. Таня, Сергей и Шеметов повернули назад.

— А что, хорошая гроза? — спросила Катя.

Шеметов повалился на траву.

— О позор, позор! Где мои колоши? Пойду, утоплюсь!

— Ну, свалился! — возмутилась Таня. — Вставайте же, господа, пойдёмте, наконец! Неужели еще не отдохнули?

Встали и пошли дальше. Темнело. Тучи на юге висели неподвижно, помигивая молниями. Дорога, обогнув овсы, шла в густой Давыдовский лес.

Варвара Васильевна заговорила:

— Эх, славная вещь гроза! Люблю ее! Странное она производит впечатление; она так поднимает, в ней есть что-то такое уверенное, несомненное и творческое... Кажется, — здесь, под грозой, не может быть никаких раздумий и колебаний; все, что будешь делать, будет хорошо нужно и будет как раз то, что и следовало делать. А как это хорошо, — действовать, не раздумывая, когда тебя подхватит и понесет вперед большая, могучая сила!..

— Оно так теперь и есть, — сказала Таня. Варвара Васильевна помолчала.

— Где же оно есть? Так, на минуту, нам показалось было, что что-то есть. Но это оказалось миражом. Опять все замутилось, опять темно; всё по-обычному мелко, вяло и слабо. И нет, нет того революционного прилива, который бы подхватил людей целиком, нет бодрящего воздуха, в котором бы и слабые крепки, и падали бы сомнения, и рос бы дух. Дорога была найдена, но она оказалась книжною. Таня воскликнула:

— Господи, «книжною»?.. Варя, вы, значит, совсем слепы, вы ничего не видите кругом!

— Я все, мне кажется, вижу. Робкие, слабые намеки на что-то... Помнится, Достоевский говорит о вечном русском «скитальце»-интеллигенте и его драме. Недавно казалось, что вопрос, наконец, решен, скиталец перестает быть скитальцем, с низов навстречу ему поднимается огромная стихия. Но разве это так? Конечно, сравнительно с прежним есть разница, но разница очень небольшая: мы по-прежнему остаемся царями в области идеалов и бесприютными скитальцами в жизни.

Сергей раздраженно пожал плечами.

— Что ты такое городишь? Я решительно ничего не понимаю! — Лицо его, с тех пор как они с Таней и Шеметовым воротились к перекрестку, было злое и серое.

— Я говорю, что у нас все хорошо и стройно только в теории. Вот мы идем вместе и разговариваем — люди всё благомыслящие и единомыслящие. Наши идеалы велики и светлы, мы горды собою и своим мирозерцанием. Но столкнешься с жизнью, — и все это тускнеет, и все становится таким маленьким и жалким по своей беспочвенности... И жизнь говорит: ты горда собою, и горда по

праву, и как ты можешь поступаться всею полнотою и правдою твоих идеалов? Но вместе с этим, — а может быть, как раз вследствие этого, — ты слепа и неумела, и жизнь тебя отметаёт... Иногда мне почти кажется, что я слышу прежнее страшное: не суйся!..

Таня хотела возразить, но Варвара Васильевна продолжала:

— И вот возникают вопросы: идти на два или на десять шагов впереди стихийного движения? В какой степени созрело революционное сознание рабочего класса? Сами эти вопросы подлы, подлы по самой сути, они оскорбительны для меня и ставят меня в фальшивое положение: я не могу отречься от самой себя. Но то — могучее, стихийное, — оно меня не признаёт, а во мне нет силы, я — ничто, если не захочу признать этого стихийного и его стихийности.

— Черт знает, что такое! — возмутилась Таня. — Вот так вопросы! На два, на десять шагов вперед! Что мне за дело до этого? Я хочу идти полным шагом, и плевать мне на все и на всех. Кто отстанет, — догоняй, а этак, как начнут все один к другому приноравливать-

ся, то все и будут топтаться на месте!

Сергей в восторге воскликнул:

— Браво, Татьяна Николаевна! Вот! Вот это самое и есть! Всё стихийность, стихийность... Еще новый бог какой-то, перед которым извольте преклоняться! На себя нужно рассчитывать, а не на стихийность! Стану я себя отрицать, как же! Черта с два!.. Смелее нужно быть, нужно идти на свой собственный риск и полагаться на собственные силы, — только! Будь она проклята, эта стихийность!

— Верно, верно! — согласился и Борисоглебский. — Что она мне за указ, стихийность эта? Злость у меня тут есть здоровенная, — он ударил себя кулаком в грудь, — ну и ладно. Больше мне ничего не нужно!

Шеметов ворчливо возразил:

— Ну, и тешьтесь в таком случае бирюльками, гарцуйте со своею злостью в безвоздушном пространстве! А я не понимаю и не признаю, что подлого в тех вопросах, о которых говорит Варвара Васильевна. Да, весь вопрос именно в том, — на два или на десять шагов вперед? Для меня стихийность только и дорога; самый важный, самый главный вопрос, —

как к ней примк-нуть. А вы — кучка гарцующих, — и будете себе гарцевать, пока совершенно независимо от вас к вам подойдут низы... Вы сколько уж времени, — тридцать, сорок лет гарцуете с вашей полнотою революционных идеалов?..

Они шли теперь по лесной поляне, среди леса. Вокруг поляны теснились темные, кудрявые дубы, от них поляна имела спокойный и серьезный вид. Тучи на юге все росли и темнели, но ветру не было, и стояла глухая тишина.

Токарев молча шел и задумчиво слушал. На душе было тяжело: все спорили горячо и страстно, вопросы спора, видимо, имели для них жизненный, кровный интерес. Он старался и себя настроить на такой лад, но мысль оставалась холодной, и он чувствовал себя чуждым и посторонним.

Подошел Сергей и сказал:

— Люблю я эти споры! Мысль жива — работает и ищет... А как несколько-то лет назад: все вопросы решены, все распределено по ящичкам, на ящички наклеены марксистские ярлыки. Сиди да любуйся. Ведь это — гибель

для учения, смерть!.. Только и оставалось что спорить с народниками; друг с другом не о чем было и говорить...

— А что, господа, кобылка тут не пробежала?

— Фу, черт!.. — Сергей нервно отскочил в сторону.

В сумерках стоял сторбленный мужик с растерянным лицом, в накинутом на плечи зипуне.

— Вот испугал-то! — Сергей улыбнулся, стыдясь за свой испуг. — Какая кобылка?

— Пегая кобылка, сбегла с ночного, — что с нею подеялось!.. Не иначе, как по этой дороге побегла... Горе какое!

— Нет, тут не видно было, — сказала Варвара Васильевна.

— Э-эх! — старик почесал в волосах. — Главное дело, конь-то молодой, дороги домой не знает, только на Казанскую куплен...

Шеметов сердито говорил:

— Возмутительнее всего эти инсинуации, на которых вы выезжаете! Спор тут вовсе не о принципе, а только о факте. Как обстоит дело? По-вашему? Наш рабочий класс действи-

тельно уже горит ярким, сознательным революционным огнем? Действительно, он со-знал, кто его классовые и политические вра-ги? Ну, и слава богу, это — самое лучшее, чего и мы хотим. Но только суть-то в том, что вы ошибаетесь.

Они пошли дальше, Варвара Васильевна осталась стоять с мужиком. Таня возражала:

— Тут весь вопрос именно в принципе. Во-прос в этом оппортунизме, «практичности», довольстве малым...

— Кто проповедует ваше довольство? — грубо спросил Шеметов и вдруг остановился. Он поднял брови и, словно что вспомнив, оглянулся назад. — Что это он про кобылу-то говорил?.. Черт знает, что такое! Идут девять здоровенных молодцов, судьбы революции решают... Пойдемте, поможем ему!

— Пойдемте, господа! — убеждающе сказа-ла Варвара Васильевна.

Сергей встряхнулся.

— Идем!.. Эй, дядя! Какая, говоришь, ко-былка твоя? Пегая?

— Пегая, батюшка, пегая... Я чего боюсь-то? Ночь подходит, непогода, а в лесу у нас тут

волки — задержат лошадь.

— Говоришь, в эту сторону побежала?

— В эту, в эту!

— Ну, ладно. Ты сам откуда, — дернопольский? Так ступай, мы тебе приведем кобылку твою.

— Самоуверенно! — засмеялась Варвара Васильевна.

Мужик обрадовался.

— Подсобить хотите? Ну, дай вам бог...
Пойдемте! Уж больно трудно одному-то!

— Пойдем, ребята, большим кругом в эту сторону, — сказал Сергей. — Чур, перекликаться! Сходиться у мостика в лощинке, перед сторожкой.

Все разбрелись по лесу. Лес зазвенел смехом и криками. На западе было еще светло, но кругом становилось все темнее. Среди полной тишины тучи на юге росли медленно и уверенно. Токарев продирался сквозь чащу орешника, оступаясь о пеньки и бурелом. Слева раздались крики и смех Шеметова и Митрича.

— Нашли-и-и!.. — донесся справа голос Сергея.

— Нашли? — крикнул слева Шеметов.

— Нашли вы?

— Мы-то не нашли, а ты нашел?

— Нет, не нашел.

— Чего же ты кричишь, «нашли»?

— Я вас спрашивал!

— Дурак!..

Лес вдали глухо зашумел. По вершинам деревьев бурным порывом пронесся ветер. Токарев шел вперед и старался не сбиться с направления. Сначала он усердно глядел по сторонам, потом перестал и шел лениво, постукивая тросточкою по стволам. Крики и ауканья становились все отдаленнее.

Токарев подумал: еще заблудишься тут!.. Лес выл и шумел под налетающим вихрем. Желтые листья и сучки падали на землю. Вдали глухо рокотал гром.

Чаща стала светлеть. Токарев вышел на край какой-то лощинки. Внизу вился болотистый ручей, заросший осокою. Квакали лягушки. По кособору шла дорога и виднелся мостик. Этот, что ли?..

По дороге усталою походкою спускались Варвара Васильевна и Ольга Петровна. Тока-

рев направился к ним.

— Не нашли?

— Нет. Нужно будет дальше идти. Только подождем, чтоб все собрались... Ау-уу!!.

Вдали откликнулись. Ветер буйно выл по лесу, глухой шум деревьев то рос, то ослабевал, и по глухому шуму струями проносилось резкое шипенье ближних деревьев. Подошли еще Вегнер и Катя, потом Борисоглебский.

Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом посыпалось на землю. Из кустов неслышно вышел Шеметов. Он кивнул на небо и сказал:

— «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу!»[29]

— Не нашли лошадь?

— Черт ее найдет! — проворчал Шеметов и сел на мостик.

Молнии ярко-белыми стрелами сыпались на лес, гром яростно катился по небу из конца в конец, лес ревел и бился. На юге было жутко темно. Ольга Петровна стояла с бледною улыбкою и старалась побороть страх.

На косогоре, среди дубовых кустов, появился Сергей. Молния ярко осветила его кумачо-

вую рубашку. В бешеном восторге он кричал:

— Го-го-го-го!.. Слышите, ребята! Вон как гремит!.. Варька, слышишь?!

Ветер рвал на нем рубашку, лицо было безумное и восторженное.

— Позор всем слабым и малодушным! Позор тем, кто перед лицом грозы отрицает идущую грозу!.. Идет она, идет! Видите вы ее теперь — вы, робкие, сомневающиеся?.. Пришла жизнь, пришла борьба и простор! Слава буре!..

— Го-го-го-го! — раздался из чащи голос Тани.

— Татьяна Николаевна, сюда! Наша взяла! Пришла гроза!.. Слава борцам, слава всем друзьям грозы!

Таня, в развевающейся юбке, быстро спустилась к мостику. Она упоенно дышала ветром, глаза блестели. Поспешно она спросила:

— Ну что, не нашли?

— Нет.

— Так чего ж вы сидите? Пойдемте дальше!.. Правда, как хорошо? — с счастливою улыбкою обратилась она к Токареву.

Токарев молча кивнул головою, хотя нахо-

дил, что кругом становится довольно-таки неуютно.

— Ну, идем, господа! Вставайте! — торопила Таня.

Шеметов проворчал:

— Экая неугомонная! Куда вставать-то? Очевидно, лошадь украли и увели. Станет вас конокрад ждать!

— Ну, все-таки поищем еще! — сказала Варвара Васильевна. — Очень уж мужика жалко.

— Наверное, кобылка сама уж домой пришла, — заметил Борисоглебский.

— А что найти-то, конечно, уж не найдем теперь, — согласился Сергей.

— «Позор всем сомневающимся и малодушным!» — иронически повторила его слова Варвара Васильевна.

— Э, черт! Верно, пойдем дальше!.. Что за позор! Бабы нас ведут вперед.

По дороге забили первые крупные капли дождя. Варвара Васильевна украдкой внимательно посмотрела на Токарева и сказала:

— Только вот что: зачем всем идти? Многие устали. Тут сейчас за бугром сторожка,

можно зайти отдохнуть; тем более — дождь начинается.

— Господа, да зайдемте все! — заговорил Токарев. — Ну что за охота мокнуть под дождем! Пройдет дождь, тогда и пойдем опять искать.

Таня ядовито возразила:

— А тогда ты скажешь, что мокро, ноги промочишь.

Токарев нахмурился и замолчал.

— Пойдемте, я вас проведу в сторожку, — предложила Варвара Васильевна.

— Ну, господа, а мы пойдем дальше, — сказала Таня.

— Го-го-го! На вынос возьмем гору! — крикнул Сергей. Он, Шеметов и Митрыч вместе с Танею быстро взбежали на косогор.

Вегнер с завистью глядел вслед убежавшим.

— Нет, я отдохну, устал.

Варвара Васильевна провела Токарева, Катю, Вегнера и Ольгу Петровну к лесной сторожке. К ним навстречу вышел лесник — худощавый, с красным носом, в пиджаке. Варвара Васильевна сказала:

— Ну, прощайте пока!

— Варвара Васильевна, да передохните же и вы! — возмутился Токарев. — Вы бледны как полотно, — видимо, вы страшно устали!

— Э, пустяки! Это так кажется!

Она исчезла в темноте. Токарев обратился к леснику:

— А что, любезный, хорошо бы самоварчик поставить; найдется у вас?

— Найдется, помилуйте!.. Сейчас поставим. А мы за то винца потом выпьем за ваше здоровье.

Резко блеснула молния. Как пушечный залп, прокатился гром. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной крыше, журчащими ручьями сбегал на землю. Из черного леса широко потянуло свежую, сырую прохладой.

В сторожку постучались. Вошел мужик, у которого убежала лошадь. Вода струилась по его шапке, лицу и зипуну. Катя спросила:

— Не нашли?

— Нет, барышня! Уж и в деревню сбегал, не воротилась ли... Нету!

Он устало опустил на лавку. Подали самовар, стали пить чай. Тараканы бегали по

стенам, в щели трещал сверчок, на печи ровно дышали спящие ребята. Гром гремел теперь глуше, молнии вспыхивали синим светом, дождь продолжал лить.

Пришли Сергей и Шеметов. С обеих вода лила ручьями, на сапогах налипли кучи грязи, оба были злы. Сергей сказал:

— Нет, Татьяна Николаевна — это, положительно, ненормальный человек. Уж Варя и та создалась, что невозможно найти; а она: «А я все-таки найду!»

Шеметов сердито засмеялся.

— Нет, ведь правда, нелепо! В двух шагах ничего не видно — по этакому лесищу ищи лошадь ощупью!.. И Митрыча несчастного запрягла, кряхтит, а прет за нею следом.

Пришла и Варвара Васильевна. Было уже двенадцать часов. Молча пили чай, разговор не вязался. Все были вялы и думали о том, что по грязи, мокроте и холоду придется тащиться домой верст восемь. Варвара Васильевна, бледная, бодрилась и старалась скрыть прохватывавшую ее дрожь. Сергей и Шеметов сидели в облипших рубашках, взлохмаченные и хмурые, как мокрые петухи.

За темными окнами могуче загудел бас Митрыча:

— Эй, ребята! Вы здесь?.. Выходите встречать, нашли!

Все бросились к выходу. В темноте белела лошадь. Митрыч держал ее за оброть. Таня, бодрая, оживленная, вбежала в сени.

— А что? Нашла? — торжествующе обратилась она к Сергею и Шеметову. — Я говорила, что найду!

Сергей развел руками и низко склонил голову.

— Преклоняюсь!

Таня сияла детской, смешною гордостью.

— Ну, и молодец же вы, Таня! — радостно воскликнула Варвара Васильевна.

Мужик кланялся.

— Уж вот, барышня, спасибо вам! Век за вас буду бога молить! Пошли вам господь доброго здоровья!

— И ведь как все вышло! — рассказывала Таня. — Идем, — что-то в стороне белеет. Митрыч говорит: река!.. Все-таки свернули. А это она! Стоит на полянке и щиплет траву.

Мужик взял из рук Митрыча оброть и ра-

достно повторял:

— Нашли, нашли!

Таня и Митрыч выпили остывшего чая. Токарев расплатился с лесником. Двинулись в обратный путь.

Усталые и продрогшие, все вяло тащились по расклизшей, грязной дороге. На севере громоздились уходившие тучи и глухо грохотал гром. Над лесом, среди прозрачно-белых тучек, плыл убывавший месяц. Было сыро и холодно, восток светлел.

Лес остался назади. Митрыч и Шеметов стали напевать «Отречемся от старого мира!»...[30] Пошли ровным шагом, в ногу. Так идти оказалось легче. От ходьбы постепенно размялись, опять раздались шутки, смех.

Когда пришли в Изворовку, солнце уже встало. Сергей и Катя обыскали буфет, нашли холодные яйца всмятку и полкувшина молока. Все жадно принялись есть. В свете солнечного утра лица выглядели серыми и помятыми, глаза странно блестели.

Варвара Васильевна, уходившая к себе в комнату, воротилась радостная и оживлен-

ная, с распечатанным письмом в руке.

— Владимир Николаевич, вы помните по Петербургу Тимофея Балужева?

— Как же! — ответил Токарев.

— Он пишет, что из ссылки едет в Екатеринослав и по дороге от поезда до поезда заедет ко мне в Томилинск. Шестого августа, на Преображение. Хотите его видеть?

— Конечно!

Таня спросила:

— Кто это?

— Рабочий, слесарь. Замечательно хороший человек, — сказала Варвара Васильевна.

У Тани загорелись глаза.

— Я тоже хочу его увидеть.

— Да всем, всем нужно его повидать, — решил Сергей. — Хоть у Вари все люди — замечательно хорошие люди, а все-таки интересно.

— Ну, а теперь спать! — объявила Варвара Васильевна. — Еле на ногах стою.

VI

Назавтра Шеметов, Борисоглебский, Вегнер и Ольга Петровна уехали в Томилинск. Таня осталась погостить еще.

Жизнь теперь потекла более спокойная. Токарев по-прежнему наслаждался погодой и деревенским привольем. Отношения его с Варварой Васильевной были как будто очень дружественные. Но, когда они разговаривали наедине, им было неловко смотреть друг другу в глаза. То, давнишнее, петербургское, что разделило их, стеною стояло между ними, они не могли перешагнуть через эту стену и сделать отношения простыми. А между тем Варвара Васильевна становилась Токареву опять все милее.

Дни шли. Варвара Васильевна с утра до вечера пропадала в окрестных деревнях, лечила мужиков, принимала их на дому с черного хода. Сергей ушел в книги. Таня тоже много читала, но начинала скучать.

Токареву она нравилась все меньше. Его поражало, до чего она узка и одностороння. С нею можно было говорить только о революции, все остальное ей было скучно, чуждо и представлялось пустяками. Поведение Тани, ее манера держаться также возмущали Токарева. Она совершенно не считалась с окружающими; Конкордия Сергеевна, например, с

трудом могла скрывать свою антипатию к ней, а Таня на это не обращала никакого внимания. Вообще, как заметил Токарев, Таня возбуждала к себе в людях либо резко-враждебное, либо уж горячосочувственное, почти восторженное отношение; и он сравнивал ее с Варварой Васильевной, которая всем, даже самым чуждым ей по складу людям, умела внушать к себе мягкую любовь и уважение.

Пятого августа Варвара Васильевна, Токарев, Таня, Сергей и Катя отправились в Томилино, чтоб повидать проезжего гостя Варвары Васильевны.

Они сели и в поезд. Дали третий звонок. Поезд свистнул и стал двигаться. Начальник станции, с толстым, бородатым лицом, что-то сердито кричал сторожу и указывал пальцем на конец платформы. Там сидели и лежали среди узлов человек десять мужиков, в лаптях и пыльных зипунах. Сторож, с злым лицом, подбежал к ним, что-то крикнул и вдруг, размахнув ногою, сильно ударил сапогом лежавшего на узле старика. Мужики испуганно вскочили и стали поспешно собирать узлы.

— Господи, да что же это такое?! — вос-

кликнула Таня.

Поезд уходил. Таня и Токарев высунулись из окна. Мужики сбегали с платформы. Сто-рож, размахнувшись, ударил одного из них кулаком по шее. Мужик втянул голову в плечи и побежал быстрее. Изогнувшийся дугою поезд закрыл станцию.

Подошла Варвара Васильевна, бледная, с трясущимися губами.

— За что это? Что там случилось?

Токарев, тоже бледный и возмущенный, ответил:

— Не знаю.

Сидевший рядом мастеровой объяснил:

— Что случилось!.. Значит, улеглись мужички на неуказанное место. Ну, их покорнейше и попросили посторониться.

Варвара Васильевна, прикусив губу, ушла на свое место. Таня стояла, злобно нахмурившись, и молча смотрела в окно. Токарев вздохнул:

— Да, легко все это у нас делается!

— И поделом им, сами виноваты! Господи, их бьют, а они только подставляют шеи и бегут... О, эти мужики!

В глазах Тани была такая ненависть, такое беспощадное презрение к этим избитым людям, что она стала противна Токареву. Он отвернулся; в душе шевельнулась глухая вражда, почти страх к чему-то дико-стихийному и чуждому, что насквозь проникало все существо Тани.

— Ну, черт с ними, стоит еще об них говорить! — Таня передернула плечами и снова стала смотреть в окно.

Заря догорала. Поезд гремел и колыхался. В душном, накуренном вагоне было темно, стоял громкий говор, смех и песни.

Таня сказала:

— Да, Володя, вот что! Как хочешь, а нужно будет в Томилинке предпринять еще что-нибудь, чтоб Варя уехала отсюда.

Токарев махнул рукою.

— Ну, пошло!.. Я не понимаю, чего ты берешь на себя какую-то опеку над Варварой Васильевной.

— Да неужели же ты не видишь, что с нею делается? Ведь положительно живьем разрушается человек: какое-то колебание, сомнение во всем, полное неверие в себя... Очевид-

но, ее деятельность ее не удовлетворяет.

Токарев пожал плечами.

— Откуда это очевидно? Я не говорю про Варвару Васильевну, я ее слишком мало знаю, — но, вообще говоря, человек может не верить в себя совсем по другим причинам. Он может признавать данную деятельность самой высокою и нужною, и все-таки не верить в себя... Ну, хотя бы просто потому, что чувствует себя не в силах отдаться этой деятельности, — произнес он с усилием.

Таня удивилась.

— Как это так? Деятельность самая высокая и нужная, — и не можешь ей отдаться! Очевидно, значит, есть другая деятельность, более высокая и более нужная.

— Таня, меня прямо поражает, до чего ты узко смотришь! Возьмем какую угодно деятельность. Пусть она будет самая высокая, самая нужная, — все, что хочешь. Да только нет у меня сил отдаться ей.

— Очевидно, значит, ты не совсем веришь в нее.

— Ну, слушай, Таня! Поставим вопрос грубо, карикатурно. Скажем, я страстно люблю

шампанское, устрицы. Умом я вполне понимаю, что есть дела несравненно выше уничтожения устриц и шампанского, да меня-то больше тянет к устрицам и шампанскому.

— Тогда нечего и ломать себя: пей шампанское и ешь устрицы.

Подошел Сергей и молча сел около них на ручку скамейки. Токарев спросил:

— Так что, если бы тебя больше всего тянуло к такой «деятельности», то ты со спокойною душою и отдалась бы ей?

— По-моему, это ужасно скучно; но, если бы тянуло, — конечно, отдалась бы.

— Господи, до чего все это эгоистично! — возмутился Токарев. — Ну, где же, где же у тебя хоть какой-нибудь нравственный регулятор, хоть какой-нибудь критерий? Сегодня скучно жить для себя, завтра станет скучно жить для других. Неужели ты не понимаешь, сколько в этом эгоизма? Что хочется, то и делай!.. Тебе даже совершенно непонятно, что могут быть люди, которые считают своим долгом делать не то, что хочется, а что признают полезным, нужным для жизни.

Вмешался Сергей:

— Но вопрос в том, — насколько им это удастся? Я не понимаю, почему вы так возмущаетесь эгоизмом. Дай нам бог только одного — побольше именно эгоизма, — здорового, сильного, жадного до жизни. Это гораздо важнее, чем всякого рода «долг», который человек взваливает себе на плечи; взвалит — и идет, кряхтя и шатаясь. Пускай бы люди начали действовать *из себя*, свободно и без надсады, не ломая и не насилуя своих склонностей. Тогда настала бы настоящая жизнь.

— Воображаю, какая бы настала жизнь! — сдержанно усмехнулся Токарев.

— Хорошая бы жизнь настала! И погиб бы безвозвратно ее главный враг — скука. Потому что вот с чем эгоизм никогда не захочет примириться — со скукою!

Токарев с улыбкою поднял брови.

— Скука... Вы серьезно думаете, что главный враг жизни — это, действительно, скука?

— Безусловно! Скука стоит всяких лишений, унижений, длинных рабочих дней и тому подобного... Скучно! Ведь от этого «скучно» люди сходят с ума и кончают с собою, это «скучно» накладывает свою иссушающую пе-

чать на целые исторические эпохи. Вырваться из жизненной скуки — вот самая главная задача современности. И суть не в том, чтоб человек вырвался из этой скуки, а чтоб люди вырвались из нее. А для этого что нужно? Нужно, чтоб вокруг ключом была живая общественность, чтоб жизнь целиком захватывала душу, чтоб эта жизнь была велика и сильна, полна борьбы и света... Вот что нужно, чтобы ощущал человек, а не необходимость какого-то «долга»... Долг! В соседстве с долгом сам воздух начинает скисаться и пахнуть плесенью.

Таня слушала с разгоревшимися глазами.

— Все это очень легко говорить... — начал Токарев, но в это время в вагоне поднялся шум и крик.

Толстый господин, в грязном парусиновом пиджаке и сером картузике с блестящим козырьком, орал:

— Сволочь ты, негодяй!! Я отставной поручик Пыльского гренадерского полка, а ты мне смеешь «ты» говорить?.. Подлец!

Мастеровой в чуйке, с бледным, зеленоватым лицом, мирно было заговоривший с сер-

дитым господином, в первую минуту опешил.

— Я тебя, мерзавца, сейчас велю высадить из поезда!.. Подлец, пьяница!..

Мастеровой медленно и громко протянул:

— Я думал, это пушки, ан это — лягушки!

Кругом засмеялись.

— Молчать!!! — гаркнул толстый господин. — Дурак!

— Не бывал, брат, ты умным человеком, коли я дурак. Ишь ты какой! Ясный козырек нацепил себе и думает, — хозяин! Мне на твой ясный козырек наплевать!

— Ах-х ты, мер-рзавец! — возмутился про себя господин и высунулся из окна, как бы высматривая, скоро ли остановится поезд, чтоб позвать жандарма.

— Плюю я на твой ясный козырек, вот так: тьфу! — Мастеровой плюнул на пол. — Плюю и попираю ногами.

Рядом сидел подгородный мужик. Он с усмешкою сказал:

— Буде вам! Чем все ругаться, лучше прямо подраться!

— Верно! Мне ндравится ваше слово! Я вас уважаю!.. А сказать что-нибудь против меня

ясному козырьку энтому — не позволю! Не желаю молчать!.. Извините меня, пожалуйста! Прощу извинения!

Мужик зевнул.

— Тут колокольцов нету, звенеть не на чем.

Толстый господин подергивал головою и продолжал выглядывать в окно.

— Не желаю молчать! — волновался мастеровой. — Он меня растревожил, а я его не беспокоил!.. Слышь ты, козырек! Я сознаюсь, что ты — дурак! Понял ты это слово?

Поезд остановился у полустанка. Толстый господин поспешно вышел, через минуту воротился с жандармом. Указал на мастерового и коротко сказал:

— Вот! Убери его!

Жандарм подошел к мастеровому и решительно взял его за рукав.

— Вставай!

Мастеровой оторопело глядел:

— Что такое? В чем дело?

— Но, но, вставай! Ничего!

— Да что вы? За что вы меня?

Таня вскипела.

— Послушайте, жандарм, за что вы его высаживаете? Он ничего не делал!

— Мы все можем быть свидетелями, — прибавил Токарев. — Этот господин сам же первый начал. На весь вагон стал кричать и ругать его.

Грозно и выразительно толстый господин сказал жандарму:

— Я тебе заявляю, что он мне нанес оскорбление!

Токарев спокойно возразил:

— Все в вагоне слышали, что вы первый стали наносить ему оскорбления.

Токарев был одет чисто и прилично, гораздо приличнее толстого господина. Жандарм в нерешительности остановился.

— Жандарм! Я тебе повторяю: возьми его!.. Он пьян!

— Нет, я не пьян! Вы меня оскорбили, а я вас не тревожил!

Жандарм шепнул Токареву:

— Вы не извольте беспокоиться. Я его только в другой вагон переведу.

В приятном и спокойном ощущении силы, которую давал ему его приличный костюм,

Токарев громко возразил:

— Да с какой стати? Мы вам все заявляем, что этот господин сам начал первый скандалить. Почему вы его не переводите?

— А то, может, ваше благородие, вы сами перейдете? — почтительно-увещающим голосом обратился жандарм к толстому господину.

Господин грозно крикнул:

— Я тебе в последний раз повторяю: убери его!

Жандарм растерянно пожал плечами:

— Да ведь вот... Все свидетельствуют, что вы же сами начали.

— Ах та-ак!.. — зловеще протянул господин. — Ну, хорошо, ступай!.. Хорошо, хорошо! Можешь идти! Мы это еще увидим! Ступай, нечего!

Жандарм с извиняющимся лицом мялся на месте. Вагоны двинулись. Он соскочил на платформу.

— Тут еще скоро, пожалуй, избьют тебя! — возмущенно сказал толстый господин, взял свой чемодан и пошел в другой вагон.

Торжествующий мастеровой стоял, поша-

тываясь, и смотрел ему вслед.

— Фью-у! — слабо свистнул он и махнул рукою вдогонку. — Нет, ей-богу, чудачок! — обратился он к Тане и лихо покрутил головою. — Молчи, говорит, дурак!.. А? Почему такое? Не желаю молчать!.. Благородного человека я уважаю всегда! А коли со мною поступают сурьезно, — не могу терпеть! Такой уж карахтер у меня... строгий! Намедни мастер говорит нам: вот что, ребята! После Спаса за каждый прибор на две копейки меньше будем платить... Как так? Нет, я говорю, я не желаю!.. Мне не копейка нужна. Что копейка? Я на нее плюю! — Он достал затасканный кошелек, вынул пятиалтынный и бросил его на землю. — Вот! Не нужно мне, пускай тут лежит! А зачем он неправильно поступает? Не желаю, говорю, уйду от вас, больше ничего!

— А вы где работаете?

— Мы-то? А вон за бугром здание пыхтит... Мы — токари по металлу... Медь, свинец, железо — это у нас называется металл... По-нашему, по-мастеровому!

Поезд гремел и колыхался. В вагонах зазгли фонари. Таня сидела в уголке с мастерово-

вым и оживленно беседовала. Мастеровой конфиденциально говорил:

— Я, милая моя барышня, желаю жить, чтоб было по-справедливому, чтоб обиды мне не было! Я этого не желаю терпеть — никогда! А за деньгами я не гонюсь... Я вот выпил, — и больше ничего!

Паровоз оглушительно и протяжно засвистел. В темноте замелькали огни томилинских пригородов. Все поднялись и стали собираться.

Поезд остановился. Затиснутые в сплошной толпе Токарев, Сергей, Варвара Васильевна и Катя вышли на подъезд.

— А где же Таня? — спохватилась Варвара Васильевна.

Сергей посмеивался:

— Она с мастеровым пошла.

— Да не может быть! — воскликнул Токарев.

— Верно! Я видел: он себе взвалил узелок на плечи, она рядом с ним. Прямо с платформы сошли, мимо вокзала.

У Токарева опустились руки.

— Черт знает что такое!

Он в колебании остановился посреди улицы. В стороны тянулись боковые улицы, заселенные мастеровщиною — черные, зловещие, без единого огонька.

— Нужно ее отыскать! Это положительно ненормальный человек: девушка, ночью, одна идет с пьяным, незнакомым человеком, сама не знает куда!

Сергей засмеялся:

— Ищи ветра в поле! Ей-богу, молодчина Татьяна Николаевна!

Они пришли к Варваре Васильевне. Подали самовар, сели пить чай. Сергей говорил:

— Нет, ей-богу, люблю Татьяну Николаевну! Это пролетарий до мозга костей! Никакие условности для нее не писаны, ничем она не связана, ничего ей не нужно...

Токарев угрюмо возразил:

— По-моему, это не пролетарий, а психически больной человек, и ей необходимо лечиться.

Таня пришла к двенадцати часам ночи — оживленная, радостная, с блестящими глазами. Токарев был так возмущен, что даже не стал ей ничего говорить, и сидел, молча, насу-

пившийся и грустный. Таня не обращала на него внимания.

VII

Назавтра, к трем часам, Токарев и студенты пришли к Варваре Васильевне. Тимофей Балугев уже сидел у нее. Тани не было: она в одиннадцать часов ушла к своему вчерашнему знакомцу и еще не возвращалась.

Балугев, в черной блузе, с застегнутыми у кистей рукавами, сидел за столом, держал на расставленных пальцах блюдечко и пил чай вприкуску. Токарев радостно подошел.

— Ну, Тимофей Степаныч, здравствуйте! — Они обнялись и крепко, поцеловались три раза накрест.

— Не думал я, что и вас тут увижу! — сказал Балугев и в замешательстве провел большою рукою по густым волосам.

Сергей, Шеметов, Борисоглебский и Вегнер назвали себя и почтительно пожали его руку. Токарев глядел на загорелое, обросшее лицо Балугева.

— Как вы изменились! Встретил бы вас на улице — не узнал бы.

— Да... Да и я бы вас не признал:

— Что же, постарел?

— Пооблиняли как-то... На вид.

Варвара Васильевна сказала:

— Ну, садитесь, господа! Пейте чай, закусы-
вайте!

Сели к столу. Токарев спросил:

— Вы куда же теперь направляетесь?

— В Екатеринослав еду. Там товарищи по-
сулились на завод пристроить. Тут, значит,
нужно было Варвару Васильевну повидать. А
между прочим, вот и вас встретил... Ну, а вы
как?

Он говорил не спеша, подняв брови, и вни-
мательно глядел на Токарева своими малень-
кими глазами. Студенты и Катя украдкой
приглядывались к Балуюеву.

Разговор, как обыкновенно, вначале вязал-
ся плохо. Понемногу стал оживляться. Речь
зашла об одном из вопросов, горячо обсуж-
давшихся в последнее время в кружках и де-
ливших единомысленных недавно людей на
два резко враждебных лагеря. Токарев спро-
сил Балуюева, слышал ли он об этом вопросе и
как к нему относится.

— Как же, слышал. Книжки тоже кой-ка-

кие читал об этом... — Балуев помолчал. — Думается мне, не с того конца вы подходите к делу. Оно гладко пишется в книжках, логически, а только книжка, знаете, она больше по верхам крутится, больно много сразу захватить хочет. Оно то, да не то выходит. Смотришь в книжку — вот какие вопросы. И в волосы из-за них вцепиться рад всяко-му. А кругом поглядишь — что такое? И вопросы другие, и совсем из-за другого ссориться надо.

Необычно тихим и смирным голосом Сергей возразил:

— Но, позвольте, ведь книжки основываются на той же жизни, на тех же жизненных фактах.

— Верно! «Факты»... Что такое факты? Я вот гляжу в окошко, вижу, лошадь упала, и говорю: тут дорога склизкая, — пожалуйста, не спорьте со мной, — сам видал, как лошадь упала. А на дороге этой, может, пыли по щиколку, а лошадь потому упала, что нога подвернулась. Оно, видите ли, коли на факты в окошко смотреть, то и факты-то оказываются фальшивыми. А из этих фактов здоровеннейший гвоздь сделают да в голову его тебе и вго-

няют... Намедни был я нелегально в Питере, встретился с одним приятелем старым. — Ты, спрашивает, кто? — Я? (Под густыми усами Балужева мелькнула улыбка.) Али не узнал? Слесарь Тимофей! — Не-ет, я не о том. Ты человек каких взглядов? — Я, говорю... рабочий!

Все поспешили громко и дружно рассмеяться.

— Вот и ходит человек с гвоздем в голове. И ведь не в окошко сам глядит, все кругом видит глазами, — а нет! Гвоздь в голове сидит крепко.

Поднялся общий спор. Приводились «факты», соображения. Балужев, положив на стол руку ладонью вниз, медленно и спокойно возражал. И шестеро споривших были слабы перед ним, как будто они стояли в колеблющемся и уходящем из-под ног болоте, а он среди них — на твердой кочке.

— А о книжке я только что говорю? Слов нет, она вещь полезная, необходимая, — кто же станет спорить? А только ведь нужно и ее с толком читать, — одно взял, другое бросил. А у нас как? Сшил себе человек кафтан из взглядов и надевает. А кафтан-то ему, может,

совсем и не впору. Вот намерен один товарищ мой пишет из Москвы брату своему, мальчонке: Вася, говорит, учись, думай, читай книжки, чтоб ты мог стать «борцом за страдающих и угнетенных»... Во-от! Я думаю, больно уж много книжек сам он начитался, мозги обмозолил себе.

Сергей в восторге воскликнул:

— Великолепно!

Вскочил и быстро заходил по комнате. Митрыч довольно ухмылялся. Остальные недоумевали. Токарев осторожно спросил:

— Что же вы тут находите смешного? По моему, письмо это, напротив, чрезвычайно трогательно.

— Нет, что ж смешного... Очень даже благородно! А только... За себя будь борцом, и то ладно. А то: мне самому, дескать, ничего не надо, я вот только насчет «страдающих»... Недавно мне тоже один человек совсем это самое говорит...

Токарев пожал плечами:

— Я все-таки вас не понимаю!

— ...один человек — образованный, интеллигентный. И притом состоятельный: чай

пьет с булками. Говорит: мне ничего не нужно, мне самому хорошо, я, говорит, если готов работать, то готов работать для других... По моим взглядам, это уж не интеллигентный человек.

— Но почему же, почему? — настойчиво спросил Токарев. — Деятельность эгоистическая, то есть только для себя, по необходимости будет всегда узкою и темною. Высшая нравственность, напротив, заключается именно в самопожертвовании, когда человек не видит от этого выгоды для самого себя. Самопожертвование! Как я могу жертвовать собою для самого себя? Напротив, чем меньше мои собственные интересы направляют мою деятельность, тем она будет чище, выше, светлее. Ведь это совершенно ясно!

Балуев, подняв брови, слушал. В глазах его появилось что-то напряженное и растерянное. Он начал возражать. Спор становился все отвлеченнее. И чем отвлеченнее он становился, тем все более книжными и шаблонными становились выражения Балуева. Повеяло серою скукою и теоретическою «неинтересностью». Токарев и Варвара Васильевна возра-

жали все бережнее и осторожнее, стараясь не припирять его к стенке. Балуев встал. Быстро теребя бороду, он заходил по комнате и запинаящимся, неуверенным голосом приводил свои, бившие мимо цели, возражения.

Сергей своим твердым, самоуверенным голосом вмешался в спор и стал защищать высказанный Балуевым взгляд. Спор сразу оживился, сделался глубже, ярче и интереснее; и по мере того как он отрывался от осязательной действительности, он становился все ярче и жизненнее. Балуев же, столь сильный своею неотрывностью от жизни, был теперь тускл и сер. Он почти перестал возражать. Горячо и внимательно слушая Сергея, он только сочувственно кивал головою на его возражения.

Спор начал падать. Всем еще милее и симпатичнее стал Балуев с его серьезным, напряженно-вдумывающимся лицом, какое у него было во время спора. Варвара Васильевна сказала:

— Тимофей Степаныч, ваш чай совсем остыл. Дайте, я вам налью свежего.

— А вот сейчас! Я этот допью! — Балуев по-

спешно допил чай и протянул стакан Варваре Васильевне. Сергей предупредительно взял стакан и передал сестре.

— Скажите, Тимофей Степаныч, — спросил он, — как вы стали вот таким? Вы учились в какой-нибудь школе?

— До двадцати лет я и грамоте не знал. Приехал в Питер облом обломом. Потом уж самоучкой выучился.

— А что вас заставило научиться?

Балуев улыбнулся.

— Захотел сам французские романы читать. Очень уж они меня заинтересовали. На квартире у нас, как воротимся с работы, один парнишка громко нам «Молодость Генриха Четвертого»[31] читал, — всю бы ночь слушал. Выучился я, значит, стал читать. Много прочел французских романов, тоже вот фельетонами зачитывался в «Петербургской газете» и «Петербургском листке». Даже нарочно для них в Публичную библиотеку ходил. Ну, а потом поступил я в вечернюю трехклассную школу, кончил там, — после этого, конечно, получил довольно широкий умственный горизонт.

Слушатели украдкой переглянулись. Выражение у всех вызвало умиление.

— И ведь вот штука какая любопытная! — улыбнулся Балуюев. — Помню, читал я «Рокамболя»; два тома прочел, а дальше не мог достать; уж такая меня взяла досада! Что с ним дальше, с этим Рокамболом, случится? Хоть иди на деньги покупай книжку, ей-богу!.. Ну, ладно. Прошло года четыре. Уж Добролюбова прочел, Шелгунова, Глеба Успенского. Вдруг попадается мне продолжение... Желанный! Забрал я книжку домой, думаю, — уж ночь не посплю, а прочту. Стал читать, — пятьдесят страниц прочел и бросил. Такая глупость, такая скучища!.. А все-таки добром я ее помяну всегда, она меня читать приучила. Ну, а часто который сейчас? — обратился он к Варваре Васильевне.

Варвара Васильевна вздохнула:

— Пора идти, а то на поезд опоздаете! А может быть, останетесь до завтра?

— Нет, нельзя, нужно спешить! Спасибо на угощении. Прощайте!

В своей черной блузе, в пыльных, отрепанных сапогах, он обошел стол, протягивая всем

широкую руку. Катя робко поднялась и — розовая, с внимательными, почтительными глазами — ждала.

Балуев протянул ей руку. Она вложила в эту грубую, мозолистую руку свою белую, узкую руку и крепко пожала ее. Глаза засветились умилением и радостным смущением.

Балуев взял со стула свой узелок и вышел в сопровождении Варвары Васильевны.

Все сидели молча. Варвара Васильевна воротилась.

— Как он, однако, изменился! — задумчиво произнес Токарев. — И какой он крепкий, цельный — прямо кряжистый какой-то!

— Да. Ничего нет похожего на прежнее, — сказала Варвара Васильевна. — Помните, раньше? Горячий, пылкий, — но совсем как желторотый галчонок; разинул клюв и пихай в него, что хочешь. Ну, а теперь...

Вегнер печально спросил:

— А теперь?.. По-моему, это положительно ужасно! Такое отрицание теории — гибель и смерть решительно всему. Мы это поймем, но поймем слишком поздно.

— Да, печальная штука! — согласился Сер-

гей. — Но еще печальнее, что покоряет это, пригнетает как-то... Сила чувствуется.

Дверь быстро раскрылась. Вошла Таня — запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Оглядела комнату. — Уехал уже?

— Уехал, конечно.

— Ах ты господи! Ну, что это!.. Что, что он рассказывал? — жадно обратилась она к Варваре Васильевне и Сергею.

— Любопытный парень!.. — С медленной улыбкою Сергей неподвижно глядел в окно. — Как это он ловко выразился насчет обмозоленных книжкою мозгов! Черт его знает, какой-то совсем особенный душевный строй!

Таня быстро прошла по комнате и решительно сказала:

— Слушайте, Митрыч! Теперь пять минут шестого, поезд отходит без четверти шесть. Поедем на извозчике на вокзал. Вы меня познакомите с ним.

— Что ж, поедем!

Они оба вышли.

VIII

В дверь раздался стук.

— Войдите!

Вошел больничный фельдшер Антон Антоныч, в белом халате и розовом крахмальном воротничке. Был он бледен, на вспотевший лоб падала с головы жирная и мокрая прядь волос.

— Варвара Васильевна, Никанора привезли: взбесился!

— Да что вы?.. Никанор? Взбесился-таки?

— В телеге привезли из деревни, связанного... Я, изволите видеть, дежурный, а доктора нет. Уж не знаю снимать ли его с телеги или доктора подождать. Больно уж бьется, страшно подойти. За доктором-то я послал.

Варвара Васильевна быстро надевала белый халат

— Ну, вот еще — ждать! Что ж ему так связанным и лежать?.. Пойдемте!

Они поспешно вышли.

Оставшиеся вяло молчали. Было очень жарко. Сергей сидел у окна и читал «Русские ведомости».

— Духота какая!.. Давайте, господа, на лодке покатаемся! — предложил Шеметов.

— Что ж, поедем.

— Только, господа, подождемте Татьяну

Николаевну, — сказала Катя.

Сергей сердито возразил:

— Ну, вот еще! Ждать ее!.. Она, может быть, только к ночи воротится!

Лицо его было теперь нервное и раздраженное. Токарев усмехнулся:

— Я готов пари держать, что она с ним села в вагон, чтоб проехать одну-две станции!

Где-то с силою хлопнула дверь. В больничном коридоре тяжело затопали ноги. Кто-то хрипло выкрикивал бессвязные слова и хохотал. Слышался громкий и спокойный голос Варвары Васильевны, отдававшей приказания. Шум замер на другом конце коридора.

Варвара Васильевна вошла в комнату. Катя со страхом спросила:

— Что это такое? Правда, бешеный человек?

— Да. Ужасно жалко его! Такой славный был мужик — мягкий, деликатный, просто удивительно! И жена его, Дуняша, такая же... Его три месяца назад укусила бешеная собака. Лежал в больнице, потом его отправили в Москву для прививок. И вот, все-таки взбесился! Буянит, бьется, — пришлось поместить

в арестантскую.

Сергей встал.

— Ну, господа, идем. Будет ждать! Варя, хочешь с нами? Мы едем на лодке.

— Отлично! Идемте...

Они вышли на улицу. У Токарева все еще стоял в ушах дикий хохот больного. Он поморщился.

— А должно быть, тяжелое впечатление производят такие больные.

Варвара Васильевна опустила глаза и глухо ответила:

— Не знаю, на меня они решительно никакого впечатления не производят. Вот ушла оттуда, и на душе ничего не осталось. Как будто его совсем и не было.

В городском саду, где отдавались лодки, по случаю праздника происходило гулянье. По пыльным дорожкам двигались нарядные толпы, оркестр в будке играл вальс «Невозвратное время». Токарев сторговал лодку, они сели и поплыли вверх по течению.

Городской сад остался позади, по берегам тянулись маленькие домики предместья. Потом и они скрылись. По обе стороны реки сте-

ною стояла густая, высокая осока, и за нею не было видно ничего. Солнце село, запад горел алым светом.

Шеметов, как столб, стоял на скамейке и смотрел вдоль реки. Катя сказала:

— Сережа, Вегнер! Столкните, пожалуйста, Шеметова в воду: он мне заслоняет вид.

Сергей, молчаливый и нахмуренный, сидел на корме и не пошевелился. Вегнер сделал движение, как будто собирался толкнуть Шеметова. Шеметов исподлобья выразительно взглянул на него и грозно засучил рукав.

— Посмотрю, кто на это решится!

*Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом!.. [32]*

Он стоял в ожидании, сжимая кулаки. Потом сел и самодовольно сказал:

— Вот что значит вовремя привести подходящий стих! Никто не осмелился!

Токарев греб и задумчиво глядел себе в ноги. Балуев произвел на него сильное впечатление. Он испытывал смутный стыд за себя и пренебрежение к окружающим. В голове про-

носились воспоминания из студенческого времени. Потом припомнилась сцена из ибсеновского «Гюнта»[33]. Задорный Пер-Гюнт схватывается в темноте с невидимым существом и спрашивает его: «Кто ты?» И голос Великой Кривой отвечает: «Я — я сама! Можешь ли и ты это сказать про себя?..»

Шеметов острит и шутливо пикировался с Катей. Варвара Васильевна и Вегнер смеялись. Сергей молчал и со скучающим, безразличным видом смотрел на них.

— А Сережа сидит, как будто уксусу с горчицей наелся! — засмеялась Катя.

Сергей сумрачно ответил:

— Не вижу, чему смеяться. Ваши остроты нахожу ужасно неостроумными.

Вдруг Катя насторожилась:

— Что это?

Далеко в осоке отрывисто и грустно ухала выпь — странными, гулкими звуками, как будто в пустую кадуюшку.

— Выпь, — коротко сказал Сергей.

— Какие оригинальные у нее звуки! Что-то такое загадочное!

Шеметов невинно спросил Сергея:

— А что такое выпь... рыба или птица?

Сергей молча отвернулся, наклонился с кормы и опустил руку в воду.

— Это он выпь хочет выловить, показать нам! — догадался Шеметов.

— Нет, брат, выпь ловить я тебя самого в воду спущу! — злобно ответил Сергей.

Варвара Васильевна засмеялась:

— Нет, Сереже положительно нужно дать валерьянки! Его сегодня какая-то блоха укусила.

Сергей обратился к Токареву:

— Владимир Николаевич, дайте мне погresti!

Он сел на весла и яро принялся грести. Лодка пошла быстрее. Сергей работал, склонив голову и напрягаясь, весла трещали в его руках. Он греб минут с десять. Потом остановился, отер пот с покрасневшегося лба и вдруг со сконфуженною улыбкою сказал:

— Однако какой из меня со временем выйдет паскудный старичишка!

Все засмеялись.

— Черт знает что такое!.. — Сергей помолчал и задумчиво заговорил: — Ужасно гнус-

ное впечатление оставила во мне сегодняшняя встреча! Может ли быть что-нибудь противнее? Сидит он — спокойный, уверенный в себе. А мы вокруг него — млеющие, умиленные, лебезящие. И какое характерное с нашей стороны отношение: мягкая снисходительность с высоты своего теоретического величия и в то же время чисто холопское пресмыкание перед ним. Как же! Ведь он — «носитель»! А мы — что мы такое? Пустота, которая стыдится себя и тоскует по нем, «носителе». Жизнь, дескать, только там, а там ты чужой, органически не связан... Какая гадость! Почему он так гордо несет свою голову, живет сам собою, а я только вздыхаю и поглядываю на него?

В конце концов я сам себе исторический факт. Я — интеллигент. Что ж из того? Я не желаю стыдиться этого, я желаю признать себя. Он хорош, не спорю. Я верю в него и уважаю его. Но прежде всего хочу верить в себя.

— А этой веры нет и не может быть, — грустно возразила Варвара Васильевна.

Сергей вызывающе спросил:

— Почему это? Чем я хуже его? Какая меж-

ду нами разница?

— Та разница, что ты вот и теперь уже стал паскудным старичишкой, — ворчливо сказал Шеметов.

Сергей хотел что-то возразить, но нахмурился и замолчал. Он снова взялся за весла и стал усиленно грести.

Было уже совсем темно, когда они воротились к пристани. В городском саду народу стало еще больше. В пыльном мраке, среди ветвей, блестели разноцветные фонарики, музыка гремела.

На улицах было пустынно и тихо. Стояла томительная духота, пахло известковой пылью и масляною краской. Сергей все время молчал. Вдруг он сказал:

— Прощайте, господа, я пойду на вокзал. Поеду с ночным поездом: не стоит ждать до завтра!

— Сережа, можно и я с тобой? — спросила Катя.

Сергей хмуро ответил:

— Как хочешь.

Они простились и пошли к вокзалу.

Шеметов и Вегнер повернули к себе. Токарев пошел с Варварой Васильевной проводить ее до больницы. Звезды ярко мерцали, где-то далеко стучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна и Токарев шли по тихой улице, и шаги звонко отдавались за домами.

Оба задумчиво молчали. Сегодняшняя встреча пробудила в них давнишние воспоминания, они не перекинулись ни словом, но оба знали и чувствовали, что думают об одном и том же.

Вдруг Варвара Васильевна остановилась:
— Стойте, что такое?

На той стороне улицы из раскрытых окон неслись звуки скрипки и рояля. Играли «Легенду» Венявского.

У Токарева забилося сердце. «Легенда»... Пять лет назад он сидел однажды вечером у Варвары Васильевны, в ее убогой комнате на Песках; за тонкою стеною студент консерватории играл эту же «Легенду». На душе сладко щемило, охватывало поэзией, страстно хотелось любви и свет-лого счастья. И как это тогда случилось, Токарев сам не знал, — он

схватил Варвару Васильевну за руку; задыхаясь от волнения и счастья, высказал ей все, — высказал, как она бесконечно дорога ему и как он ее любит.

Из окон широко лились певучие, жалующиеся звуки «Легенды». Токарев взглянул на Варвару Васильевну. Она стояла, не шевелясь, с блестящими глазами, и жадно слушала. Где-то вдали с грохотом прокатились дрожки, потом застучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна нетерпеливо прошептала:

— Господи, как мешают!

Вдали смолкло, и опять по тихой улице поплыли широкие, царственные звуки. Лицо у Варвары Васильевны стало молодое и прекрасное, глаза светились. И Токарев почувствовал — это не музыка приковала ее. В этой музыке он, Токарев, из далекого прошлого говорил ей о любви и счастье, ее душа тянулась к нему, и его сердце горячо билось в ответ. Музыка прекратилась. Варвара Васильевна быстро двинулась дальше.

— Пойдемте! Другого не нужно слушать! И опять за тихими домами отдавались шаги, и

звезды мерцали в темном небе.

— Помните, Варвара Васильевна?.. — начал Токарев.

Оживленная и счастливая, она поспешно прервала его:

— Да, да... Только не нужно об этом говорить... Как хорошо кругом, как звезды блещут!..

Они подошли к воротам больницы.

— Зайдите. Напьемся чаю.

В ее комнате было темно. Токарев зажег лампу.

— Посидите, я сейчас схожу в кухню за кипятком. — Варвара Васильевна что-то вспомнила и в колебании помолчала. — Или вот что, — заговорила она извиняющимся голосом, — подождите минут пять, я только схожу, проведу сегодняшнего больного.

— Варвара Васильевна, да это же невозможно! Ну, пожалуйста, я вас прошу. — Он сжал ее руку в своих руках. — Пожалуйста, оставьте на сегодня всех больных! Ведь вы в отпуске, там у вас есть дежурные фельдшера.

— Я в одну минуту сбегаяю. Видите, сегодня дежурный Антон Антоныч: он с десяти часов

заяжет спать и не встанет до утра. А больной тяжелый, ему, может быть, что-нибудь нужно... Я сейчас ворочусь!

— Ну, а можно мне с вами пойти?

— Отлично! Пойдемте!

Они пошли по коридору. Варвара Васильевна тихо открыла дверь в арестантскую. В задней ее половине, за решеткою, сидел на полу больной. По эту сторону стоял больничный служитель Иван — бледный, с широко открытыми глазами. Маленькая лампочка горела на стене. Варвара Васильевна шепотом спросила служителя:

— Ну, что Никанор?

— После обеда ничего был. Доктор ему лекарства дал, он заснул... А теперь вот сидит, глазами ворочает, да вдруг как начнет головою биться об решетку!.. Все пить просит.

— А лекарство вечером давали ему?

— Н-нет...

Варвара Васильевна и Токарев подошли к решетке. В полумраке сидел на полу огромный человек. Он сидел сторбившись, с свесившимися на лоб волосами, и раскачивал головою. Варвара Васильевна мягко сказала:

— Здравствуйте, Никанор! Как поживаете?

Больной медленно поднял голову и пристально оглядел Варвару Васильевну. На темной бороде клочьями висела подсыхавшая пена. Он хрипло ответил:

— А как!.. Видно, не больно хорошо!

— Вы меня знаете?

— Ну, а как же не знаю!

— Кто же я?

— Вы-то? Барышня наша. — Он помолчал и задумчиво потер ладонью край лба. — Скажите вы мне, бога ради, — как я сюда попал?

— Вы в больнице. Вам было худо, и потому вас привезли сюда!

— Худо? — Больной задумался. — Да, да, я что-то сильно безобразил. Но что я делал — не знаю.

— Ничего вы не безобразили. Просто у вас сильно болела голова, так сильно, что вы были без памяти. Ну, конечно, когда человек без памяти, то и мечется. Хотите пить? Я вам сейчас дам.

— А решетка зачем?.. Нет, видно, сильно я безобразил, коли за решетку посадили меня, как зверя...

Он уныло опустил голову. Лицо стало грустное и хорошее.

— Посадили вас за решетку, чтоб вы не убежали, если опять будете без памяти, — только для того. Поправитесь и пойдете себе домой.

Больной вдруг спросил:

— А где моя жена?

— Дома.

— А скажите... Она жива?

— Конечно, жива и здорова.

— А ребята?

— И ребята тоже.

— Гм... — Больной нахмурился и понурил голову. — Да скажите же мне, — что такое со мною было? — Он начинал волноваться. — Я помню, я что-то сильно безобразил. Вот, вы говорите, жена моя, Дуняша, здорова... Отчего же ее тут нету?

— Никанор, какой вы, право, странный! Ведь вы же знаете, у нее в деревне хозяйство, дети, скотина. Не может же она все бросить и идти к вам. Ну, справит дела, утром и придет вас проведать.

— Утром... Нет, это вы меня обманываете!..

Что с женой? — вдруг коротко и решительно спросил он. — Я ей что-нибудь сделал? Убил ее! Не обманывайте вы меня, бога ради!

— Ну, Никанор, если вы мне не верите, то я уйду. Мне, наконец, обидно: я никогда не лгу, а вы вот мне не верите.

Больной внимательно слушал.

— Нет, нет, не уходите, я верю... Ну, а вас, барышня, я не обидел? Помнится, я вам что-то худое сделал.

— Да нет же, голубчик, ничего вы мне не сделали! Будет разговаривать, вам это вредно... Иван, сходите к смотрителю и принесите бутылку пива.

Иван вышел. Больной сидел на тюфяке, свесив голову. Лицо его побледнело, он дышал часто и поверхностно.

— Эх, вот тут больно, — сказал он и показал под ложечку: — дышать не дает. А пить охота...

— Вот сейчас принесут пиво, вы выпьете и вам станет легче.

Срывающимся голосом он вдруг спросил:

— Скажите, барышня, я... бешеный?

Варвара Васильевна рассмеялась.

— Ну, что за глупости! Какой же вы бешеный? У вас просто горячка, больше ничего. Я сейчас пойду поить вас, — разве бы я пошла, если бы вы были бешеный?

Больной замолчал. Мутные глаза смотрели из полумрака на Варвару Васильевну. Вдруг он сказал:

— Я сейчас во всю силу буду стучать в дверь!

— Зачем?

Он вызывающе ответил:

— А чтоб Дуняша пришла!

— Я же вам говорила, сейчас ей некогда. Она придет завтра утром, а если что задержит, — в полдни уж непременно.

— В по-олдни... Ну, теперь я вижу, всё вы врете. Говорили, — утром, а теперь уж на полдни перешли!.. Нет, видно, ее в живых-то нету... Пустите меня, я к ней пойду! — крикнул он, встал и подошел к решетке.

— Ну, Никанор, если так, то прощайте! Я вам передаю ее же слова, а вы не верите. Если не верите, то нечего и толковать.

— Нет, постойте, не уходите. Вы скажите только, — придет она?

— Придет.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— Ну, ладно, буду ждать. А только... Коли она не придет, буду так безобразить, что... И вас не послушаю, никого! — Больной помолчал. — Коли не придет, увидите, что будет! Я попрошу вас к себе сюда... — зловеще протянул он.

— Зачем?

— А тогда узнаешь, зачем!.. Значит, вы только утешали меня, обманывали!..

Больной волновался все больше. В тоске он потер рукою под ребрами.

— Эх, как больно тут!.. Дайте мне пить! Я пить хочу.

В арестантскую на цыпочках вошел слуга Иван с бутылкою пива.

— Вот, извольте!.. — В смутном ужасе он покосился на больного и зашептал: — Только я, барышня, ни за что не пойду с вами! Хоть сейчас с места стоните!

Варвара Васильевна спросила:

— Антон Антоныч у себя?

Она вышла с Токаревым в коридор. Тока-

рев ощущал в спине быструю, мелкую дрожь. Он спросил:

— Но ведь бешеные, кажется, не могут пить?

— Нет, пиво им иногда удается проглотить.

По коридору шел заспанный Антон Антонович, в своих розовых воротничках и пи-джаке.

— Антон Антоныч, Никанор пить просит. Не поможете ли вы мне его напоить?

Фельдшер остановился, поднял брови и забегал глазами по потолку.

— Мм-м... Знаете что? Подождемте лучше доктора, он ведь скоро придет.

— Какое же «скоро»? Он приходит в девять утра, а теперь только час ночи.

— Нет, знаете... Он сегодня раньше придет.

— Ну, Антон Антоныч, это вы сочиняете! Почему он сегодня раньше придет?.. Скажите, поможете ли мне или нет?

Антон Антоныч замялся.

— Знаете... я боюсь! А ну, как он меня укусит! С доктором хоть в огонь пойду, а без него я... извините, боюсь!

— Как хотите!.. Дело только в том, что од-

ной трудно его напоить.

Варвара Васильевна беглым взглядом скользнула по лицу Токарева. Токарев внимательно смотрел на фельдшера и с невинным видом играл ключиком от часов.

Фельдшер помолчал и спросил:

— Ну, а если я не пойду, то что будет?

— Что будет! Ничего особенного. Пойду одна.

Фельдшер с изумлением оглядел ее.

— Ну, Варвара Васильевна... Как это — одна? Это невозможно!

— А что же я буду делать? Больной просит пить, а я стану уговаривать его ждать до утра?

Варвара Васильевна пошла назад. Фельдшер шел за нею следом.

— Барышня, вы подумайте, ведь это невозможно! Да и на что пить ему? Он все равно не выздоровеет, помрет к завтраму, — с пивом ли, без пива ли...

Варвара Васильевна, не слушая, говорила:

— Нужно будет морфия всыпать в пиво.

Она вошла в арестантскую. Фельдшер, странно сопя носом, в волнении прошелся по

коридору. Подошел к Токареву, развел дрожащими руками:

— Я, знаете... не могу этого... У меня жена молодая, ребенок маленький...

И, быстро повернувшись, снова пошел по коридору. Токарев видел, как он бормотал что-то под нос и размахивал руками.

Варвара Васильевна высыпала в жестяную кружку порошок и налила пиво. За решеткою темнела в полумраке огромная лохматая фигура больного. Он сидел сторбившись и в забытьи качал головою. Служители и сиделки толпились в первой комнате, изредка слышался глухой вздох. Токарев, прислонясь к косяку коридорной двери, крепко стискивал зубы, потому что челюсти дрожали.

Варвара Васильевна подошла к решетке.

— Никанор, вы хотели пить. Я войду, напою вас. Хорошо?

Он пробормотал:

— Хорошо.

— Ну, а можно мне к вам одной войти, вы не обидите меня?

Больной с удивлением поднял глаза.

— Что вы, барышня? Вы меня поить буде-

те, а я обижать! Нет, вы не опасайтесь!

— Ну, хорошо... Иван, отоприте замок!

Иван снова зашептал:

— Только я, барышня, ни за что не пойду с вами. Да и вы тоже, барышня... Ведь в его душу не влезешь!

Варвара Васильевна нетерпеливо повторила:

— Да отпирайте же!

Стало тихо. Иван дрожащими руками совал ключ, но не мог попасть в замок. Больной неподвижно сидел на тюфяке и с загадочным любопытством смотрел на толпу за решеткой.

В дверях коридора появился фельдшер. С широко открытыми страдающими глазами, он остановился на пороге, крепко вцепившись пальцами в локти. Иван продолжал лязгать ключом по замку. Варвара Васильевна, бледная и спокойная, с сдвинутыми тонкими бровями, ждала с кружкою в руках.

Фельдшер пробормотал.

— Нет... Нет... Господи! Простите меня, я не могу!..

Он странно-молитвенно поднял кверху руки, повернулся и с поднятыми руками пошел

по коридору прочь. Замок два раза звонко щелкнул. Решетчатая дверь открылась. Все замерли. Варвара Васильевна вошла в больницу. Вдруг словно сила какая подхватила Токарева. Он протолкался сквозь толпу и тоже вошел за решетку

Варвара Васильевна сказала:

— Ну, Никанор, давайте пить!

Больной зашевелился и поспешно отер ладонью усы.

— Дайте мне руку, держите меня!

Токарев вполголоса сказал Варваре Васильевне:

— Позвольте, я подержу.

Она быстро взглянула на него. Бледное лицо вспыхнуло радостью, и засветившиеся глаза с горячею ласкою остановились на Токареве. Больной говорил:

— За обе руки держите! А то я боюсь, не зашибить бы барышню... Эй, вы! — обратился он к толпе. — Подержите кто-нибудь!

Иван на цыпочках вошел в дверь и, широко улыбаясь, взял больного за руку. Токарев держал другую руку. Держал и смотрел на подсохшие клочья пены, висевшие в спутан-

ной, темной бороде больного.

Больной жадно поглядел на кружку с холодным пивом и вздохнул.

— Эх, выпить-то я не смогу!.. Я воду в рот, а меня как будто кто за горло схватит.

Варвара Васильевна сказала:

— Да это не вода, это пиво. Вы не бойтесь, пиво всякий всегда может выпить, оно совсем легко идет в горло... Ну, откройте рот!

Больной неуверенно раскрыл рот. Варвара Васильевна влила в него ложку пива.

— Ну, вот! Отлично! Глотайте, вы непременно проглотите! — спокойно и уверенно твердила Варвара Васильевна.

Больной закрыл глаза, постарался проглотить, но судорога сдавила ему глотку. В мучительных усилиях побороть ее он весь изогнулся назад, выкатывал глаза, рвался из рук державших. Потом вдруг сел и облегченно вздохнул — он проглотил.

— Не ушиб ли я вас? — спросил он, передохнув. — Кажись, руками я шибко махал — не задел ли кого?

Варвара Васильевна радостно ответила:

— Нет, нет, успокойся, милый, никого ты

не задел! Вот теперь ты сам видишь, что можешь пить... Ну, еще ложку!

— Дай тебе бог доброго здоровья!.. Ну, господи благослови!

Больной, хотя со значительными усилиями, но выпил еще две ложки. Облегченный и успокоенный, он сказал:

— Теперь, бог даст, засну.

Все вышли от него. В коридоре к Варваре Васильевне подошел фельдшер. Он виновато и подобострастно заглянул ей в глаза.

— Я, право, Варвара Васильевна, не мог пойти! Ведь я не один, вы знаете; у меня жена молодая, ребенок. Знаете, хотел было пойти, и вдруг, как видение встало перед глазами: Дашенька, а на руках ее младенец! И голос говорит: не ходи!.. Не ходи, не ходи!.. Какая-то сила невидимая держит и не пускает!

Варвара Васильевна добродушно засмеялась.

— Ну, что об этом говорить теперь! Видите, кое-как сладилось дело. Покойной ночи!

Она и Токарев вошли в ее комнату. На подносе стоял большой жестяной чайник с кипятком, и чай был уже заварен. Токарев со

смехом говорил:

— Боже мой, какой чудак этот ваш Антон Антоныч!.. Посмотрели бы вы на его физиономию, когда Иван отпирал замок!.. Да, Варвара Васильевна, кстати: отчего вы прямо не обратились ко мне, чтоб я вам помог? Я сначала не решался предложить свои услуги, думал, для этого нужен специалист. Ну, а вижу, «специалисты» все мнутя...

Варвара Васильевна с счастливою улыбкою наклонилась над чайником, слегка поднимая и опуская его крышечку.

— Я в душе была убеждена, что вы пойдете... Хотя на одну секунду усомнилась...

Токарев улыбнулся.

— Это тогда, когда вы говорили в коридоре с фельдшером?

— Д-да...

— Так, господи, я же вам говорю: я не знал, гожусь ли я. Вижу, вы ко мне не обращаетесь, — думаю: очевидно, тут нужны специальные знания...

Они долго просидели за чаем. Не хотелось расходиться. Случилось что-то особенное. Вдруг они стали близки-близки друг другу.

Каждую фразу, каждое слово одного другой принимал с горячим, любовным вниманием. И глаза встречались теперь свободно.

Уже светало, когда Токарев вышел из больницы. Он шел улыбаясь, высоко подняв голову, и жадно дышал утренней прохладой. Как будто каждый мускул, каждый нерв обновились в нем, как будто и сама душа стала совсем другая. Он чувствовал себя молодым и смелым, слегка презирающим трусливого Антона Антоныча. И перед ним стояла Варвара Васильевна, как она входила в комнату бешеного, — бледная, со сдвинутыми бровями и спокойным лицом, — и как это лицо вдруг осветилось горячею ласкою к нему.

Х

Варвара Васильевна и Токарев воротились в Изворовку. Таня заявила, что уж отдохнула в деревне и останется в Томилинске.

Жизнь в Изворовке текла тихая, каждый жил сам по себе. Токарев купался, ел за двоих, катался верхом. Варвара Васильевна опять с утра до вечера возилась с больными. Сергей сидел за книгами. Общие прогулки предпринимались редко.

Варвара Васильевна как будто жалела о порыве, охватившем ее под влиянием неожиданно услышанной «Легенды». Она замкнулась в себе и старалась отдалиться от Токарева. Токарев мучился, несколько раз пытался заговорить. В ее глазах появлялась тогда растерянность. И, прося у Токарева взглядом прощения, она переводила разговор на другое. Ему все больше начинало казаться, что Варвара Васильевна, такая на вид спокойная и ровная, давно уже переживает в душе что-то очень тяжелое. Иногда, случайно увидев ее одну, он поражался, какое у нее было глубоко грустное лицо.

С Сергеем отношения у него совсем не ладились. Вначале Сергей относился к Токареву с любовною почтительностью, горячо интересовался его мнениями обо всем. Но что дальше, то больше в его разговорах с Токаревым стала проскальзывать ироническая нотка. И Сергей становился Токареву все неприятнее.

Вообще Сергей производил на Токарева странное впечатление. Оба они жили наверху, в двух просторных комнатах мезонина. Сергей то бывал буйно весел, то целыми дня-

ми угрюмо молчал и не спал ночей. Иногда Токарев слышал сквозь сон, как он вставал, одевался и на всю ночь уходил из дому. От Варвары Васильевны Токарев узнал, что Сергей страдает чем-то вроде истерии, что у него бывают нервные припадки.

Прошла неделя. Тринадцатого августа, в воскресенье, были именины Конкордии Сергеевны. Съехалось много гостей.

Большой стол был парадно убран и поверх обычной черной клеенки был покрыт белоснежной скатертью. В окна сквозь зелень кленов весело светило солнце. Конкордия Сергеевна, вставшая со светом, измученная кухонною суетою и волнениями за пирог, села за стол и стала разливать суп.

Сергей с усмешкою шепнул Токареву:

— Мученица своего ангела! И Варя, несчастная, тоже запряглась. С утра на кухне торчит.

Василий Васильевич был очень оживлен и говорлив. Он наливал в рюмки зубровку.

— Ну, господа, господа! За здоровье именинницы!

Выпили по рюмке, некоторые по второй.

Закусив, принялись за бульон с пирогом.

Юрасов, акцизный ревизор с Анною на шее, с любезною улыбкою говорил Конкордии Сергеевне:

— А приятно этак, знаете, на лоне природы жить!.. Какой у вас тут воздух прелестный!

Конкордия Сергеевна махнула рукою.

— Эх, милый Алексей Павлович, не говорите! Мы этого воздуха и не замечаем. Столько хлопот, суеты, — где уж тут о воздухе думать!

— Нет, знаете... Что ж суета? Суета везде есть, без нее не обойдешься.

— Вот только для детей, конечно. Для них, для здоровья их — вот, правда, много пользы от воздуха.

— Ну да, и для детей... — Юрасов взглянул на Сергея. — Сергей Васильевич где теперь, в Юрьевском университете?

Конкордия Сергеевна сделала скорбное лицо.

— В Юрьевском, Алексей Павлович, в Юрьевском... Дай бог, чтобы уж там как-нибудь кончил, об одном только я бога молю.

— Ну, кончит, бог даст... Молодость, знаете: кровь кипит, в голове бродит!.. — Юрасов по-

вел сухими пальцами перед лбом. — Этим огорчаться не следует; перебродит, взгляды установятся и все будет хорошо. Вот увидите.

Прикусив улыбку на красивых губах, Сергей молча смотрел на благодушно-снисходительное лицо Юрасова с отлогим лбом и глазами без блеска.

Юрасов продолжал:

— И все-таки, что вы там ни говорите, а я от души рад за Василия Васильевича, что он бросил нашу лямку. Что ему теперь? Ни от кого не зависит, сам себе хозяин, делает, что хочет.

Василий Васильевич юмористически поднял брови и крякнул:

— Гм... Я бы с большим удовольствием предоставил это удовольствие вам... Нет, Алексей Павлович, раньше было лучше. Бывало, придет двадцатое число — расписывайся у казначея и получай жалованье, ни о чем не думай. А теперь — дождь, солнце, мороз, от всего зависишь. А главная наша боль, — народу нет. Нет народу!

— Нету, нету! — вздохнул помещик Пантелеев, плотный, с маленьким лбом и жестки-

ми стриженными волосами. — Положительно невозможно дела делать!

— Хоть сам коси и паши! Все бегут в город; там хоть за три рубля готовы жить, а тут и за пять не хотят. А уж который остается, так такая шваль, что лучше и не связывайся.

— Грубый народ, пьяный! Вор-народ! — поддержал Пантелеев. — Вы поверите, сейчас август месяц, а у меня еще два скирда необмолоченных стоит прошлогодней ржи, — ей-богу! Нет рук!

Своим медленным и спокойным голосом заговорил Будиновский:

— Я думаю, господа, вы сами в этом виноваты. Хороших рабочих всегда можно достать, если им хорошо платить и сносно содержать.

Пантелеев почтительно и с скрытою враждою исподлобья взглянул на него:

— Да, Борис Александрович, вам это легко говорить! Мы бы, может, с вашими капиталами тоже не жаловались. А то капиталов-то у нас нету, а детей семь человек; всех обуодень, накорми-напои. Вы-то платите от излишков, а цену набиваете. А жить-то, Борис

Александрович, всем надо-с, — всем надо жить!

Горячо заспорили.

Марья Михайловна Будиновская сидела рядом с Токаревым. Она вполголоса сказала ему:

— Ужасно помещики на нас злобятся! Не могут простить, что мы платим рабочим высокую цену. Этот самый Пантелеев на земском собрании такую филиппику произнес против Бориса... И вообще, я вам скажу, типы тут! Один допотопнее другого! Вот Алексей Иванович много может вам рассказать про них.

Она заглянула на сидевшего рядом земского врача Голицынского.

Загорелый, с угрюмым и интеллигентным лицом, Голицынский лениво спросил:

— Это насчет чего?

— Я говорю, что вам приходится наблюдать наших деятелей в довольно-таки непривлекательном свете.

— А-а!.. — Голицынский помолчал. — Да вот вам случай с коллегой моим, врачом соседнего участка, — заговорил он неохотно,

как будто его заставляли говорить против воли. — Зовет его в свой приют для сирот земский начальник, гласный. У мальчика оказывается гнойный плеврит. Пожалуйста, будьте добры сделать дезинфекцию. — Дезинфекция не нужна, болезнь не заразительная. — А я требую! Врач пожал плечами и уехал. Земский пишет в управу бумагу, — в приюте, дескать, открылась заразная болезнь, а земский врач отказывается сделать дезинфекцию. Из управы запрос к врачу: почему? — Потому, что не было никаких оснований исполнять невежественные требования господина земского начальника. Назначается расследование, и результат: врача «для улучшения местных отношений» переводят в другой участок.

Сергей с любопытством спросил:

— Ну, а вы что же?

— То есть, что же я?

— Так и оставили это? И все врачи уезда не вышли в отставку?

Марья Михайловна воскликнула:

— Ах, господи, Сережа!.. Какой он прямолинейный! Обо всем судит со своей студенческой точки зрения!.. Ну, что хорошего было

бы, если бы Алексей Иванович ушел? Одним дельным человеком стало бы у нас меньше, больше ничего!

Доктор, наклонившись над тарелкой, ворошил вилокoю оглоданное крыло утки.

— Нет, дело не в этом, — грубовато возразил он. — Дело, изволите видеть, в том, что куска хлеба лишишься. А на другое место пойдешь, будет не лучше. Вот — причина простая.

Марья Михайловна, прищурившись, смотрела вдаль, как будто не слышала признания доктора. Сергей протянул:

— Да, это что спорить! Просто!

— Оно, знаете, в нашей жизни человек подлеет ужасно быстро, ужаасно!.. Совсем особенная философия нужна для нее: надень наглазники, по сторонам не оглядывайся и иди с лямкой по своей колее. А то выскочишь из колеи, пойдет прахом равновесие и... жить не станет силы. Изволите видеть? Не станет силы жить!

Сергей изумился.

— И вы миритесь с этой философией!.. Кругом — жизнь, такая яркая, живая и интерес-

ная, а вы сознательно надеваете наглазники и боитесь даже взглянуть на нее!

Доктор неохотно спросил:

— Где она, яркая-то жизнь? Все серо кругом, душно и пусто... «Яркая»...

— Да, если так дрожать перед нею и покоряться ей...

— Я не знаю, мне кажется, вы совершенно не возражаете Алексею Ивановичу, — заговорил Токарев, обращаясь к Сергею. — Мысль доктора вполне ясна: в теории непримиримость хороша и даже необходима, но условия жизни таковы, что человеку волею-неволею приходится съезживаться и становиться в узкую колею. И мне кажется, это совершенно верно. Какая, спрашивается, польза, чтобы вместо Алексея Ивановича у нас оказался врач, который бы лечил мужиков оптом: Эй, у кого животы болят? Выходи вперед. Вот вам касторка. У кого жар? Вот вам хинин!

Сергей, подняв брови, внимательно смотрел на Токарева.

— Это в ваших устах звучит ново!.. Я думал, вы согласитесь с тем, что непримиримость нужна прежде всего именно в жизни,

что честные люди должны словом и делом доказывать, что подлость есть подлость, так же уверенно и смело, как нечестные люди доказывают, что подлость есть самая благородная вещь.

Марья Михайловна, обрадованная поддержкою Токарева, возразила:

— Да, только тогда нельзя будет жить! И все честные люди будут погибать.

Сергей усмехнулся.

— Будут погибать, верно! А вот этого-то как раз нам ужасно не хочется — погибать!

— Ну, Сережа, я тебя не слушаю! — Марья Михайловна засмеялась и заткнула уши белыми пальцами в кольцах.

Обед кончился. Перешли в гостиную. Одни сидели, другие расхаживали по комнате и рассматривали безделушки в неуклюжих стеклянных горках. Подали кофе. Перед домом, в густой липовой аллее, расставляли карточные столы.

Конкордия Сергеевна сидела на диване между женами Юрасова и Пантелеева, размешивала ложечкою кофе и рассказывала:

— У Катамышевых говорят мне: попробуй-

те жженого кофейю взять, у нас особенным образом жгут, все покупатели одобряют. Взала, — гадость ужасная! Просто кофейная настойка, без всякого вкуса. А я люблю, чтоб у кофе был букет...

С террасы, потирая руки, вошел в гостиную Василий Васильевич.

— Ну, господа, господа! Пора за дело! Пожалуйста, столы готовы!

Мужчины и многие дамы поднялись. Василий Васильевич спросил Токарева:

— А вы в винт не играете?

— Я... мм... играю немножко...

— А-а!.. — Василий Васильевич с уважением оглядел его. — Великолепно!.. Вот вам, значит, четвертый партнер! — обратился он к Марье Михайловне.

Марья Михайловна просияла и с ласкою взглянула на Токарева.

— Как я рада!

Она сначала как будто удивилась, что он играет.

Спустились с террасы. Столы в аллее весело зеленели ярким сукном. Партнерами Марьи Михайловны и Токарева были Пантелеев

и акцизный чиновник Елкин. Уселись, вытянули карты. Марье Михайловне вышло сдавать.

Елкин, живой старичок с круглыми глазами, говорил:

— Ну, я сегодня в выигрыше! Как с дамами играю, всегда выигрываю. — Он взял карты. — Так и есть! Туз... другой... третий... четвертый... пятый...

Марья Михайловна засмеялась. Елкин сказал:

— Вы что смеетесь? Давайте пари, что выиграю!

— Давайте!

Вечер был чудесный — теплый и тихий. Солнце светило сбоку в аллею. Нижние ветви лип просвечивали яркою зеленью. В полосах солнечного света золотыми точками плавали мухи. Варвара Васильевна расхаживала по аллее с женами Елкина и Пантелеева и занимала их.

Марья Михайловна в колебании смотрела в свои карты.

— Погодите немножко... Гм... — Она помолчала. — Ну... без козыря!

— Если говорят с руки: «Ну... без козыря!» — это значит, что всего два туза, — объяснил Елкин Токареву и решительно сказал: — Три без козыря!

Марья Михайловна лукаво погрозила пальцем.

— Иван Яковлевич, не зарывайтесь!

— Я вам с начала игры сказал, что у меня пять тузов... Владимир Николаевич, карты поближе к орденам, — все вижу.

— Четыре черви! — сказал Токарев, игравший с Марьей Михайловной.

Елкин почтительно протянул:

— Па-ас, па-ас!.. Прикажете раскрыть прикуп?

Марья Михайловна заволновалась:

— Нет, нет, подождите!.. Четыре без козыря! Я беру! Она раскрыла прикуп, задумалась. Нерешительно передала Токареву четыре карты и сказала:

— Ну, посмотрю, поймете ли вы.

Пантелеев ворчливо заметил:

— Марья Михайловна, так нельзя!

— Да я... я ничего не сказала!

— А я вот понял, что вы сказали! — вызы-

вающе произнес Елкин. — На ренонсах хотите играть!

— Мальый в червях, — объявил Токарев.

Они сыграли назначенное. Марья Михайловна забрала последнюю взятку и радостно заговорила:

— Вы мне говорите: «черви», а у меня туз и пять фосок! Я все-таки колебалась поднимать на пять червей, но, думаю: вы сразу сказали четыре черви, значит, у вас масть хорошая... Ну, записывайте, Владимир Николаевич!

Ее красивое лицо горело оживлением. За соседним столом царило гробовое молчание. Там играли Василий Васильевич, Будиновский, доктор Голицынский и ревизор Юрасов с Анною на шее. Они сидели молча, неподвижные и строгие, и только изредка раздавалось короткое: «пас!», «три черви», «четыре трефы!» Елкин почтительно сказал:

— Вот играют! Как цари!

Игра шла веселая и оживленная. Сыграли уже шесть робберов. Темнело, подали свечи и чай.

Токарев, увлеченный трудным разыгрыванием большого шлема с Елкиным, случайно

поднял глаза. За соседним столом, лицом к нему, сидел Василий Васильевич, глядя в карты. Свечи освещали его лицо — серьезное и строгое, со сдвинутыми тонкими бровями... У Токарева прошло по душе странное чувство. Что такое? Где он недавно видел такое же лицо? Ах, да!.. Совсем с таким лицом Варвара Васильевна стояла недавно перед решеткою в ожидании, когда слугитель откроет дверь к бешенному...

По аллее прошли в глубь сада Сергей и побледневшая Варвара Васильевна. Сергей иронически сказал:

— Ишь, Владимир-то Николаевич наш! Совсем акклиматизировался среди «больших»!

Токарев дрогнул и нахмурился.

«Какое скучное ребячество!» — с тоскою подумал он.

В одиннадцать часов подали ужинать. Все шумно сели за стол, веселые и проголодавшиеся. Токарев опять сидел рядом с Марьей Михайловной. Они теперь чувствовали себя совсем друзьями, шутили, смеялись. Василий Васильевич разлил по бокалам донское игристое. Стали говорить шутливые тосты, чо-

каться. После ужина гости начали разъезжаться.

Марья Михайловна в верхней кофточке цвета ее юбки и в шляпке, сделавшей ее лицо еще красивее, крепко пожимала руку Токареву и взяла с него слово, что он приедет к ним в деревню. Подали коляску Будиновских. Красивые серые лошади, фыркая, косились на свет и звякали бубенчиками. Кучер в бархатной безрукавке неподвижно сидел на козлах.

Будиновские сели, и коляска, звеня бубенчиками, мягко покати­лась в темноту.

Токарев вышел на террасу. Было тепло и тихо, легкие облака закрывали месяц. Из темного сада тянуло запахом настурций, левкоев. В голове Токарева слегка шумело, перед ним стояла Марья Михайловна — красивая, оживленная, с нежной белой шеей над кружевом изящной кофточки. И ему представилось, как в этой теплой ночи катится по дороге коляска Будиновских. Будиновский сидит, обняв жену за талию. Сквозь шелк и корсет ощущается теплота молодого, красивого женского тела...

Хорошо бы так жить! Вот такая жена — красивая, белая и изящная. Летом усадьба с

развесистыми липами, белою скатертью на обеденном столе и гостями, уезжающими в тарантасах в темноту. Зимой — уютный кабинет с латаниями, мягким турецким диваном и большим письменным столом. И чтоб все это покрывалось широким общественным делом, чтобы дело это захватывало целиком, оправдывало жизнь и не требовало слишком больших жертв...

XI

С утра пошел дождь. Низкие черные тучи бежали по небу, дул сильный ветер. Сад выл и шумел, в воздухе кружились мокрые желтые листья, в аллеях стояли лужи. Глянуло неприветливою осенью. На ступеньках крыльца чернела грязь от очищаемых ног, все были в теплой одежде.

Настал вечер. Отужинали. Непогода усиливалась. В саду стоял глухой, могучий гул. В печных трубах свистело. На крыше сарая полуоторванный железный лист звякал и трепался под ветром. Конкордия Сергеевна в поношенной блузе и с косынкою на редких волосах укладывала в спальне белье в чемоданы и корзины — на днях Катя уезжала в гим-

назию. Горничная Дашка, зевая и почесывая лохматую голову, подавала Конкордии Сергеевне из бельевой корзины выглаженные женские рубашки, юбки и простыни.

Варвара Васильевна, Токарев, Сергей и Катя сидели в столовой. Горела лампа. Скатерть, с неприбранной после ужина посудой, была усеяна хлебными корками и крошками. Сергей, с особенным блеском в глазах, сидел на окне, засунув руки меж колен, и хмуро смотрел в угол.

— Ах ты гадость какая! — с отвращением сказал он, встал и зашагал по комнате. — Как паскудно на душе! Ну и компания же была у нас вчера!.. У-у, эти взрослые люди!..

Он остановился перед столом.

— Взрослые, «почтенные»... Всю жизнь корпят, «трудятся», и даже не спросят себя, кому и на что нужен их труд. Важно только одно, — чтоб «заработать» побольше, чтоб можно было со своею семьею *жить*... А для чего жить?.. А вечером съедутся и с тем же важным, почтенным видом целыми часами бросают на стол раскрашенные картонки. И ведь все ужасно уважают себя, — какое сознание

собственного достоинства, какая уверенность в своем праве на жизнь! В голове — пара дрянненьких идеек, высохших, как залежавшийся лимон, и это — «установившиеся взгляды». Зачем думать, искать? Ведь это по-ложительно собрание каких-то животных — тупых, самодовольных, ни над чем не задумывающихся. И среди этих животных — «люди»: доктор, покорно преклоняющийся перед всякою подлостью, хотя и понимает, что это подлость. Будиновский с его великолепным либерализмом... Я его себе иначе теперь не могу представить: жена сидит, читает ему умную книжку, а он слушает и... рисует лошадиные головки. Ведь в этих лошадиных головках он весь целиком, со всею силою своих идеалов и умственных запросов... Бррр!..

Сергей передернул плечами и медленно зашагал по столовой. Токарев стоял у печки и крутил бородку. В душе росло глухое раздражение. Он заговорил:

— Меня, Сергей Васильевич, удивляет одно. Вы преисполнены ужасным презрением к бывшим у нас вчера взрослым людям. Они не удовлетворяют вашему представлению о че-

ловеке — страстно ищущем, смелом, не дрожащем за себя и свое благополучие. Вы в этом совершенно правы, но только... Разве у нас вчера были какие-нибудь особенные «взрослые люди», а не самые обыкновенные? В общем, взрослые люди все таковы, и над этим стоит задуматься. Возьмите хоть такую вещь: среди ваших сверстников вы, наверное, уважаете множество лиц, среди «взрослых людей» лишь трех-четырех, и то вы их уважаете условно. Ведь правда?

— Совершенно верно.

— Ну вот. У меня тоже было много сверстников, заслуживавших глубокого уважения, а теперь... теперь они уважения не заслуживают. Какая этому причина? Та, что двадцать лет есть не тридцать и не сорок, больше ничего. Вам двадцать два года. Эко чудо, что у вас кровь кипит, что вам хочется подвигов, «грозы», самоотверженной деятельности, что вы жадно ищете знаний! В ваш возраст все это вполне естественно. Но это вовсе не дает вам права так презирать других людей и так уважать себя. Вот останьтесь таким до сорока лет, — тогда уважайте себя!

Сергей сдержанно возразил:

— Мне кажется, из ваших слов вытекает не этот вывод. Когда я *перестану* быть «таким», то я и должен перестать уважать себя.

— Нет, не то! Я говорю, что нужно иметь *право* предъявлять известные требования, хотя бы и самые законные, а вы такого права не имеете. Если десятилетний мальчик станет проповедовать взрослому человеку идеи «Крейцеровой сонаты», мне будет только смешно, хотя я могу вполне сочувствовать его проповеди. Как может он упрекать людей, если *физиологически* не способен понять, что такое страсть? Я буду слушать его и думать: погоди, брат, доживи до двадцати лет, и тогда мы тебя послушаем. То же самое и относительно вас: я думаю, вам с вашим презрением следовало бы подождать лет пятнадцать — двадцать.

Сергей, сторбившись, сидел на окне, раскачивал ногами и с любопытством смотрел на Токарева. Токарев взволнованно говорил:

— Жизнь человека, его душа — это страшная и таинственная вещь! За маленьким, узким сознанием человека стоят смутные, гро-

мадные и непреоборимые силы. Эти-то постоянно меняющиеся силы и формируют сознание. А человек воображает, что он своим сознанием формирует и способен формировать эти силы... В чем другом, но в этом, мне кажется, невозможно сомневаться, и с фактом этим приходится мириться. И я лично, напротив, глубоко преклоняюсь перед людьми, которых вы так презираете, — у них чувство долга по крайней мере хоть до известной степени регулирует и направляет эти темные силы. И тут нельзя говорить: либо все, либо ничего, а нужно быть глубоко благодарным просто за что-нибудь.

Сергей качал головою и смотрел взглядом, от которого Токареву было неловко.

— Как легко и уютно жить с такою моралью, — я вам положительно завидую! И других можно «глубоко уважать» за ломаный грош, да и... самому весь свой основной капитал можно ограничить таким же грошом.

Токарев решительно и быстро сказал:

— Ну, Сергей Васильевич, на личности, я думаю, можно бы и не переходить!

— То есть, позвольте! Вы же сами все вре-

мя доказываете, что мне всего двадцать лет. Вправе же и я сказать, что вам... перевалило за тридцать! — с усмешкою возразил Сергей.

— Да, мне перевалило за тридцать. Но что же из этого следует? К себе я могу и даже обязан предъявлять самые высокие требования, всю жизнь свою я могу оковать долгом. Но это не освобождает меня от обязанности относиться к другим терпимо и снисходительно. Я понимаю, что жить порядочным человеком не так легко, как птице петь песни. Кто с собою борется, кто старается не потерять из глаз идеала, заслуживает уважения, а не презрения. Я даже больше скажу: наша прямолинейная требовательность, наша ненависть к компромиссам тяжелым проклятием лежит на всей истории нашей интеллигенции. Это — специально русская черта, европейцу она совершенно непонятна. Лежит куча кирпичей. Европейец берет из нее, сколько в силах поднять, и спокойно несет к месту постройки. Русский следит за ним с презрительной усмешкой: смотрите, какой филистер, — несет всего дюжину кирпичей! Подходит русский богатырь и взваливает на плечи всю ку-

чу. Еле идет, ноги подгибаются, и он, наконец, падает, — надорвавшийся, насмерть раздавленный нечеловеческою тяжестью. Вот это герой!.. Подходит другой, пробует поднять ношу и опять-таки, конечно, всю целиком. Но у него не хватает сил. Что делать? Он в отчаянии стоит над тяжелою грудю: он не работник, он — лишний человек, — и пускает себе в лоб пулю. Ведь такое отношение к делу мы видим у нас во всем. У каждого над головою висит альтернатива: либо герой, либо подлец, — середины между этим для нас нет.

— Ну, теперь мне все совершенно ясно!.. О да! Удобнее всего, конечно, поместиться в центре вашей альтернативы. Дескать, ни герой, ни подлец. Заполучить тепленькое местечко в надежном учреждении и делать «по-сильное дело» — ну там, жертвовать в народную библиотеку старые журналы... — Сергей поднял на Токарева тяжелый взгляд. — Но неужели вы, Владимир Николаевич, не замечаете, что вы полный банкрот?

Варвара Васильевна в негодовании воскликнула:

— Сережа, это, наконец, гадко! Для чего ты

постоянно сейчас же сворачиваешь на личности?

— Черт возьми, да мне вовсе не интересен теоретический разговор! Все любящие папаши говорят то же самое! Меня все время интересует лишь сам Владимир Николаевич, о котором я раньше имел совершенно другое представление.

Токарев сдержанно сказал:

— Ну, знаете, в таком случае мы лучше прекратим разговор. — И он молча заходил по комнате.

Варвара Васильевна, потемнев, смотрела на Сергея и старалась остановить его взглядом. Сергей спокойно заговорил, как будто ничего не произошло:

— Разные бывают исторические эпохи. Бывают времена, когда дела улиток и муравьев не могут быть оправданы ничем. Что поделаешь? Так складывается жизнь: либо безбоязненность полная, либо — банкрот, и иди на смарку.

Токарев, напевая под нос, ходил по комнате. Он показывал, что не слушает Сергея и считает разговор конченным. Остальные то-

же молчали и с осуждением глядели на Сергея. Сергей зевнул, заложил руки за голову и потянулся.

Катя сказала:

— Сережа, осторожнее! Продавишь локтем стекло.

Сергей помолчал. Глаза заблестели странно и весело. Он высоко поднял брови, и лицо от этого стало совсем детским:

— А что, вышибу я сейчас стекло или нет?

— Ну, брат, пожалуйста! Чего доброго, ты и вправду вышибешь! — сказала Варвара Васильевна.

Сергей, все так же подняв брови, с выжидающею усмешкою глядел на Варвару Васильевну — и вдруг быстро двинул локтем. Осколки стекла со звоном посыпались за окно. Сырой ветер бешено ворвался в комнату. Пламя лампы мигнуло и длинным, коптящим языком забило в стекле.

— Господи, Сережа, ведь это же невозможно! — Варвара Васильевна поспешно схватила лампу и отодвинула в угол.

Токарев остановился, с недоумением оглядел Сергея и, пожав плечами, снова заходил

по комнате. Сергей со сконфуженною улыбкою почесал в затылке.

— Черт знает что такое! Для чего я это сделал?.. Ну, ничего, Варварка, не огорчайся! Мы сейчас все это дело поправим!

Он быстро выбросил в сад осколки стекла, взял с дивана порыжелую кожаную подушку и заставил окно.

— Видишь, еще лучше, — все-таки хоть немножко вентиляция будет происходить!

Вошла Конкордия Сергеевна и недовольно спросила:

— Что это у вас тут за война?

— Войны, мама, никакой не было. Это я хотел испытать, крепки ли у нас стекла в окнах. Оказывается, никуда не годятся, представь себе!

— Окошко разбил? Господи ты мой боже! Ну что это! — Конкордия Сергеевна, ворча, подошла к разбитому окну. — Словно мальчик какой маленький! Разыгрался!

Сергей обнял ее.

— Ничего, мама, завтра покрепче стекла вставим... А что, дашь ты нам попробовать пастилы, которую сегодня варила?

— Ишь увивается! — засмеялась Катя.

Конкордия Сергеевна с сердитою улыбкою ответила:

— Не будет тебе пастилы, не стоишь!.. Вы, детки, ступайте из столовой: вон как в окно дует, еще простудитесь!.. И как это так можно? Ведь стекло денег стоит! Не маленький, мог бы понять. Тридцать — сорок копеек надо отдать... Пастила еще не остыла, на холод поставлена.

Она ушла. Сергей молча постоял и тоже вышел. Токарев пожал плечами.

— Что за странный человек!

Катя с беспокойством взглянула на Варвару Васильевну и грустно сказала:

— Ему что-то сегодня не по себе. Я боюсь, — что, если с ним сегодня опять что-нибудь случится?

— Ужасно он нервный!.. Как бы вправду чего не случилось с ним! А тут еще ветер так фантастически гудит...

XII

Сергей вышел из столовой и медленно прошел через большую, темную залу в гостиную. В ней тоже было темно. Он постоял, по-

дошел к столу и сел в неудобное старинное кресло с выгнутой спинкой.

С самого утра им сегодня владела тупая, мутная тоска. Была противна погода, были противны вчерашние гости. Всего же противнее было то, что он не может стряхнуть с себя этой тоски. Раздражительная и злобная, она росла, вздымалась и охватывала, словно душевные испарения. С отвращением он наблюдал, как в душе шевелилась и дрожала темная, нервная муть, над которой он был не властен. Токарев сейчас тоже говорил о «смутных, неподвластных человеку силах, которые формируют сознание»... О, этот человек с отрастающим животиком и начинающеюся лысиною — он все сумеет повернуть на оправдание своей заплывающей жиром души... И Сергей гадливо морщился, что у него может быть хоть что-нибудь общее с этим человеком.

В большой, высокой гостиной было темно. Только светлели огромные окна. Ветер гудел не переставая, тучи быстро бежали над садом. Черные вершины деревьев бились и металась под ветром. Стеклянная дверь террасы

звякнула, ей в ответ слабо, болезненно зазвенела струна в рояле.

Сергей вздрогнул и оглянулся. Он услышал этот немолчный, глухой гул ветра. Гул был там, снаружи, а кругом притаилась тишина. Только стенные часы в зале как-то особенно громко тикали. Но в этой тишине все как будто живо и таинственно двигалось. Опять звякнуло стекло, что-то невидимое со вздохом пронеслось в темноте через комнату и исчезло за шкафом. Дверь в залу слабо скрипнула и зашевелилась. За окном, на фоне бледного ночного неба, как живая, испуганно билась ветка. Стало жутко. Сергей встал и вышел из гостиной, боясь оглянуться.

В столовой еще горел огонь. У стола, тихо разговаривая, сидели Токарев и Варвара Васильевна. Сергей прошел по коридору в комнату матери. Конкордия Сергеевна резала на блюде свежесваренную яблочную пастилу и укладывала ее в банки. У окна, заставленного бутылками с наливкою и ягодным уксусом, стояла Катя. Конкордия Сергеевна сказала:

— Ну вот, теперь вам всем до самых святок припасов хватит!.. Посмотри, Сереженька, ка-

кая пастила, — как янтарь! Попробуй-ка!

Сергей молча взял кусок и съел. Чтоб что-нибудь сказать, он спросил:

— А ветчину дашь?

— Как же! Сегодня утром четыре окорока отослала коптить в город... Ну, слава богу, все уложила!

Она стала увязывать банки. Катя с робким беспокойством украдкой следила за Сергеем. Конкордия Сергеевна говорила:

— Как ветер-то гудит!.. А рамы все в щелях, ни одна плотно не закрывается. На стеклах всю замазку галки оклевали... Да! Вот еще что, детки: колбасы я вам положу двух сортов — польские и просто жареные. Жареные вы ешьте раньше, они скоро портятся. Их можно есть холодными, но если разогреть, то, конечно, будет вкуснее. Ешьте с горчицей, это будет здоровее для желудка.

Сергей с неподвижными глазами постоял еще немного и молча вышел. Катя спросила:

— Сережа, ты куда идешь?

— Наверх, к себе.

— Можно с тобой?

Сергей заметил ее любящий, полный бес-

покойства взгляд и резко сказал:

— Что тебе там надо?

Катя замолчала.

Сергей вышел из комнаты, прошел темный коридор, переднюю и по узкой, крутой лестнице поднялся в мезонин.

Наверху было темно. Но в этой темноте так же, как в гостиной, все жило и двигалось. Ветер в саду гудел глухо и непрерывно, то усиливаясь, то ослабевая. На дворе отрывисто лаяла собака, словно прислушиваясь к собственному лаю, и заканчивала протяжным воем. Полуоторванный железный лист звякал на крыше сарая. Сергей остановился посреди комнаты. Он медленно дышал и пристально вглядывался в темноту.

Снаружи что-то невидимое зашуршало по стене и быстро пронеслось перед окнами. В углу у окна раздалось слабое, жалобное гудение. Это гудение постепенно становилось все громче. Снова что-то с шумом пронеслось за окнами, ветер яростно налетел из сада на дом. Стена затрещала. А в углу ныло все сильнее, отчаяннее. Теперь там ясно слышались живые, как будто человеческие стоны. Сергей

осторожно вглядывался в угол и вдруг заметил, что в правом окне створки как-то странно звучат — слабо, порывисто и неправильно. Как будто кто-то подлетел снаружи и старался открыть окно, нетерпеливо ерзая по переплету. Сергей широко открытыми глазами вглядывался в окно, — и вдруг, вздрогнув, отскочил назад, — в щелку рамы раздался злобный, шипящий свист.

Задыхаясь, Сергей успокаивал себя:
— Это — ветер!

А снаружи бешено выло и свистало, стена колебалась... И вдруг сразу все оборвалось и замолчало. Только далеко гудел сад — глухо, утомленно.

Стало тихо. Смутный ужас все сильнее охватывал Сергея. Среди мертвой тишины, сзади, в темном углу, кто-то невидимый спокойно сплюнул. Сергей быстро обернулся: это капнула на пол капля из рукомоЙника, под который забыли подставить таз. Опять что-то легкое пронеслось за окнами, и опять слабо, чуть слышно заныло в углу. Гул сада рос, усиливался, становился ближе. Как будто могучая сила неслась из сада на дом. Со всех сто-

рон поплыли странные, неясные звуки, и Сергей уж не успевал их объяснить. Окружающее принимало необычный, сверхъестественный характер. У окна слабо шевелилось что-то серое, волнующееся. Сзади кто-то тяжело дышал. В темноте быстро проносились синеватые искры.

Теснило грудь, не хватало дыхания. Ужас — безумный, нерассуждающий и тянущий к себе — оковал Сергея. И казалось ему, — стоит шевельнуться, и случится что-то неслыханное, и он, потеряв разум, полетит в темную, крутящуюся бездну.

XIII

Токарев и Варвара Васильевна сидели вдвоем в столовой. Лампа освещала скатерть и неприбранные тарелки с объедками. В саду бушевал ветер. В разбитое окно, заставленное подушкой, дуло сырым холодом. Варвара Васильевна говорила:

— Вы сказали тогда, что за маленькою душою человека стоят смутные и громадные силы, которые делают с нами, что хотят. Это так страшно и, кажется... такая правда!

Она помолчала и, пересиливая себя, заго-

ворила опять:

— Я уж несколько лет замечаю это на самой себе. Что такое делается? Во мне все словно сохнет, как сохнет ветка дерева. Ее форма, весь наружный вид — все как будто остается прежним, но в ней нет гибкости, нет жизни, она мертва до самой сердцевины. Вот так и со мною. Как будто ничего не изменилось. Взгляды, цели, стремления — все прежнее, но от них все больше отлетает дух...

Токарев медленно расхаживал по комнате и с удивлением слушал. Он никак не ожидал, чтоб Варвара Васильевна переживала что-нибудь подобное. От ее признаний ему становилось легко и радостно, и Варвара Васильевна делалась ближе.

— И что делать, чтоб удержать прежнее? Я бы ни перед чем не остановилась. Но оно прошло, и его не воротишь. Нет желания отдать себя всю, целиком, хотя вовсе собою не дорожишь. Нет ничего, что действительно серьезно бы захватывало, во что готова бы вложить всю душу. Я знаю, в этом решение всех вопросов, счастье и жизнь, но только во мне этого нет, и я... я не люблю людей, и ничего не люб-

лю! — Она со страхом взглянула на Токарева.

Токарев, широко раскрыв глаза, молча ходил. Он ждал, чтоб Варвара Васильевна продолжала, — так странно было слышать от нее это признание. Но, опустив голову, она молчала.

Токарев остановился перед нею и медленно заговорил:

— Вы не любите людей... Я не знаю, кто же тогда может сказать, что любит? Мне кажется, вы предъявляете к себе уж слишком преувеличенные требования. Вы хотите каждого, первого встречного человека любить горячо, так сказать, «конкретно», как близкого, — это прямо невозможно. Возьмите такой случай. Я иду ночью по глухой улице и слышу крики: «Караул!» Если я знаю, что это кричит, положим, любимая мною девушка, я все забуду и брошусь на помощь. Если же это так, неизвестно, кто кричит, то пойду я очень неохотно, может быть, даже постараюсь пройти в сторонке незамеченным.

Варвара Васильевна удивленно взглянула на Токарева. Он как будто не заметил ее удивления и постарался осторожно сгладить впе-

чатление от своего признания

— Допустим для ясности, что я даже на это способен, — допустим, что я прошел бы мимо. Все-таки это еще ничего не доказывает; на страдания чужого человека невозможно отзываться так же горячо, как на страдания близкого. Но значит ли это, что я не люблю людей? Мне дорого все хорошее, я горячо радуюсь тому, что приносит людям пользу и счастье, негодую на то, что их давит и делает несчастными; при устройстве моей личной судьбы я руководствуюсь не собственными выгодами, а тем, чтоб мое дело было по возможности полезно для людей. Разве бы все это было возможно, если бы мне до других не было дела?

Варвара Васильевна молчала. Токарев прошелся по комнате.

— И главное — вам, *вам* обвинять себя в равнодушии к людям!.. Эх, Варвара Васильевна! Ну, ответьте по совести: если бы нужно было умереть за какое-нибудь хорошее дело, — вы-то не пошли бы? Да я голову даю на отсечение, что оказались бы в первых рядах.

С бледною улыбкою Варвара Васильевна

ответила:

— Нет, я пошла бы... Именно потому, что требовалось бы умереть.

Токарев опустил голову. Жуткое прошло у него по душе — жуткое и от смысла ее слов, и что она в этом признавалась. Он почувствовал, что дальше в их разговоре не будет лжи, что и он будет говорить всю правду, какова бы она ни была. Ветер бешеным порывом налетел из сада и зазвенел в стеклах окон.

Токарев с усилием сказал:

— А что такая холодная любовь, о которой я говорю, не может наполнить жизни — это, конечно, верно. Говоря правду, со мною происходит то же, что с вами, только еще в большей мере. Вы вот сейчас, кажется, удивились, когда я сказал, что, слыша крики о помощи, я может быть, прошел бы мимо. А я чувствую себя даже на это способным. Помните, вы тогда в больнице пошли ночью напоить бешеного мужика? Я неправду сказал, что не знал, гожусь ли я вам в помощники, — я просто боялся пойти

Варвара Васильевна смущенно и растерянно подняла глаза и сочувственно закивала го-

ловую, как бы боясь, чтоб Токарев не подумал, что она осуждает его. Радуюсь возможности говорить все, не встречая осуждения, он продолжал:

— Мне вообще тяжело и заглядывать в себя. Я вижу, во мне исчезает что-то, исчезает страшно нужное, без чего нельзя жить. Гаснет непосредственное чувство, и его не заменить ничем. Я начинаю все равнодушнее относиться к природе. Между людьми и мною все выше растет глухая стена. Хочется жить для одного себя... Я вот теперь много думаю и читаю по этике, стараюсь философски обосновать мораль, конструирую себе разные «категории долга». Но в душе я горько смеюсь над собою: почему раньше мне ничего такого не было нужно? Заметили ли вы, что вообще у людей действующих мораль поразительно скудна и убога? А вот, когда человек остывает, тут-то и начинаются у него настойчивые мысли о морали, о долге. И чем больше он остывает, тем возвышеннее становится его мораль и ее обосновка. Долг, долг!.. Всегда, когда я говорю или думаю о нем, у меня в глубине души начинает беспокойно копошиться

стыд. Как будто я собираюсь начать игру с фальшивою колодою карт. Долг тащит человека туда, куда он не хочет идти сам. Но человек хитрее стоящего над ним долга и в конце концов заставляет его тащить себя как раз туда, куда ему хочется. Пройдет десять лет, — я буду видеть долг в том, чтоб не ссориться с женою, чтоб пожертвовать десять рублей на народную библиотеку или отказаться от третьего блюда в пользу голодающих. Пройдет еще десять лет, начнет стареть тело, — и я создам себе долг из того, чтоб отказаться от табаку, от вина, стать вегетарианцем...

И ведь ужасно то, — я знаю, это так и будет! И я буду искренно уважать себя за то, что по мере сил исполняю возложенный на себя долг

Варвара Васильевна, сдвинув брови, задумчиво собирала ножом хлебные крошки. Токарев тихо говорил:

— Я из всего этого не вижу никакого выхода. Умерло непосредственное чувство, — умерло все. Его нельзя заменить никаким божеством, никакими философскими категориями и нормами, никакими «я понял». Раз же

это так, то, конечно, вы в сущности правы: для чего оставаться жить? Не для того же, в самом деле, чтоб бичевать себя и множить число «лишних людей»...

— Да. И хорошо тем, о ком некому печалиться.

Они становились все ближе друг к другу. С отдающим доверием сообщницы Варвара Васильевна взглянула на Токарева и сказала:

— И удивительная у меня организация! Никакая болезнь ко мне не пристает. Как-то раз на вскрытии Алексей Михайлович, доктор наш, говорит мне: осторожнее вскрывайте труп, больной умер от гнилокровия. А я порезалась... — Она показала большой красный рубец на левой ладони. — И хоть бы что! Через две недели все зажило. Другой раз смазывала я зев дифтеритному ребенку; дифтерит был очень тяжелый, гангренозный; ребенок закашлялся и брызнул мне слюною в глаза; на этот раз, конечно, все вышло нечаянно. Я сейчас же не успела промыть глаз, — и все-таки ничего!

Высоко подняв брови, Токарев неподвижно глядел на Варвару Васильевну. «На этот

раз, конечно, нечаянно»... Значит, в первый раз было не нечаянно?.. Так вот на что способна она, всегда такая ровная и веселая! Стало страшно от мыслей, которые он только что высказывал с таким легким сердцем. Сидевшая перед ним девушка вдруг стала ему чуждой, чуждой...

Он несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился перед Варварой Васильевной и изменившимся голосом заговорил:

— Все-таки мне кажется, что вы меньше всех других имеете право так поступать. Вам жить тяжело, это я теперь вижу. Но я слышал, как восторженно отзываются об вас все, с кем вы сталкиваетесь, вижу, каким светлым лучом вы везде являетесь... Какое вы имеете право уходить из жизни только потому, что вам самой тяжело? Неужели это не самый грубый эгоизм?

Варвара Васильевна пугливо взглянула на него и опустила глаза, жалея, что проговорились. А он смотрел на ее красивый, благородный лоб, на мягкие и густые русые волосы, — и рыданья забились в груди.

В столовую вошла Катя.

— Варя, пойдём спать! Уж первый час.

Варвара Васильевна быстро встала.

— Верно, пора! Пойдем!

— Как этот ветер неприятно действует на нервы! — Катя нервно повела плечами. — Мне просто жутко идти спать одной. Послушайте-ка, как гудит!

Непрерывный гул стоял над садом — странный, зловещий и сухой, как только осенью деревья шумят. Ветер порывами пронёсся за темными окнами; стволы лип скрипели; в печной трубе слышался шорох.

Вдруг наверху, над потолком, раздался глухой стук, как от падения человеческого тела. Потом застучали ноги об пол, и упало еще что-то тяжелое. Катя быстро подняла голову и нервно вскрикнула:

— Что это там?!

Опять что-то глухо стукнуло над потолком, и послышались странные звуки — не то смех, не то плач. Ветер сильнее завыл за окном. Катя вдруг разрыдалась.

— Варя, голубушка, это что-то с Сережей наверху! Он с утра был странный... Скорее пойдёмте!.. Господи, что с ним такое?!

Варвара Васильевна вздрогнула.

— Да ну, Катя, что это?.. Что с ним может случиться!

Катя заливалась слезами и твердила:

— Нет, нет, пойдите скорее!.. Владимир Николаевич, подите, посмотрите, что с ним такое!..

Все вышли в переднюю.

XIV

Токарев и Варвара Васильевна стали подниматься по крутой скрипучей лестнице. Было темно. Токарев зажег спичку. Вдруг дверь наверху быстро распахнулась, и на пороге появилась белая фигура Сергея в нижнем белье. Волосы были всклокочены, глаза горели диким, безумным ужасом.

— О-о-о-о-о-о-о!! — кричал он непрерывным, рыдающим воем. — Что тебе тут нужно? Во-он!! Черти!..

Варвара Васильевна громко сказала:

— Сережа, что с тобою? Стыдись!

Сергей, согнувшись, держался руками за косяк двери, глядел пристальным, безумным взглядом в глаза Токареву и бессмысленно был.

— Да ну, успокойтесь же, Сергей Васильевич! Что это, в самом деле! Как вам не стыдно? — Токарев шагнул вперед.

Сергей вздрогнул, как будто наступил на змею.

— Вон!!! — завопил он и судорожно затопал ногами.

Спичка погасла в руках Токарева.

— Сереженька! — услышал он за собою робкий, плачущий голос Конкордии Сергеевны. — Ох, Владимир Николаевич, голубчик мой, что это с ним?

Дверь наверху захлопнулась.

— Помогите мне взойти!.. Ох!.. Не видно ничего, темно!.. Что это с ним такое?.. Варенька, ты это? Что с ним?

Конкордия Сергеевна поднималась по лестнице, оступаясь в темноте. У Токарева спичек в коробке больше не было. Варвара Васильевна сказала:

— Принесите скорее свечку!

Токарев поспешно спустился вниз. В передней горела лампа. Катя, схватившись за голову и склоняясь над столом, истерически рыдала.

— Ну, что Сережа?

— Добудьте скорее свечку! — Токарев был бледен, нижняя челюсть его дрожала.

— Да вот, возьмите лампу, она здесь не нужна.

— Лампу страшно: вышибет из рук, — еще пожару наделает.

Катя побежала за свечкой. Токарев остановился у стола. Ветер выл на дворе. В черном окне отражался свет лампы. На газетном листе желтел сушившийся хмель. Прусак пробежал по столу, достиг газетного листа, задумчиво пошевелил усиками и побежал вдоль листа к стене.

Катя принесла свечку. Токарев поднялся наверх. Сергей лежал на кровати, закутавшись в одеяло и повернувшись лицом к стене. Над ним склонилась Конкордия Сергеевна, плакала и утирала глаза платком.

— Сереженька, родной мой! Скажи мне, что с тобою?

Сергей, не поворачивая головы, отрывисто ответил обычным своим голосом:

— Да пустяки, ничего не было!

— Варенька, милая, дай ему каких-нибудь

успокоительных капель!.. Это ты себе нервы расстроил. Говорила я тебе: не занимайся так много. Сидишь по ночам, вот и досиделся...

Конкордия Сергеевна, всхлипывая, подошла к заваленному книгами столу. Варвара Васильевна шепнула:

— Сережа, выпей чего-нибудь, чтобы успокоить маму. Я тебе принесу.

Сергей молча кивнул головою. Варвара Васильевна пошла вниз.

— Вон сколько книг... Господи! Да ведь это совсем голову себе испортишь! Ну, почитал немножко — и довольно, отдохни. А то ведь день и ночь, всё книги и книги...

Сергей, не шевелясь, лежал на постели. Вошла Варвара Васильевна с раствором бромистого калия. Она весело сказала:

— Ну, вот тебе и успокоительные капли!.. Сережа, пей!

— Ты бы еще, Сереженька, лед себе на голову положил, — говорила Конкордия Сергеевна. — Я сейчас велю Дашке наколоть.

Токарев рассмеялся.

— Да полноте, Конкордия Сергеевна! Какой там лед! Оставьте его спать!

— Ну, спи, голубчик! Господь с тобою!

Она неуверенно подошла к Сергею, перекрестила его и поцеловала. Сергей поморщился и закутался в одеяло.

Конкордия Сергеевна и Варвара Васильевна ушли. Токарев перешел со свечою во вторую, свою комнату. Он почувствовал себя одиноким, стало немного страшно. Взял книгу и сел к столу так, чтоб дверь в соседнюю комнату была на глазах.

Он скользил взглядом по строкам, но ничего не понимал. Сергей в соседней комнате заворочался на постели.

— Однако же и дозу закатила мне Варька!.. Что это, бром?

— Да. Ничего, что много. Лучше подействует.

Стало не так страшно.

— Соленый какой! Теперь, я знаю, на несколько дней раскиснешь. Помню, раз пришлось принять, — три дня после этого голова как будто тряпками была набита... — Сергей помолчал и сконфуженно усмехнулся. — Черт знает что я такое выкинул!

Токарев вошел в его комнату.

— Как вы себя теперь чувствуете?

— Ничего, — неохотно ответил Сергей и замолчал. — А хорошо, что вы тогда на лестнице еще одного шагу не сделали Я бы вас, ей-бог, задушил!

— Ну, уж задушили бы, — улыбнулся Токарев и почувствовал, что бледнеет.

В глазах Сергея мелькнул насмешливый огонек, и Токарев заметил это.

Внизу, на лестнице, раздался шорох и тихий скрип ступеней. Сергей вздрогнул и быстро поднялся на постели.

— Что там еще такое?! — Глаза его снова странно загорелись.

Очевидно, Конкордия Сергеевна или Катя подслушивали, что делается с Сергеем. Токарев взял свечку и пошел, чтобы попросить их уйти. Но только он ступил на лестницу, как Сергей неслышно вскочил с постели и скользнул в комнату Токарева. Токарев повернул назад. На пороге он столкнулся со спешившим обратно Сергеем. Взгляды их встретились. Сергей быстро отвернул лицо и снова лег в постель. С сильно бьющимся сердцем Токарев вошел в свою комнату и подозре-

тельно огляделся. Что тут нужно было Сергею? Что он взял?

Стало безмерно страшно. Захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь. Он сел к столу и не спускал глаз с черного четырехугольника двери. В соседней комнате было тихо. За окном гудел сад, рамы стучали от ветра... Сергей, может быть, взял здесь нож. Все это боги знают, чем может кончиться! Хорошо еще, что бром он принял: бром — сильное успокаивающее, через полчаса уж не будет никакой опасности.

Сергей заворочался на постели, деревянная кровать под ним заскрипела. Токарев насторожился. Снова все стихло. Токарев курил и думал, — как ему поступить, если Сергей бросится на него: покорно ли, с кроткою улыбкою отдаться в его руки или грозно крикнуть на него, обуздать его силою психического влияния?

Часы шли. Токарев непрерывно курил. Иногда ему казалось, что Сергей заснул, — из соседней комнаты доносилось мерное, спокойное дыхание. Но вскоре Сергей опять начинал ворочаться, и кровать под ним скрипе-

ла. Токарева сильно клонило ко сну. Голова опустилась, мысли стали мешаться. Вдруг он вздрогнул и быстро поднял голову, — он ясно как будто почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд... Кругом все было по-прежнему. Из соседней комнаты доносилось храпение Сергея. На дворе светало.

Токарев облегченно вздохнул и поднялся. В комнате было сильно накурено. Он осторожно открыл окно на двор. Ветер утих, по бледному небу плыли разорванные, темные облака. Двор был мокрый, черный, с крыш капало, и было очень тихо. По тропинке к людской неслышно и медленно прошла черная фигура скотницы. Подул ветерок, охватил тело сырым холодом. Токарев тихонько закрыл окно и лег спать.

XV

Утром Сергей, как ни в чем не бывало, зашел за книги. За завтраком он был молчалив и сконфуженно смотрел в тарелку. На него внимательно поглядывали украдкой, но никто не говорил о случившемся.

Токарев после всего вчерашнего чувствовал себя, как в похмелье. Что это произошло?

И разговоры Сергея, и признания Варвары Васильевны, и припадок Сергея — все сплошь представлялось невероятно диким и больным кошмаром. И собственные его откровенности с Варварой Васильевной, — он как будто высказал их в каком-то опьянении, и было стыдно. Что могло его так опьянить? Неожиданная откровенность Варвары Васильевны? Этот странный гул сада, который напрягал нервы и располагал к чему-то необычному, особенному?

Между ним и Варварой Васильевной легло что-то, и они не смотрели друг другу в глаза. Вечером, перед ужином, Токарев пошел к себе наверх за папиросами. Он поднимался по скрипучей лестнице. Сквозь маленькое оконце падал лунный свет на крутые, пыльные ступеньки.

И вдруг вспомнилось, как вчера быстро распахнулась наверху дверь, как на пороге с диким воплем заметалась страшная фигура Сергея. Вспомнился его горящий ужасом взгляд, судорожный топот... Сердце неприятно сжалось, и, стараясь не вспоминать о вчерашнем, Токарев вошел наверх.

Но, раз вспомнив, он уже не мог отогнать воспоминаний. Смутный, неясный страх вился вокруг и незаметно охватывал его. Все окружающее становилось необычным. Месяц светил в окна, мертвенный свет двумя косыми четырехугольниками ложился на пол. В полумраке комнаты пряталась странная, пристальная тишина. Токарев неподвижно остановился посреди комнаты. Он чувствовал, — раздайся сейчас неожиданно громкий крик или стук, — и с ним произойдет то же, что вчера было с Сергеем. Он так же затопаёт, с тем же диким воплем бросится куда-то...

В углу около шкафа что-то смутно забелело. Дыхание стеснилось. Токарев стал пристально вглядываться. Он сразу понял, что это висит полотенце на ручке кресла. Но его тянуло вздрогнуть, тянуло испугаться. И Токарев стоял и неподвижно вглядывался в белешее пятно, словно ждал, чтоб что-нибудь дало толчок его испугу.

«Что это со мною?» — вдруг подумал он, громко рассмеялся, подошел к креслу и сдернул полотенце.

Страх исчез. Но оставаться наверху все-та-

ки было неприятно, и он вышел вон.

В полутемной передней сидела деревенская баба в зипуне. Варвара Васильевна, весело разговаривая, перевязывала ей на руке вскрытый нарыв. Пахло карболкою и йодоформом. Токарев прошел через залу, где Дашка накрывала стол к ужину, и в темной гостиной сел к роялю.

Он сидел, брал одною рукою медленные, тихие аккорды и задумчиво смотрел в темноту.

Какое у Варвары Васильевны было сейчас спокойное, веселое лицо... Да уж не сон ли то, что он слышал от нее вчера, в этот страшный вечер? И всегда она такая, как теперь, — ровная, спокойная, как будто вся на туго натянутых вожжах. Токареву становилось страшно — страшно от глубины и безбоязненности той тайной драмы, которую так невидно переживала в душе Варвара Васильевна...

Через пять дней срок отпуска Варвары Васильевны кончился. Она уехала в Томилиnsk. С нею вместе уехала в гимназию Катя. Сергей решил остаться в деревне до половины сентября, чтоб лучше поправиться от нервов.

Он каждое утро купался, не глядя на погоду, старался побольше есть, рубил дрова и копал в саду ямы для насадок новых яблонь.

Прошла неделя. Токарев поехал в гости к Будиновским. Они встретили его очень радушно, отправили лошадей обратно и продержали его у себя три дня. 30 августа, на Александра Невского, Токарев в легкой пролетке Будиновского возвращался обратно в Изворовку. Был ясный осенний день. Пролетка быстро и мягко катилась по накатанной дороге. Токарев откинулся на спинку сиденья и дышал чистым, бодрящим воздухом осени. На душе было легко, в голове приятно шумело от выпитого за завтраком рейнвейна. И с улыбкой он вспоминал милые упрашивания Марьи Михайловны пить побольше.

— Ну, Владимир Николаевич, выпейте еще стаканчик! Ведь это вино совсем слабенькое! Вы знаете, как об нем говорят немцы: «Рейну много, вейну мало»...

Вспоминал он свои обсуждения с Будиновским его проекта открытия в Томилинке общественной библиотеки-читальни. Вспоминал комфортабельную, чистую обстановку Бу-

диновских... Какая у них здоровая, уютная и радостная жизнь!.. Токарев был доволен, что у него в Томилинске будут такие милые, симпатичные знакомые, и думал о том, что влиятельный Будиновский может оказаться очень ему полезным.

По чистому, глубоко синему небу плыли белые облака. Над сжатыми полями большими стаями носились грачи и особенно громко, не по-летнему, кричали. Пролетка въехала на гору. Вдали, на конце равнины, среди густого сада серел неуклюжий фасад изворовского дома с зеленовато-рыжею, заржавевшею крышею. С странным чувством, как на что-то новое, Токарев смотрел на него.

Там, под этою крышею, растут тяжелые, мучительные душевные драмы. С апломбом предъявляются к людям ребячески-прямолинейные требования, где каждый человек должен быть сверхъестественным героем. То и другое переплетается во что-то безмерно-болезненное и уродливое, жизнь становится трудно переносимою. А между тем ведь вот живут же люди легко и счастливо, без томительного надсада. И это не мешает им, по ме-

ре возможности, работать на пользу других... Но у нас, русских, такая посильная работа увенчивается только презрением. Если ты, как древний мученик, не отдаешь себя на растерзание зверям, если не питаешься черным хлебом и не ходишь в рубище, то ты паразит и не имеешь права на жизнь.

Кучер в синей рубахе и бархатной безрукавке подкатил к крыльцу. Токарев слез, дал ему рубль на чай и вошел в дом. В передней накидок и шляпок на вешалке было больше обычного. Дашка сообщила, что на два дня праздника приехала из Томилинска Катя, а с нею — Таня и Шеметов.

Токарев прошел к себе наверх умыться и переодеться. Он не был рад приезду гостей. Опять повеет этим духом молодого задора и беспечной прямолинейности — духом, который был ему теперь прямо неприятен.

Он напился кофе, поговорил с Конкордией Сергеевной и пошел в сад. Солнце клонилось к западу, лужайки ярко зеленели; от каждой кочки, от каждого выступа падала длинная тень. Во фруктовом саду, около соломенного шалаша, сторожа варили кашу, синий дымок

вился от костра и стлался между деревьями.

Сергей притащил к пруду в подоле рубашки яблок и груш. Компания расположилась на берегу и уписывала фрукты. Токарев подошел, поздоровался. Таня быстро встала и отвела его в сторону — оживленная, радостная.

— А знаешь, Володя, я таки устроила Варинно дело!

— Да ну?

— Помнишь, мы тогда у Будиновских встретились с Осьмериковым. Учитель гимназии, ушастый такой, — еще ужасно ненавидит одаренных людей. Пошла к нему в гости и убедила, что Варя совершенно удовлетворяет его идеалу труженика, что нельзя ей позволить оставаться фельдшерицей. А он хорош с председателем управы. Словом, Варю отправляют на земский счет в Петербург в женский медицинский институт! Понимаешь? Пять лет в Петербурге!

— Ну... преклоняюсь перед тобою! Это действительно очень хорошо!

— Вот ты все преклоняешься и преклоняешься, а сам ничего не хотел сделать. Все — «неловко» да «с какой стати».. Ужасно вообще

ты стал какой-то... неподвижный. А уж ты бы, со своею солидною фигурою, мог гораздо скорее добиться всего. На меня как взглянет солидный человек, так сразу почувствует ненависть... Вообще я своим пребыванием в Томилинке очень, очень довольна. И люди есть, и всё. Стоит только поискать... Если бы не нужно было ехать в Питер, обязательно бы осталась здесь...

Сергей стоял на коленях перед грудой фруктов. Он крикнул:

— Владимир Николаевич, возьмите груш! Смотрите, какие, — что твой дюшес!

Токарев и Таня подошли к остальным. Таня сказала:

— Да, Володя, вот что! Ты все-таки поговори об этом деле с Будиновским, чтоб и он со своей стороны посодействовал. Ты с ним, кажется, хорош...

— Приятелями стали! — с легкою улыбкою заметил Сергей.

Токарев холодно ответил:

— Не вижу ничего позорного быть его приятелем. По-моему, он очень дельный и симпатичный человек.

— Я против этого не спорю. Но только, при всей своей симпатичности, он всегда как-то... умеет прекрасно устраиваться. И жить со всеми в ладу. Мне это не нравится.

Токарев начал раздражаться.

— Скажите, пожалуйста, что же в этом плохого? Почему дельный человек непременно должен жить в грязной собачьей конуре и хватать зубами за ноги каждого проходящего?

Сергей лениво потянулся.

— Совсем этого не нужно. А вот это действительно нужно, — чтоб для дельного человека дело было его жизнью, а не десертом к сытному обеду. Для Будиновского же жизнь — в уюте и комфорте, а дело — это так себе, лишь приятное украшение жизни. Скажите, пожалуйста, чем этот тепленький человек жертвует для своего «дела»? За это я по крайней мере ручаюсь, что ни одной из своих великолепных латаний он за него не отдаст. А мотив, конечно, будет очень благородный: «На меня и так все косятся»... Только поэтому он и не хочет, — не хочу делу повредить, а то бы рад всею душою... И подумаешь, — кто на

него косится!.. Ведь какое вообще характерное явление для нашей жизни такие люди! Чуть что, — сейчас: ах, боже мой, поосторожнее! вы нам по-мешаете!.. Брр! Лучше мерзавцы, чем все эти смиренные и благонамеренные либеральные господа!

— Это, разумеется, дело вкуса, — иронически процедил Токарев. — Я же лично думаю, что именно эти смиренные и блестящие «господа» вынесли и выносят на своих плечах всю великую культурную работу, которою жива страна. И далеко до них не только мерзавцам, а и всякого рода «героям», которые больше занимаются лишь пусканием в воздух блестящих фейерверков, — резко закончил Токарев.

Таня подняла брови, с удивлением приглядывалась к брату. Шеметов встал. Он пренебрежительно отвернулся от Токарева и ворчливо сказал:

— Будет, Сережка, спорить! Можно найти дело поинтереснее!

— Верно!.. — Сергей вскочил на ноги. — Давайте, господа, покатаемся на лодке.

К мосткам была привязана большая, старая, насквозь прогнившая лодка, вполовину

залитая водой. У Тани весело загорелись глаза.

— Давайте!

Токарев возмутился.

— Ну, Таня, посмотри же, какая лодка! Ведь она совсем гнилая!

— Что ж такое? Еще приятнее... Сашка, Катюха, едем! — крикнул Сергей и прыгнул в лодку.

Лодка тяжело закачалась, на ее дне с шумом забегала вода.

Таня и Шеметов со смехом сошли в лодку. Катя, волнуясь и стараясь побороть страх, спустилась за ними.

Сергей с насмешливым ожиданием глядел на Токарева.

— Владимир Николаевич, едем!

— Благодарю покорно, мне купаться не хочется! — с усмешкою ответил Токарев.

Стоя на почерневших, склизких перекладах, они оттолкнулись от берега. Лодка накренилась то вправо, то влево, вода в ней плескалась. Сергей вложил в ключины мокрые, гнилые весла и начал грести.

Лодка выплыла на середину пруда. Солнце

садилось, багровые облака отражались в воде красным огнем Шеметов, стоя на корме, запел вполголоса:

*Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны,
На переднем Стенька Разин.*

— Что же это лодка не тонет? — с любопытством спросил он. — Странно! Должна бы знать, что по законам физики ей давно следует пойти ко дну... Ну ты, шалава! — крикнул он и качнул лодку.

Катя, придерживая рукой юбку, засмеялась, стараясь не показать, что ей страшно.

Токарев сидел на берегу, возмущенный и негодующий. Какая глупость! Пруд очень глубокий, вода холодна. Если лодка затонет, то выплыть на берег одетым вовсе не просто, и легко может случиться несчастье. Это какая-то совсем особенная психология — без всякой нужды, просто для удовольствия, играть с опасностью! Ну, ехали бы сами, а то еще берут с собою этого ребенка Катю...

На пруде раздались крики и смех. У Сергея

сломалось весло. Сильный и ловкий, в заломленной на затылок студенческой фуражке, он стоял среди лодки и греб одним веслом. Лодка с каждым ударом наклонялась в стороны и почти достигала бортами уровня воды.

И они плыли вперед, веселые и смеющиеся. Токарев с глухою враждою следил за ними. И вдруг ему пришла в голову мысль: все, все различно у него и у них; души совсем разные — такие разные, что одна и та же жизнь должна откликаться в них совсем иначе. И так во всем — и в мелочах и в самой сути. И как можно здесь столкнуться хоть в чем-нибудь, здесь, где различие — не во взглядах, не в логике, а в самом строе души?

Горничная Дашка появилась на горе и крикнула:

— Сергей Васильевич! Барыня зовут!.. Поскорей! Поскорее все идите!

— Что там такое?

— Телеграмма из города пришла... Поскорее, барыня зовут! Идите, я в ригу побегу за баринном!..

Конкордия Сергеевна, бледная, с замершим от горя лицом, сидела в спальне и непо-

движно глядела на распечатанную телеграмму. В телеграмме стояло:

«Приезжайте поскорее. Варенька опасно больна.

Темпераментова».

XVI

В тот же вечер все приехали в Томилинск. Доктор, взволнованный и огорченный, сообщил, что Варвара Васильевна, ухаживая за больными, заразилась сапом.

— Сапом?.. — Конкордия Сергеевна растерянно глядела на доктора остановившимися глазами. — Это... это опасно?

Доктор грустно ответил:

— Очень опасно.

Варвара Васильевна лежала в отдельной палате. На окне горел ночник, заставленный зеленою ширмочкою, в комнате стоял зеленоватый полумрак. Варвара Васильевна, бледная, с сдвинутыми бровями, лежала на спине и в бреду что-то тихо говорила. Лицо было покрыто странными прыщами, они казались в темноте большими и черными. У изголовья сидела Темпераментова, истомленная двумя

бессонными ночами. Доктор шепотом сказал:
— Побудьте, господа, немного и уходите.
Не нужно долго оставаться.

Жалким, покорно-молящим голосом Конкордия Сергеевна возразила:

— Милый доктор, я... я не уйду отсюда... хоть казните меня... — Глаза ее были большие-большие и светлые.

Доктор вышел. Токарев нагнал его.

— Скажите, доктор, есть какая-нибудь надежда?

Доктор хотел ответить, но вдруг лицо его дернулось, и губы запрыгали. Он глухо всхлипнул, быстро махнул рукою и молча пошел по коридору.

Утром Варвара Васильевна пришла в себя, весело разговаривала с матерью, потом заснула. После обеда позвала к себе Токарева и попросила всех остальных выйти.

Токарев сел в кресло около постели. Варвара Васильевна с желтовато-серым, спавшимся лицом, усеянным зловещими прыщами, поднялась на локоть в своей белой ночной кофточке.

— Владимир Николаевич, я вам хотела ска-

зять... Я третьего дня написала директору банка и напомнила ему его слово, что он примет вас на службу... Он ко мне хорошо относится, я была при его дочери, когда она была больна дифтеритом... Он сделает...

Токарев страдальчески поморщился

— Варвара Васильевна, ради бога, оставьте вы об этом!

— Да... И потом еще вот что... — Она подняла мутные глаза, и в них было усилие отогнать от мозга туман бреда. — Да!.. Что я еще хотела сказать?

Варвара Васильевна нетерпеливо потерла руки и забежала взглядом по комнате.

— Вот что! — Она помолчала и в колебании взглянула на Токарева. — Дайте мне честное слово, что вы никому не станете рассказывать о нашем разговоре, — помните, тогда вечером, в Изворовке, когда с Сережей сделался припадок?

Токарев вздрогнул и стал бледнеть. Варвара Васильевна волновалась все больше. Она повторяла в тоске:

— Слышите, Владимир Николаевич, — честное слово, никому!..

Токарев сидел смертельно бледный, с остановившимся дыханием.

— Хорошо, — медленно сказал он и замолчал. И продолжал сидеть — бледный, с широко открытыми глазами. И голова его тряслась.

— Видите, маме этого... Что я хотела сказать? Да!.. Надо выписать сто граммов хлороформу, пожалуйста, не забудьте, — с эфиром... Антон Антонович поедет. А я завтра сама развешу, не будите провизора.

Варвара Васильевна начала бредить. Токарев шатающуюся походкою пошел вон.

Он вышел из больницы и побрел по улице к полю. В сером тумане моросил мелкий, холодный дождь, было грязно. Город остался назади. Одинокая ива у дороги темнела смутным силуэтом, дальше везде был сырой туман. Над мокрыми жнивьями пролетали галки.

Токарев шел, бессознательно кивал головою и бормотал что-то под нос. Это не сон? — иногда приходило в голову. И он гнал от себя мысли, боялся думать о том, что узнал, боялся шевельнуть застывший в душе тупой ужас.

Воротился он в больницу, когда уже стем-

нело. Из ворот выходили Сергей и Таня — оба бледные и серьезные.

— Варя умерла! — коротко сказал Сергей, прикусил губу и прошел мимо.

Через два дня Варвару Васильевну хоронили.

Похороны вышли величественные. Никто не думал, чтоб Варвара Васильевна пользовалась такую популярностью, как оказалось. Громадная толпа народа провожала гроб, слышались рыдания. Над могилою произнесли речи главный врач больницы, председатель управы, Будиновский. Они говорили о самоотверженной деятельности скромной труженицы, о том, что вся жизнь ее была одним сплошным подвигом, что она, как воин на поле брани, славно погибла на своем посту. Токарев, — угрюмый, замерший в ужасе, — слушал речи, и они казались ему пошлыми и ничтожными перед тою страшною загадкою, которая вытекала из этой смерти. Хотелось рыдать от безумной жалости к Варваре Васильевне и к тому, что она над собою сделала.

В тот же день вечером уехали в Петербург

оба еще остававшиеся в Томилинке члена «колонии» — Таня и Шеметов. Токарев, Сергей и Катя проводили их на вокзал. Таня не могла опомниться от неожиданной смерти Варвары Васильевны.

Она стояла у своего вагона возмущенная, негодующая.

— Я положительно с этим не могу примириться! Смерть!.. Жить, действовать, стремиться, дышать воздухом, — и вдруг, ни с того ни с сего, все это обрывается, когда жизнь кругом так хороша и интересна!..

Назад Токарев возвращался один. Таня уехала, — что ждет ее впереди? Теперь, после прощания, она была Токареву дорога и близка. Перед ним стояло ее лицо, подвижное, энергичное, с большими и смелыми, почти дерзкими глазами... Странно! Он прекрасно знал, — не благополучие ждет ее в будущем, и не сносить ей головы. А между тем не было за нее никакого страха, и ему казалось — и жалости никогда не будет. Напротив, была только жгучая зависть к Тане за ее жадную любовь к жизни и за бесстрашие перед этой жизнью. И тот тяжелый вопрос, который воз-

никал из смерти Варвары Васильевны, при мысли о Тане тускнел, становился странным и непонятным.

XVII

Токарев вместе с Изворовыми воротился в деревню.

Пообедали. Все были печальны и молчаливы. Темнело. Токарев вышел в сад. Вечер был безветренный и холодный, заря гасла. Сквозь поредевшую листву аллей светился серп молодого месяца. Пахло вялыми листьями. Было просторно и тихо. Токарев медленно шел по аллее, и листья шуршали под его ногами.

Жизнь вдруг стала для него страшна. Зашевелились в ней тяжелые, жуткие вопросы... В последнее время он с каждым годом относился к ней все легче. Обходил ее противоречия, закрывал глаза на глубины. Еще немного — и жизнь стала бы простою и ровною, как летняя накатанная дорога. И вот вдруг эта смерть Варвары Васильевны... Вместе с ее тенью перед ним встали полузабытые тени прошлого. Встали близкие, молодые лица. Гордые и суровые, все они погибли так или иначе — не отступили перед жизнью, не прими-

рились с нею.

Токарев вышел к пруду. Ивы склонялись над плотиною и неподвижно отражались в черной воде. На ветвях темнели грачи, слышалось их сонное карканье и трепыханье. Близ берега выдавался из воды борт затонувшей лодки и плавал обломок весла. Токарев остановился. Вот в этой лодке три дня назад катались люди — молодо-смелые, бодрые и веселые; для них радость была в их смелости. А он, Токарев, с глухою враждою смотрел с берега.

И все прошлое, и эти люди были для него теперь страшно чужды. Что-то совершилось в душе, что-то надломилось, и возврата нет. Исчезло презрение к опасностям, исчезло недуманье о завтрашнем дне. Впереди было пусто, холодно и мутно. Вспомнились недавние мечты об усадьбе, об уютной жизни, и охватило отвращение. Для чего?.. Жить, как все живут, — без захватывающей цели впереди, без всего, что наполняет жизнь, что дает ей смысл и цену. И все яснее для него становилось одно: невозможно жить без цели и без смысла, а кто хочет смысла в жизни, тот, —

каков бы этот смысл ни был, прежде всего должен быть готов отдать за него все. Кто же с вопросом о смысле и целях жизни сплетает вопросы своего бюджета и карьеры, пусть лучше не думает о смысле и целях жизни. И Токареву стало стыдно за себя.

Но когда он почувствовал стыд, он возмутился. Чего стыдиться? Что он сделал плохого и как же ему жить? Ведь все, что случилось с Варварой Васильевной, до безобразия болезненно и ненормально. Люди остаются людьми, и нужно примириться с этим. Он — обыкновенный, серенький человек и, в качестве такового, все-таки имеет право на жизнь, на счастье и на маленькую, неопасную работу.

Вспомнились жесткие слова Сергея:

«Что поделаешь? Так складывается жизнь: либо безбоязненность полная, либо банкрот, и иди насмарку».

Эта мысль тоже возмутила его, и он опять почувствовал ужас перед тем непонятным ему теперь и чуждым, что сделало возможным смерть Вари. Токарев отталкивал и не хотел признать это непонятное, но оно власт-

но стояло перед ним и предъявляло требования, которым удовлетворить он был не в силах.

Токарев поднял голову, огляделся. Его удивило, какая кругом мертвая тишина. Месяц спустился к ивам и отражался в неподвижной, черной глубине пруда. Неподвижен был воздух, деревья не шевелились ни листиком. Как будто сейчас случилось что-то, чего Токарев за своими размышлениями не заметил, — и все вокруг, замерши, испуганно прислушивалось. Была та же странная тишина, как тогда, после припадка Сергея, на пыльной лестнице. И так же странно неподвижно светил месяц. И все вокруг становилось необычным. С березы сорвался желтый листок; он неслышно и робко мелькнул в воздухе, словно боясь привлечь к себе чье-то грозное внимание, и поспешно юркнул в траву. И опять все замерло.

Смутный страх охватил Токарева. Он повернулся и пошел домой.

XVIII

Прошла неделя. Токарев сильно похудел и осунулся, в глазах появился странный нерв-

ный блеск. Взмутившиеся в мозгу мысли не оседали. Токарев все думал, думал об одном и том же. Иногда ему казалось: он сходит с ума. И страстно хотелось друга, чтоб высказать все, чтоб облегчить право признать себя таким, каков он есть. Варваре Васильевне он способен был бы все сказать. И она поняла бы, что должен же быть для него какой-нибудь выход.

Но перед ним был только Сергей. Сергей же чуждался его, и они не имели теперь ничего общего. А между тем многое в Сергее поразительно напоминало Варю: тот же тонкий, строгий профиль, те же глаза, та же привычка сдвигать брови. Как будто Варя ожила в Сергее. Но не мягкая и прощающая, а жесткая, презирующая и беспощадная.

В Сергее, в его пренебрежении и презрении, как бы олицетворялось для Токарева все, из-за чего он мучился. И все больше он начинал ненавидеть Сергея. Кроме того, с той ночи, как с Сергеем случился припадок, он внушал Токареву смутный, почти суеверный страх. Но рядом с этим Токарева странно тянуло к Сергею. Ему давно уже следовало

уехать из Изворовки, но он не уезжал. Он не мог уехать, ему необходимо было раньше объясниться о чем-то с Сергеем. Но о чем объясниться, для чего, — Токарев не мог бы ясно сказать.

Стояла середина сентября. День был тихий, облачный и жаркий. На горизонте со всех сторон неподвижно синели тучи, в воздухе томило. Сергей с утра выглядел странным. В глазах был необычайный, уже знакомый Токареву блеск, он дышал тяжело, смотрел угрюмо и с отвращением.

В одиннадцать часов вечера поужинали. Василия Васильевича, по обыкновению, не было, — он теперь все вечера проводил у соседей, играя в карты.

Конкордия Сергеевна сказала:

— А как барометр упал!.. Кончатся ясные денечки; теперь пойдут дожди, холод, грязь...

— Упал барометр? — с любопытством спросил Сергей и замолчал.

Они взошли с Токаревым к себе наверх. Токарев участливо спросил:

— Вы себя сегодня плохо чувствуете?

Сергей усмехнулся.

— Слыхали, барометр упал!.. Ну, вот! Такое дрянцо люди — каждое колебание барометра отражается на душе!

Он молча зажег лампу и сел за «Критику чистого разума»[34]. В последнее время он усердно читал ее.

Токарев, не зажигая света, ходил по своей комнате. Он видел, как все в Сергее нервно кипело. Это заражало его, и нервы натягивались. Охватывал неопределенный страх... Токарев остановился у печки.

Сергей сидел в своей комнате, склонясь над книгой. Лампа освещала красивое лицо. Токарев смотрел из темноты.

Вон он спокойно сидит, этот мальчишка. А он, Токарев, испытывает к нему страх и стыдится его презрения... Сколько в нем мальчишеской уверенности в себе, сколько сознания непогрешимости своих взглядов! Для него все решено, все ясно... А интересно, что бы сказал он, если бы узнал истинную причину Вариной смерти? Признал бы, что это так и должно было случиться? Или и он ужаснулся бы того, к чему ведет молодая прямолинейность и чрезмерные требования от людей?

Токарев зажег лампу и открыл книгу. Но не читалось. Он думал о том, что с Сергеем, опять может сегодня случиться припадок. Что тогда в состоянии будет сделать с ним Токарев, один в пустом доме? И вспомнилось ему, как Сергей сознался, что чуть его тогда не задушил, и как насмешливо улыбнулся, когда Токарев побледнел при этом признании... Ко всему остальному Сергей теперь знает, что Токарев его боится.

Токарев встал и вышел из комнаты. Спустился вниз.

В больших, пустынных комнатах было темно и тихо. В передней на конике храпела горничная Дашка, пахло потом. В коридоре скребли крысы. Было тоскливо и грустно. Токарев вошел в гостиную. Там, при свете одинокой свечи, Конкордия Сергеевна пришивала оборвавшиеся на креслах бахромки. Он удивился.

— Вы еще не спите, Конкордия Сергеевна?

Конкордия Сергеевна подняла на него свое осунувшееся лицо.

— Да вот засиделась тут с креслами: срам взглянуть, совсем оборвались бахромки.

Токарев помолчал.

— А какая тут должна быть тоска зимою! Все разъедутся, вы останетесь вдвоем с Василием Васильевичем. Мне кажется, я бы и недели не выдержал.

Конкордия Сергеевна медленно перекусила нитку и стала вдевать в иголку.

— Голубчик мой, привыкла я. Что уж там — «скучно»... Мне за весельем не гнаться. Сколь-ко уж лет так живу. Было бы деткам хорошо, а мне что... Ну, а ведь, кроме того, все-таки ждешь: вот опять лето придет, опять... опять все... съедутся...

Голос ее оборвался. Она наклонилась к креслу. И такую одинокою показала она Токареву, с ее скрытою, невысказываемою печалью.

Он поговорил с нею, потом вышел на крыльцо.

Ночь была тихая и теплая. Тяжелые тучи, как крышка гроба, низко нависли над землею, было очень темно. На деревне слабо мерцал огонек, где-то далеко гроыхала телега. Эти низкие, неподвижные тучи, эта глухая тишина давили душу. За лесом тускло блесну-

ла зарница.

Из-под крыльца, виляя хвостом, вылез левый щенок Сбогар. Худой, на длинных, больших лапах, он подошел к Токареву, слабо повизгивал и тоскливо глядел молодыми, добрыми глазами. Токарев погладил его по голове. Сбогар быстрее замахал хвостом и продолжал жалобно повизгивать.

За лесом снова блеснула зарница и бледным, перебегающим светом несколько раз осветила неподвижные тучи. Стало еще темнее. У Токарева вдруг мелькнула мысль, — как удивительно подходят эта ночь и нынешнее состояние Сергея к тому, что Токарев уж несколько дней собирался сделать: да, Сергей должен узнать настоящую причину смерти сестры! Пусть это открытие ударит его по сердцу, наполнит тоскою и ужасом, исковеркает его прямые, нестибающиеся взгляды на жизнь и ее требования... О, он увидит, что дело вовсе не так просто, как ему кажется! — с злорадным торжеством подумал Токарев

Быстрая, нервная дрожь охватила тело. Он подождал, чтобы она прошла, и поднялся наверх.

Сергей медленно расхаживал по комнате, устало понутив голову.

— Сергей Васильевич, сидите вы здесь все над книгами. А посмотрите, какая ночь чудесная — тихая, теплая... Пойдемте пройдемся.

Сергей потер рукою лоб и встряхнулся.

— Пойдемте, пожалуй! Все равно ничего в голову не лезет.

Они вышли из дому и через калитку вошли в сад. И на просторе было темно, а здесь, под липами аллеи, не видно было ничего за шаг. Они шли, словно в подземелье. Не видели друг друга, не видели земли под ногами, ступали, как в бездну. Пахло сухими листьями, полуголые вершины деревьев глухо шумели. Иногда сквозь ветви слабо вспыхивала зарница, и все кругом словно вздрагивало ей в ответ. Сергей молчал.

Они дошли до конца сада и остановились у изгороди. За канавой, заросшей крапивою, тянулось сжатое поле. Над ним неподвижно висели низкие тучи. Из черной дали дул теплый, сухой ветер и тихо шуршал в волосах. Токарев нагнулся и провел рукою по траве.

— Удивительно как сухо! Росы совсем нет!

Сергей коротко отозвался:

— Дождь завтра будет.

— Ну, Сергей Васильевич, идем дальше! Воздух такой славный!.. Пойдемте к Зыбинке, на Живые Ключи. Там прямо, через поле, мы скоро дойдем.

Он перелез через плетень и перепрыгнул канаву. Сергей неохотно последовал за ним. Пошли наискось по колючему жнивью. Ветер ровно дул в лицо, полынь на межах слабо шевелилась. На темном горизонте непрерывно вспыхивали зарницы, — то яркие, освещающие всё вокруг, то тусклые, печальные и зловещие.

Сзади в смутном сумраке раздался мягкий, частый, быстро приближавшийся топот.

— Что это там?! — Сергей вздрогнул и быстро обернулся.

Токарев рассмеялся.

— Ну, Сергей Васильевич, ведь это непозволительно! Что это может быть? Вероятно, Сбогар нас догоняет!

Сбогар подбежал и, радостно виляя хвостом, стал ластиться к Токареву и Сергею. Сергей старался улыбнуться.

— Ишь негодяй! Так неожиданно налетел, невольно вздрогнешь!

Двинулись дальше. Сергей медленно и тяжело дышал, украдкой взглядывал в темноту странно блестящими глазами. Ветер упал. Стало тихо. Они вышли на дорогу.

Далеко на церковной колокольне глухо ударил колокол. Дрожащий звук, полный смутной тайны, тихо пронесся над темными полями. Потом раздался второй удар, третий, — пробило двенадцать.

Токарев взял Сергея под руку.

— Полночь!.. Мужики говорят, — церковный сторож погнал мертвецов на водопой.. — Он помолчал. — Странно на меня действуют такие ночи. Вам не кажется невероятным, чтоб в этом мраке не было ничего таинственного? Мне это часто кажется. Кругом необходимо должна быть своя жизнь, но только она ускользает от наших глаз. Нужно совсем неожиданно оглянуться, чтоб уловить из нее хоть что-нибудь. На меня, например, добрая половина картин Бёклина[35] производит такое впечатление, как будто он именно «неожиданно оглянулся». Вот мы идем с

вами, — и неужели мы тут только двое во всем этом просторе, и кругом нас лишь дрожание разных молекул, колебание светового эфира и тому подобное. Почему же в таком случае так ясно и так жутко душа ощущает невидимое присутствие кого-то, — каких-то смутных, бесформенных существ, перед которыми мы так слабы и беспомощны?

Сергей шел, молча понутив голову. Они свернули на тропинку, прошли мимо заброшенной каменоломни и спустились в Зыбинскую лощину. В ней было очень тихо. Смутно рисовались черные кусты раkitника, и казалось, будто они медленно двигаются.

Пошли по заросшей дороге, — она тянулась по косогору к верховью лощины. Сбогар, слабо повизгивая, оглядывался по сторонам и жался к их ногам. Как раз над лощиною низко стояло большое, черное облако с расходящимися в стороны отрогами. Как будто гигантское, странное насекомое повисло в воздухе и пристально, победно следило за шедшими по лощине. Угрюмые и молчаливые зарницы вспыхивали в темноте.

Незаметная внутренняя дрожь все сильнее

охватывала Токарева. На душе было смутно и необычно. Только ум работал с полной ясностью.

— Помните вы «Horla»[36] Мопассана? Это очень болезненная, но удивительно умная и глубокая вещь. Мопассан говорит, что люди сиздавна населяли мир разными таинственными, страшными и неопределенными существами. И что это не могло быть иначе, — человек всегда чувствовал, как сам он беспомощен, как над ним стоят какие-то силы, перед которыми он раб... Что это за силы, что за существа? Они должны быть невидимы, но страшны и могучи. В чем бы они ни проявлялись, но они всегда показывают свою власть над человеком, и человек перед ними там бессилен, так жалко-беспомощен!

Сергей с удивлением поднял голову.

— Неужели вы все это серьезно говорите! Ведь это положительно какой-то бред и притом довольно смешной... Только я бы вас попросил, Владимир Николаевич, — оставьте говорить об этом. Я сегодня чувствую себя ужасно нервно.

— Хорошо. Да в сущности я, конечно, не го-

ворю серьезно о разных там мертвецах или привидениях, не говорю и о мопассановских невидимках Орля. Я только говорю о мопассановской «глубокой тайне невидимого». Ведь именно ее только Мопассан и символизирует в образе «Horla». Согласитесь, что эта тайна действительно глубока и страшна. Мопассан говорит: «Все, что нас окружает, все, что мы замечаем, не глядя, все, что задеваем, сами того не сознавая, трогаем, не ощупывая, — все это имеет над нами, над нашими органами, а через них и над нашими мыслями, над самым нашим сердцем — быстрое, изумительное и необъяснимое действие»... Разве это не страшно и разве это не правда? — взволнованно спросил Токарев. — Человек был еще свободен, когда он эти силы олицетворял в существах, стоящих вне его, — с ними по крайней мере можно было бороться, против них стояла свободная, самоопределяющая душа человека. А теперь все эти существа переселились внутрь его, в его мозг, в сердце и кровь... И что теперь ждет человека? Вы помните этот страшный вопль Мопассана: *«Царство человека кончилось!.. Горе нам!.. Го-*

ре людям!.. Пришел он... как его зовут? Мне кажется, он выкрикивает мне свое имя, но я не слышу его... О да, он явился!.. Ястреб съел голубку, лев пожрал буйвола с острыми рогами... Всему конец!.. Он во мне, он *становится моею душою!*.. Что делать? Горе нам!..»

Токарев дрожал мелкою дрожью, в голосе звучал ужас, как будто действительно это таинственное «невидимое» стояло здесь в темноте... Но и в ужасе своем Токарев чувствовал, как Сергей нервно вздрагивал. И становилось на душе злобно-радостно.

Сергей резко возразил:

— По-моему, все это только очень характерно для самого Мопассана. Да, пожалуй, и для вас... Что спорить, «тайна невидимого» глубока. Но трус и жалкая тряпка тот, кто поддается этому невидимому.

— Сядем здесь! — коротко и решительно сказал Токарев и опустился на косогор под молодую лозинкою.

Он сказал уверенным, властным голосом, и Сергей послушался. Токарев приобрел над ним странную власть.

Горизонт, прежде резко очерченный, заты-

нулся на юге мутною мглою и стал сливаться с небом. Потянуло влажною прохладой. Токарев в волнении поглядел вдаль: пройдет полчаса — и жуткое очарование ночи исчезнет.

Небо покроется мутными облаками, лениво засеет окладной дождь.

Он медленно заговорил:

— Вы сказали: тот, кто поддается «невидимому», — трус и жалкая тряпка. Удивительное дело! Перед вами стоит громадный вопрос, а вы хотите решить его парюю презрительных ругательств... Нет, Сергей Васильевич, такие вопросы так не решаются! Вопрос о том, что же делать, если это невидимое бесповоротно покоряет тебя. Ну, хорошо, — трус, жалкая тряпка... Ведь это сказать легко. А когда в жизни встает такой вопрос, то можно с ума сойти от ужаса... Вы знаете, отчего умерла Варвара Васильевна? — Он задыхался и медленно перевел дух. — Она заразилась сапом... Но она не нечаянно заразилась, а нарочно!.. Она не остановилась перед такого рода смертью, чтоб окружающие близкие думали, будто это — несчастная случайность. А убила она себя именно потому, что чувствовала

ла приближающуюся победу «невидимого».

Даже сквозь темноту Токарев видел, как на него смотрело смертельно-бледное лицо Сергея с остановившимися глазами. Вдруг Сергей решительно сказал:

— Это не может быть!.. Она могла бы это сделать, она на это способна. Но никогда ни вам, никому она не созналась бы в этом!

— Да. Видите, оно так и есть. Но однажды — помните, в тот вечер, когда с вами произошел припадок, — она созналась мне, что чувствует приближение и победу «невидимого». Чтоб не покориться ему, она видела только одно средство — смерть. Но чтоб эта смерть поменьше доставила горя близким. Разговор был чисто отвлеченный... Ну, а перед самую смертью, почти уже в бреде, она взяла с меня слово никому не рассказывать о нашем разговоре... Как вы думаете, можно из этого что-нибудь заключить?

— Чче-ерт, чче-ерт!.. — простонал Сергей и стиснул голову руками. Он поставил локти на колени и сидел, все так же стиснув голову.

Строгим, беспощадным и проникающим голосом Токарев говорил:

— Ну, и что же? Она поступила правильно? В этом настоящий выход?.. Нет, это ужасно и до безумия ненормально! А между тем именно ваши взгляды, ваша прямолинейная требовательность и делают возможными подобные ужасы. Это отрицать вы не можете. И не можете также отрицать, что вы запираете для живого человека все выходы. Необходимо серьезно и пристально приглядеться к «невидимому». И только тогда, призвав всю его силу и неизбежность, возможно прийти к какому-нибудь выходу.

Сергей вскочил на ноги. Сверкнув глазами, он крикнул:

— К чему вы все это говорите?! Вы Вариною смертью хотите оправдать себя! Да неужели вы не чувствуете, какая разница между нею и вами? Из ее смерти возникает громадный вопрос, — да, громадный и ужасный по своей серьезности. Но вы к этому вопросу и боком не прикасаетесь!

Токарев замолчал, сбитый с позиции, не зная, что возразить. Упавшим голосом он заговорил:

— Хорошо! Скажем, вы правы. Я не хуже

вас вижу разницу между нею и собою. Но вдумайтесь немного в то, что я вам скажу. Слушайте. Я — обыкновенный, маленький человек. Мне судьбою предназначено одно: жить смиренно и тихо, никуда не суясь, не имея никаких серьезных жизненных задач, — жить, как живут все кругом: так или иначе зарабатывать деньги, клясть труд, которым я живу, плодить детей и играть по вечерам в винт. Но, видите ли, в жизни каждой самой болотной души бывает возраст, когда эта душа преобразуется, — у нее вырастают крылья. Если окружающие обстоятельства благоприятствуют, то ее смутные, неопределенные порывы оформливаются в стремление к ясным идеалам. И человек идет за них на борьбу, на гибель и не может понять, как можно жить, не ища в жизни смысла, не имея всезахватывающей жизненной задачи. Проходит несколько лет. Крылья высыхают и отваливаются, и сам человек ссыхается. Все недавнее становится для него совершенно чуждым и мертвым.

И вот я теперь нахожусь как раз в таком положении. Но суть в том, что это прошлое уже отравило меня, — я ужасаюсь пустоты, в

которую иду, я не могу жить без смысла и без цели. А крыльев нет, которые подняли бы над болотом.

*Слава вере, нас сгубившей,
Слава юности погибшей,
Незапятнанной позором...*

Да, я с горячим, страстным чувством вспоминаю ее, эту честную юность. Но слава ее схоронена, потому что схоронена сама юность, и ее не воскресить... Где же найти основание, на которое я мог бы теперь опереться? Что может мне дать силу жить человеком? Философия? Религия? Из меня выкачивается душа, понимаете вы это? Душа выкачивается!.. Как ее удержать? Нет таких сил в жизни, нет таких сил в идеях и религии... Вся сила лишь в чувстве. Раз же оно исчезло, — то вздор все клятвы и обеты, все самопрезрение и тоска... Что же мне делать?

Сергей брезгливо ответил:

— Это ваше дело! К сожалению, я вам помочь ни в чем не могу.

— О, Сергей Васильевич! Не относитесь к этому так презрительно! Уверяю вас, все это

очень близко касается и вас самого! Еще сегодня вы говорили о том, как всякое колебание барометра отражается на вашей душе. Неужели вы думаете, что только один барометр обладает такою удивительною силою?.. Нет, Сергей Васильевич, вы так же, как и я, уж целиком находитесь во власти могучего «невидимого». Вы вот настойчиво проповедуете радость жизни и силу духа, а сами живете в темном мире нервной тоски и безволия. Вы утверждаете, что человек должен действовать *из себя*, что в таком случае он откроет в себе громадные богатства души, а все ваше богатство заключается лишь в поразительной черствости, самоуверенности и самолюбленности. Только покамест все это скрашивается молодостью. А пройдет молодость — что от вас останется? Мы с вами одинаковые банкроты, мы одинаково слишком бедны и больны душою, чтоб расплатиться с громадными требованиями нашего разума... Есть другие люди, здоровые и сильные, люди нутра. Их можно убить, но невозможно расколоть надвое. Для них мысль, тем самым, что она — мысль, есть в то же время и действие...

Вот вам тот человек, которого мы видели тогда у Варвары Васильевны. Мне кажется, такова и Таня. Ничего, что она так неразвита и узка, — в этом-то и есть ее сила!.. А наше с вами дело проиграно. Я это уже сознаю, вы еще не сознаете. Но недалеко время, когда перед вами встанет тот же вопрос... И над трупом Варвары Васильевны нужно этот вопрос решить честно и серьезно.

Сергей злобно и болезненно усмехнулся.

— Ох, как вам хочется этого «честного» решения!.. Извольте, вот оно, по-моему: примиритесь с вашим «невидимым», полезайте назад в болото и благоденствуйте на здоровье. Вам ведь ужасно хочется этого решения. Но меня оставьте в покое. Будьте уверены, живым я в болото никогда не попаду!

Токарев молча махнул рукою. Он сидел на пригорке, охватив колени руками, и смотрел вдаль. Глухая, неистовая ненависть к Сергею охватила его. Сергей насмешливо и злобно подчеркнул то, чего именно и хотелось Токареву. Ну да, он именно и хотел, чтоб за ним было признано право жить таким, каков он есть, — где же другой выход? Сергей этого вы-

хода не хочет признать... Хорошо! — подумал Токарев, охваченный тоскою и дрожью.

Он хрипло сказал:

— Господи, какая ночь тяжелая!.. Сергей Васильевич сделайте одолжение, принесите мне воды из ключа. У меня так кружится голова, — мне кажется, я сейчас упаду... Она здесь недалеко, за бугром... Хоть в фуражку мою зачерпните, она суконная, не прольется... Ради бога!..

Сергей внимательно взглянул на Токарева и медленно ответил:

— Давайте фуражку.

Он исчез за бугром. Токарев быстро вскочил и огляделся. Сырая, серая стена дождя бесшумно надвигалась в темноте и как будто начинала уже колебаться. Кругом была глухая тишь, у речки неподвижно чернели странные очертания кустов. Молодая лозинка над головою тихо шуршала сухими листьями. Безумная радость охватила Токарева. Он подумал: «Ну, получай свое решение!» — и стал поспешно распоясываться. Он был подпоясан вдвое длинным и крепким шелковым шнурком.

Волнуясь и спеша, Токарев дрожащими руками сделал на шнурке петлю и дернул ее, испытывая крепость. Петля была крепка. Он радостно улыбнулся, поднялся на цыпочки и стал привязывать петлю к суку лозины.

— Получайте ваше решение, Сергей Васильевич!

И он представил себе воротившегося Сергея перед его трупом на лозине.

Вдали раздался шорох, как будто шаги. Токарев вздрогнул, отскочил от дерева и стал вглядываться. Нет все было тихо. Сергей так скоро не мог вернуться. Это, должно быть, пробежал внизу Сбогар.

Медленно раскрывались внутренние глаза. Вдруг сверкнула мысль:

— Что я такое делаю?!

Токарев остановился и глядел на черную лозину, как будто только что проснулся от дикого кошмара... С потревоженной лозины медленно и бесшумно падали на землю желтые листья. Все было необычно и ужасно: и лозина с бесшумно падающими листьями, и недавний разговор, и его намерение.

Он отбросил шнурок и быстро пошел вон

из лощины.

От тучи подуло сильным, влажным ветром. По земле зашуршали первые капли дождя. Распоясанный, в развевающейся рубашке, Токарев шагал по колючему жнивью через межи и шел в темноту, не зная куда.

1901

К жизни

Часть первая

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не расспрашивает, со смешным, почти тщательным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливою предупредительностью встречает проходящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: «Эге! Вот еще какая у тебя красота!» И думаешь: «Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже — труженица!»

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

— Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недоумевающей мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел, — интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагической жизнью в душе. А заговорит, — боже мой! Любовь к людям, избавление их от

страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить настоящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я это вялое слово — будущее!..»

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

— Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обоем было неловко, — встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

— Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и на-

смешка.

— Опять будете препираться о «текущем моменте»?.. Хорошо...

— Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостинной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра — любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказываться. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядываются.

— В воздухе носится это решение — любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ,

Гамсун, Толстой, Достоевский, — с разных концов, мыслью, художественным чутьем, — все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Лассаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни, — это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это — кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

— Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

— К чему? Вам бы это должно быть извест-

но.

— Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.

— К тому, чтоб всем было хорошо.

— А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со скрытою улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

— Не понимаю вас.

— Что значит «хорошо»? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были «счастливы»?

— Ну да!

— Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель, — сухая такая, колющая. Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. «Барин, купите!» — «Что продаешь?» — «С... сча... астье!» Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы. — «Сколько твое счастье стоит?» — «П-пяточок!..»

Иринарх удивительно изобразил мальчи-

ка, — так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

— Он на этот пяточок сыт стал!

— Верно. А все-таки цена-то его счастью — «пя-та-чо-ок!» Сыт — разве же это счастье?.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пяточок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет «хорошо жить». Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

— В чем же это благо?

— В чем!.. Оно так ясно, так очевидно, — его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость — великолепно! Страдание — велико-

лепно! Радость — страдание! Радость — страдание! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы страдания боимся, проклиная его. Утешаемся будущим, когда страдания не будет... Как верно Шопенгауэр сказал: «После того как человек все страдания и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука».

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: ну-ка, возрадите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния. Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами он совался всюду, смотрел, все глотал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

— О-ох, это будущее! Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как раньше-то, в старинные време-

на: Liberte! Egalite! Fraternite![37] Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться обмякшими ртами, а по земле полетят жареные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

— Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

— Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

— Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

— Боже избави! — твердо и решительно ответил Иринарх.

— Не надо этого?

— Не надо.

— Надо! — крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел

рел в глаза Иринаруху. — Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять — пятнадцать лет. Слышите? — Турман грозно постучал ладонью по столу. — Через десять — пятнадцать лет, не дольше!

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

— Вы, господа, — интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врите нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не «весело»!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринаруха, — слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

— Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь, — раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции, — и ступай за ворота. А дома ребята есть просят... Унижают

эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

— Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к другим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла.

— Что будет! — прервал он Иринарха. — В морду всем можно будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

— Да, пора идти. — Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искоса бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

— Но ведь этот черный — это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет

свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть-то эта и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди стремятся — и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди — только какой-то смутно-золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет пророков. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

— Отчего вы ничего не возражали Иринаруху Ильичу?

Я насупился.

— Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

— А я думаю, вам просто нечего было возразить, — презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры — и как она бесится, что на

все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

— А какой же ты смысл видишь в настоящем? Оно имеет значение только в виду будущего?

— Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разврат душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Подрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил,

стоя на табурете. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов подомною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я разбрасывал горсти сухих, мертвых семян, — и на глазах из них вырастали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой, — из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сгорбившись над столом. Моя комната большая, а его — очень маленькая. Он ее выбрал себе, — уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки

всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюры. Часто мне в голову приходит вопрос, — чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза — даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Читает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

— Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно «Свете тихий». Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно привез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

— Опять тетя Юля ваша мутит?

— Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт зна-

ет как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкой глядит на меня и осторожно спрашивает:

— Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства. Я морщусь.

— Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настойчивостью, он говорит коротко:

— Шестого ее рождение.

— Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками оконцах флигелька метались тени. Мы с Алешей стояли на крыльце двора.

— Ты верно видел, пьян он?

— Пьян.

— Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Праско-

вью. Она — худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее. Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко обрывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего вделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое, — стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед, — гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздываются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староноссовцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться по-

сле полочки. Поднялись крики, упреки!

— Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забежал к Катре, попросил вызвать ее. Горничная сказала, что выйти она не может, а просит к себе.

В «будуаре», — кажется, так это называется, — сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка, — медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

— Пожалуйста, посидите четверть часа, —

мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

*Брат мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром старший брат!*

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком горничную, — другого никак я не мог себе представить.

— Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись

надо мною. Мне стало досадно, — чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

— Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

— Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

— Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

— Хорошо, я согласна.

— Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

— Знаете, Константин Сергеевич, — я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. «Транспорт»... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? «Эксплуатация», «классовая борьба», «организация», «предательство буржуазии»... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем — и бессильно упало наземь, когда ураган стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырвавшийся из-под земли, и она поклонилась ему. Теперь огонь опять пошел темным подземным пламенем, — и она брезгливо смотрит, зевает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком просвете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвал Катру из топчущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.

— Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

— Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

— Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер — он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул, — он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

— Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

— Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втопил его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На улице трещали револьверные выстрелы и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

— Вы ранены. Садитесь, перевяжем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

— За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный платок.

— Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

— Сидите, товарищ!

— Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и по-

гибнуть!

— Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

— Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

— Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под руками студента отодвигаемый ржавый за-сов. Смерть медленно накладывала свою печать на его бледное лицо. И вдруг преобразилось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный восторга и муки:

— Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гиен. И глухие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где золотой луч тихо вонзался в груды пыльных бочек, где пахла керосином жирная скамейка. Кругом — кровавое, ревущее кольцо, а дальше ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные глаза с бледного, прекрасного, восторженного лица. Охватывал душу безумный восторг от какой-то чудовищной, недоступной уму правды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

— Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня. Грудь вздымалась, как будто не могла вместить того, что открылось душе.

— Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово «товарищ».

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцеловались. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

— Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленной ногой.

— Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она была старая, на старом, непрочном замке.

— Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

— Товарищ, тише! Сберегите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

— О-о-о... Погодите!.. ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

— Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

— Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?..
Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

— Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

— Господа, господа... Это меня не касается... Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

— Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вытолкайте нас.

Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

— Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел

по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

— Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегну!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

— Негодяи этакие!.. Понесем его в спальню, там перевяжем. — Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками. — Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

— Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

— Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее «Мадонна».

Сидела, приторно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

— Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

— Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительной насмешкой пожала плечами.

— Не понимаю ее! Нарядилась, как шестнадцатилетняя девушка. Нужно же помнить свой возраст! Тридцать шесть лет исполнилось, седина в волосах — и светлые кофточки! Напоминает маскарад!

Маша добродушно улыбнулась и не ответила. Она угощала нас закусками, чаем, быстро говорила своими короткими, обрывающими себя фразами. Юлия Ипполитовна брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезанной колбасы.

— Маша, где ты брала эту колбасу? Шпек ужасно скверно пахнет.

Алеша угрюмо и резко возразил:

— Никакого запаха нет.

— Ну, может быть, мне кажется... Почему ты не берешь у Рейнвальда? Только там колбасы хорошие.

Она концами пальцев отодвинула тарелку и обиженно стала пить чай. Как удушливое облако, ее присутствие висело над всеми. Ждали, когда же она пойдет спать.

Пошла наконец. Маша зашептала:

— Господа, перейдемте в переднюю, поставим там столик. Ну, тесно будет, а зато так хорошо! И тете не будем мешать.

Мы перенесли в переднюю стол, самовар. Я с упреком спросил:

— Ты здесь и спишь?

Маша поморщилась и быстро заговорила:

— Ну, господа, все равно... Не будем об этом говорить... Это мое дело... Все равно...

— Маша, да ведь ты губишь себя. Сама нервная, болезненная, весь день на уроках, — и даже отдохнуть негде в своей же квартире! Смешно: две комнаты на двоих, а ты живешь в передней.

— Ну, все равно... Господа, не говорите... Тете мешает утром спать, когда я встаю, а мне

все равно...

— Мешает спать!

— У нее все время то мигрени, то невралгии. Трудно заснуть, и необходима тишина... А мне приятно, что я хоть что-нибудь могу для нее сделать. Только жалко, что приходится от вас жить отдельно.

— Да, нам бы еще тут с этим сокровищем жить! Я понимаю, что все ближайшие родственники отрещиваются от нее... Какая бесцеремонность! «Шпек пахнет». Никто не просит, не ешь!

Маша умоляюще сказала:

— Оставим... Ну, пускай... Нужно либо все принять, либо совсем уж отказаться... — Она покраснела. — Своей семьи у меня нету. Вы выросли. А я чувствую такую потребность любить, всю себя отдать... Мне кажется, если бы тетя меня била, я бы еще нежнее ухаживала за нею.

— Черт знает что такое! Какой-то садизм филантропии!.. И для кого! Маша, ну разве ты не видишь кругом жизни? Ведь выше и нужнее всю себя отдать ей, а не какой-то Юлии Ипполитовне!

Мы уж не раз спорили об этом.

— Ну, оставим, все равно... Я к вам не могу пойти. Вы слишком наружу смотрите. Под этим, глубже, у вас ничего нету. Поэтому все строите на ненависти. А нужно всех любить. И потом у вас — без бога.

— Этого бы еще недоставало!

И сейчас же я в ней почувствовал тот странный, внутренний трепет, который часто в ней замечал. Когда мы, еще гимназистами, начинали спорить с ней о боге, Маша быстро говорила, с испуганно вслушивающимися во что-то глазами: не надо об этом говорить. Об этом нельзя спорить.

Она перевела разговор на другое.

Мы пили чай с миндальным печеньем, разговаривали и смеялись тихонько, чтоб не разбудить Юлию Ипполитовну. По отставшим от стен обоям тянулись зубчатые трещины. Задумчиво сидели, неожиданно явившись откуда-то, черные тараканы.

Понемножку со мною произошло обычное, — я не могу без скуки и колючего раздражения думать о Маше, а побудешь с нею — и вдруг мягче начинаешь принимать всю ее, с

ее чуждою, но большою и серьезною душевною жизнью. Бедно одетая, убивает себя на уроках, чтоб Юлия Ипполитовна могла есть виноград и принимать лактобациллин. И какое-то светящееся оправдание жизни, с терпимым и любовным уважением ко всему.

Мы чуть слышно пели втроем песни, которые пели с Машею давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, говорили теми домашними словами, которых посторонний не поймет. Было по-детски чисто в душе и уютно.

Алеша всегда чувствует себя у Маши тепло и свободно. Но сегодня он был необычно весел, острил, смеялся. Как будто тайно радовался чему-то своему. А в Машиных глазах, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и всегдашний скрытый, болезненный ужас, — какой-то раз навсегда замерший ужас ожидания. Вот уже два года она смотрит так на Алешу. Это для меня загадка.

Когда мы шли домой, я спросил Алешу:

— Отнес к Катре?

— Отнес, конечно.

— Что она, не фыркала?

— Н-нет... — Алеша помолчал. — Ужасная чудиха! Вдруг спрашивает меня: «Отчего вы, Алексей Васильевич, никогда не смотрите в глаза?» И засмеялась. Очень весело и добродушно. Звала чаю напитокся.

Он говорил небрежно, а весь сиял, вспоминая. Катра и его околдовала своею красотою. Бедный, как ему мало надо!

И несколько раз еще Алеша возвращался к своему визиту. Объяснял мне, почему он отказался напитокся чаю, рассказал, как она пожала ему руку.

На дворе, в белом сумраке ночи, у флигелька виднелась тонкая фигура. Мы вгляделись. В одном платье стояла изящная Прасковья. Она метнулась, хотела спрятаться, но как будто что вспомнила. Остановилась и недобрыми глазами смотрела на нас.

— Чего это вы на холоду стоите, Прасковья Вонифатьевна?

Она оборвала:

— Так.

Гольтяков пьет запоем. Ясно, — пьяный, он выгнал ее на мороз и запер дверь.

Мы стали звать ее зайти к нам напитокся

чаю. Она сердито отказывалась, бросала пугливые взгляды на темные оконца флигеля. И вдруг быстро пошла к нашему крыльцу, все не говоря ни слова.

Поставили самовар. С полчаса он нагревался. Прасковья сидела на уголке стула, худенькая, тонкая, и настороженно молчала. Чувствовалось, — заговори с нею, она сейчас же вскочит и убежит.

Мы предложили ей переночевать в Алешиной комнате, а он перейдет ко мне.

— Нет. Я в кухне посижу.

Всю ночь она просидела на табуретке в нашей кухоньке. Иногда выходила, поглядывала на беспощадно-молчащие окна флигелька и возвращалась.

Мне плохо спалось. Завтра — большая массовка за Гастеевской рощей, мне говорить. Нервно чувствовалась в кухне Прасковья с настороженными глазами. Тяжелые предчувствия шевелились, — сойдет ли завтра? Все усерднее слезка... Волею подавить мысли, не думать! Но смутные ожидания все бродили в душе. От каждого стука тело вздрагивало. Устал я, должно быть, и изнервничался! — та-

кая тряпка.

Не могу рассказывать. Сжимаются кулаки...

А когда я возвращался, я столкнулся в калитке с Гольтяковым. Мутно-грозными глазами он оглядел меня, погрозил кулаком и побежал через улицу. На дворе была суетня. В снегу полусидела Прасковья в разорванном платье. Голова бессильно моталась, космы волос были перемешаны со снегом. Из разбитой каблуком переносицы капала кровь на отвисшие, худые мешки грудей. Хозяйка и Феня ахали.

Я остановился и смотрел, бессмысленно и неподвижно. Было в душе только тупое отвлечение и какая-то тошнота. Странно запомнились, вытесняя чудные глаза Прасковьи, эти жалкие мешки ее грудей, в страдальческом безразличии открытые взорам.

Страшно усталый я лежал на кровати. В душу въедался оскоминный привкус крови. Жизнь кругом шаталась, грубо-пьяная и наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою и плоскою, отлетало от крови жуткое очаро-

вание. На муки человеческие кто-то пошлый смотрел и тупо смеялся. Непоправимо поруганная жизнь человеческая, — в самом дорогом поруганная, — в таинстве ее страданий.

И вечно, вечно сжимайся, жди без конца, дави желание бешено броситься навстречу!

Пришел Мороз. Возбужденный, с вздувшеюся багровою полосой поперек лица. Он пил чай, жадно жевал булку. И, смеясь, рассказывал:

— Вьется надо мною, все хочет достать нагайкою. А я в канавку втиснулся и лежу. Видит, не выходит его дело, — хочет лошадью затоптать. А живая тварь, лошадь-то, не желает ступать на живого. Стал он меня тогда с лошади шашкою тыкать, — проколол бок. Пальто вот все изрезал. Ну, да не жалко: старое.

— Что старое?

— Пальто.

— Пальто?.. Мороз, голубчик!

Я расхохотался, вскочил и стал целовать его милое скуластое лицо.

— И сильно он вам пальто попортил? Вот негодяй! Давайте посмотрим. Да кстати и бок.

Глубоко изнутри взмыл смех и светлыми струями побежал по телу. Что это? Что это? Все происшедшее было для него не больше как лишь смешною дракою! Что в этих удивительных душах! Волны кошмарного ужаса перекатываются через них и оставляют за собою лишь бодрость и смех!

На боку оказалась царапина. Мороз сел зашивать просеченное пальто.

Пришли Наташа, Дядя-Белый, другие. Койкого не хватало. Пили чай. Рассказывали о пережитом. Что-то крепкое и молодо-бодрое выросло из ужаса. То черное, что было в моей душе, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.

От хохота было тесно в комнате. Осетин Хетагуров рассказывал своим смешным восточным говором, как он из чащи вскочил на лошадь к стражнику, выбросил его из седла в снег и ускакал. Желтоватые белки ворочались, ноздри раздувались. Странно было на его гибкой, хищной фигуре горца видеть студенческую тужурку.

— Пачыму вы смэетесь?

Он с недоумением оглядывал нас, и глаза

при воспоминании загорались диким, зеленоватым огнем. Милый Али! Я помню, как в октябре он один с угла площади вел перестрелку с целою толпою погромщиков. И все какие милые, светлые! В одно сливались души. Начинала светиться жизнь.

Вышел из своей комнаты Алеша, сидел и почтительно слушал.

Я написал воззвание. Наташа и Мороз ушли печатать. Уходя, Мороз улыбнулся и крепко потряхнул мою руку.

— А что, Сергеич! Скучно будет жить на свете, когда придет этот самый наш социализм!

Приехал доктор Розанов. Сразу все оживились. Почувствовалась властная, уверенная рука.

Его усиленно разыскивают, грозит ему недоброе. Но он приехал. Только бороду сбрил и покрасил волосы. Это смешно: огромная голова на широких плечах, глубоко сидящие зеленоватые глаза, давняя хромота от копыт казацкой лошади, — кто его у нас не узнает? Он две недели владел городом. Черносотенцы на-

зывали его «ихний царь».

Раньше он мне мало нравился. Чувствовался безмерно деспотичный человек, сектант, с головою утонувший в фракционных кляузах. Но в те дни он вырос вдруг в могучего трибуна. Душа толпы была в его руках, как буйный конь под лихим наездником. Поднимется на ящик, махнет карандашом, — и бушующее митинговое море замирает, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горят, как угли, и гремит властная речь.

Я не мог решить, правильно ли он действует, я ничего не понимал в закрутившемся вихре. Но его стальная воля покорила меня, как и всех, я слепо шел за ним. Спокойно и властно он мог всех нас послать на смерть, — и мы бы пошли и верили бы, что так нужно.

И вот он теперь приехал.

— Иван Николаевич, это безумие!

— Скажите-ка лучше, что у вас там в комитете наерундили? Совсем меньшевистские повадки. Это все вас Наташа мутит.

С ночевками его вышла история. Решили поместить его у Катры и поручили мне попросить ее. Но что лезть к человеку, который

отбивается и руками и ногами? Я решительно отказался. Тогда пошел к ней Перевозчиков. Навязчивостью и ложью он многого достигает, — тою фальшивою «пролетарскою моралью», которую культивируют как раз интеллигенты. В Ромодановске он сидел в тюрьме; после долгих хлопот удалось уговорить одного адвоката внести за него залог; Перевозчиков сейчас же скрылся: «У этих буржуев денег хватит!» В квартире, данной нам буржуем, он пачкает сапогами диваны из презрения к буржую.

Катра приняла Перевозчикова высокомерно, высокомерно отказала, а в заключение прибавила:

— Пусть попросит Чердынцев, — тогда я подумаю.

С хохотом Перевозчиков рассказал это. Все хохотали, поздравляли меня с победою над сердцем декадентки. Ужасно было глупо, и я то понимал, что тут вовсе не «победа».

Пересилил себя, пошел. Катра встретила меня очень любезно, в недоумении пожимала плечами, сказала, что тут какое-то недоразумение. А глазами нагло смеялась. И отказа-

ла решительно.

Ночует Розанов там и сям. Раза два даже у Маши ночевал, в передней.

Есть люди, есть странные условия, при которых судьба сводит с ними. Живой, осязаемый человек, с каким-нибудь самым реальным шрамом на лбу, — а впечатление, что это не человек, а призрак, какой-то миф. Таков Турман. Темною, зловещею тенью он мелькнул передо мною в первый раз, когда я его увидел. И с тех пор каждый раз, как он пройдет передо мною, я спрашиваю себя: кто это был, — живой человек или странное испарение жизни, сгустившееся в человеческую фигуру с наивно-реальным шрамом на лбу?

В первый раз я его увидел на митинге, в алом отблеске знамен, среди плеска и шума неудержимо нараставшей потребности в действии. Бледный полицмейстер пытался говорить:

— Граждане! Чтоб избежать напрасного кровопролития...

— Долой! Не мы крови хотим, а вы!..

— ...чтоб напрасно не полилась челове-

ская кровь, я умоляю вас...

— Вон его!.. Долой!..

Полицмейстер измученно махнул рукою и сошел с ящика. Кипели речи. Около полицмейстера стояла Наташа. Мелькнула темная фигура, — это был Турман. Задыхаясь, он остановился перед полицмейстером, потоптался. Странно наклонившись, шагнул в сторону. Опять воротился. Как будто сновала зловещая ночная птица. В одно время полицмейстер и Наташа вдруг поняли, — понял вдруг и Турман, что они поняли. И стояли все трое, охваченные кровавою, смертною дрожью, и молча смотрели друг на друга. Наташа заслонила полицмейстера рукою и властно крикнула:

— Товарищ, уйдите!

Турман крепко сжатою рукою что-то держал в кармане пальто. Он топтался на месте, дрожал и впивался взглядом в глаза Наташи.

— Уйти?.. Наташа!

— Сейчас же уйдите! Слышите?

— Так уйти?.. Ната... Наташа?..

Я решительно обнял его за плечи.

— Пойдемте, товарищ! Вам тут нечего де-

лать!

Все еще дрожа, он покорно, как в гипнозе, пошел со мною в толпу... Через минуту, все забыв, Турман жадно слушал несшиеся в толпу призывы.

Сегодня он опять темным призраком прошел перед душою, и опять я спрашиваю себя: живой это человек? Или сгустилась какая-то дикая, темная энергия в фигуру человека со шрамом на лбу?

Спокойно глядя на него, Розанов беспощадно говорил:

— В профессионалы вы не годитесь. Никакого дела мы вам дать не можем. Вы не умеете сдерживать себя, когда нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами несетесь с нею...

Турман дрожащими руками закуривал папиросу и никак не мог закурить.

— Как же это не может мне дело найтись? Я ни от чего не откажусь. Давайте, что знаете. Что ж мне, сложа руки сидеть? И это тоже: с голоду издыхать? Сами знаете, я теперь безработный. За общее дело пострадал, никуда не принимают.

— Жалко вас, но партия не богадельня.

— Да я у вас не милостыни и прошу, а дела... Гм! Ну, па-артия! Жалуются, людей нет, а людей гонят. Жалуются, денег нет, кругом все добывают деньги — на пьянство, на дебош... А они на дело не могут.

Розанов быстро поднял голову.

— Как это деньги добывают?

— Как! Сами знаете!

Они молча смотрели друг другу в глаза.

— Вы говорите про экспроприации. Помните, Турман, хорошенько: партия запрещает их.

— Я вам под чужим флагом устрою. Наберу молодцов. Никто не узнает.

— Что такое? — Розанов встал. — Нам с вами разговаривать больше не о чем.

— Та-ак... — Турман взялся за шапку. Он задышался. — Значит, окончательно за хвост и через забор? Благодарим!.. Речи болтать, звать на дело, а потом: «Стой! погоди! Ты только, знай организуйся». Спасибо вам за ласку, господа добрые!

Собрание происходило в народном театре. На эстраде восседал весь их комитет, — пред-

седатель земской управы Будиновский, помощник директора слесарско-томилинского банка Токарев и другие. Приезжий из столицы профессор должен был читать о правых партиях.

Ходили слухи, что на собрание явится со своими молодцами лабазник Судоплатов — местный «Минин» и кулачный боец. Лица смотрели взволнованно и тревожно.

В первом ряду сидела жена Будиновского, Марья Михайловна, рядом с Катрою. Марья Михайловна поманила меня.

— Скажите, вы слышали, что будут судоплатовцы?

— Слышал.

— Неужели ваши будут так бестактны, что выступят?

— Обязательно!

— Ну да! Вы хотите сорвать собрание... Господи, положительно я не понимаю. Сами бойкотируете выборы, — зачем же другим мешать? Ведь бог знает что может произойти. Катерина Аркадьевна, не пойти ли нам за кулисы? Муж мне советовал лучше там сесть, — если что выйдет, легче будет уйти.

— Конечно, пойдите, — оно безопаснее.

Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отвернулась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стуле.

— Боже мой! Смотрите, — верно!.. Он!

В публике произошло движение. От входа медленно шел между стульями лабазник Судоплатов в высоких, блестящих сапогах и светло-серой поддевке, как будто осыпанный мукой. Сухой, мускулистый, с длинною седою бородою. Из-под густых бровей маленькие глаза смотрели привычно грозно.

Говорят, у него дружина в сто человек, вооруженных револьверами. Он входит к губернатору без доклада. Достаточно ему кивнуть головою, чтоб полиция арестовала любого. Он открыто хвалится везде, что в дни свободы собственноручно ухлопал пять забастовщиков.

Прошел он и сел во втором ряду. И замер, прямо глядя перед собою. Как будто удав прополз и лег. Жуткий, гадливый трепет пронесся по рядам. Слухи становились грозящей действительностью.

Наши заняли правую сторону амфитеатра.

Мороз шепнул мне на ухо:

— Ну, значит, быть бою!

Весело блестя прищуренными глазами, он вынул из кармана кастет и показал мне его из-под полы.

Вышел докладчик-профессор. Оглядел толпу близорукими глазами в очках и начал.

Говорил он мягко, красиво и задушевно. Правые партии объявляют себя опорой России: при каждом удобном случае твердят о своей готовности всем пожертвовать для царя и отечества. На днях еще это говорил в Дворянском собрании глава истинно русской партии, граф фон Ведер-Нох. Исследуем же их программу, посмотрим, чем они готовы жертвовать. Вот, например, аграрный вопрос. Беру программу, ищу и нахожу: первым делом рекомендуется переселение. Спору нет, это дело не бесполезно, хотя статистикою доказано, что свободных земель для заселения у нас весьма недостаточно. Но я спрошу: где же тут жертва?.. Рабочий вопрос. Рекомендуется государственное страхование рабочих. Опять против этого ничего нельзя возразить. Но жертва-то, господа, жертва где же?..

Профессор улыбался близорукими глазами и разводил руками.

Ярко вскрыл он узкое своекорыстие разбираемой партии, широко и красиво набросал собственную программу и кончил нападением, что на нас смотрит история.

— В ваших руках, граждане, дальнейшая судьба России, и строго допросите вашу совесть раньше, чем пойти к избирательным урнам!..

Захлопали — громко и настойчиво, но не густо. Большинство загадочно молчало.

Председатель объявил перерыв.

Настроение становилось все тревожнее. Дамы со страхом косились на Судоплатова. Он сидел на подоконнике и сонно-равнодушными, загадочными глазами смотрел перед собою.

Я пошел на эстраду записаться. Будиновский растерянно взглянул на меня. Стал убеждать не выступать.

— Толпа самая ненадежная, — приказчики, мелкие лавочники, — мещане. А мы имеем достоверные сведения, что в публике до полусотни переодетых судоплатовцев. Вы

ведь знаете специальное назначение этих молодцов — в нужные моменты изображать «возмущенный народ». Ваше выступление даст им возможность увлечь толпу на самые неожиданные выходы.

— Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.

Я воротился на место. Дыхание слегка стеснялось, сердце вздрагивало от ожидания. Море голов двигалось вниз. Огромная душа, чуждая и темная. Кто она? Враг? Друг?.. Кругом были свои, с взволнованными, решительными лицами. О, милые!

Зазвенел председательский звонок. Начали рассаживаться. Часть наших стала около эстрады, чтобы в случае чего быть поближе.

Будиновский поднялся из-за стола, взволнованно поглядел в мою сторону.

— Слово принадлежит господину Чердынцеву. Господин Чердынцев, пожалуйста на эстраду!

Алеша любящим беспокойным взглядом следил за мною.

Головы, головы перед глазами. Внимательные, чуждо-настороженные лица. Поднялась

из глубины души горячая волна. Я был в себе не я, а как будто кто-то другой пришел в меня — спокойный и хладнокровный, с твердым, далеко звучащим голосом.

— Господа! Столичный профессор очень жестоко напал здесь на правые партии. Позвольте заявить прямо и откровенно: я принадлежу к самой правой партии. Я — черносотенец. Тем не менее я от души приветствую доклад господина профессора, приветствую те основные мысли, на которых он строит свою критику. Для разных социал-демократов и забастовщиков программы их партии определяются тем, чего они требуют. Вооруженный наукою профессор доказал нам: достоинство серьезной политической партии определяется не тем, чего она требует, а тем, чем она жертвует. Чем жертвуем мы, кого вы называете черносотенцами, — это я после скажу. А раньше спрошу вас, господин профессор, — чем же жертвуете вы и ваша партия?

Разобрав их программу, определив состав партии, я стал доказывать, что всевозможные свободы и конституции им выгодны, сокра-

щение рабочего дня безразлично, наделение крестьян землею «по справедливой оценке» диктуется очень разумным и выгодным инстинктом классового самосохранения.

— Чем же, господа, вы-то жертвуете? Всякие революционеры, — они по крайней мере жизнью своею жертвовали, а вы тогда сидели в ваших норках и болтали на разных съездах. Но вы спрашиваете: чем жертвуем мы? Извольте, я скажу. Вы все говорили о графах и богачах, — верно, — им жертвовать нечем. Но вот тут мы сидим, бедняки и не графы. Мужики, рабочие, ремесленники, приказчики. Да мы всем жертвуем для порядка отечества! Мы жен и детей готовы заложить, как великий наш патриот Минин!.. (Я с пафосом повысил голос.) И зложим, и всем пожертвуем... Жизнь отдадим за могущество и славу матушки России!..

Раздались хлопки, крики «ура!». Судоплатов, подняв бороду, все время пристально смотрел на меня, но тут тоже захлопал. Тогда в разных концах захлопали еще настойчивее. Совы, шныряющие только в темноте, приветствовали сову, смело вылетевшую на солнце.

— Чем мы жертвуем! И вы можете это спрашивать! Да что же вы думаете, мужик нашей партии слеп, что ли? Не видит он, что рядом с его куриным клочком тянутся тысячи десятин графских и монастырских земель? Ведь куда приятнее поделить меж собой эти земли, чем ехать на край света и ковырять мерзлую глину, где посеешь рожь, а родится клюква. А мужик нашей партии говорит: ну что ж! И поедем! Или тут будем землю грызть. Зато смиренно сидим, начальство радуем, порядка не нарушаем... Разве же это не жертва?!

Пронесся недоумевающий ропот. Раздались смешки. Судоплатов еще выше поднял бороду и пристальными, загорающимися глазами смотрел на меня.

— Про неприкосновенность личности вы говорили... На мне вот, господин профессор, потрепанная блуза, а на вас тонкий сюртук. Если я попаду в каталажку, мне там пропишут такую неприкосновенность, какой вам никогда не видать. Всякий околоточный или урядник надо мною все равно что царь. А поверьте, господин профессор, я тоже человек, я

тоже хотел бы, чтобы меня никто не смел хватать за шиворот. Но я говорю: это нужно для высшего порядка. Не моего ума дело соваться в политику. Господину полицмейстеру лучше видно... Да неужели же и это не жертва?

Меня прервал взрыв рукоплесканий и хохот. Судоплатов вскочил и опять сел. Перекатывался хохот, кричали «браво», повсюду трепыхали хлопающие руки, даже на эстраде и в первых рядах.

Я восхвалял рабочих, для порядка голодающих и работающих без конца. Среди хохота и плеска Судоплатов встал и медленно, ни на кого не глядя, пошел вон.

Потом говорил Мороз, Перевозчиков. Опять я говорил, уже без маскарада. Меня встретила буря оваций. И говорил я, как никогда. Гордые за меня лица наших. Жадно хватающее внимание серых слушателей. Как морской прилив, сочувствие сотен душ поднимало душу, качало ее на волнах вдохновения и радости. С изумлением слушал я сам себя, как бурно и ярко лилась моя речь, как уверенно и властно.

Говорили, конечно, и с эстрады, — профес-

сор, Будиновский, Токарев. Но было у них, как обычно теперь: им наносились удары слева, они стыдливо чуть-чуть защищались, а свои удары направляли вправо, в пустоту.

Трогательно было, когда собрание кончилось. Тесною, заботливою толпою меня окружили товарищи рабочие, и я вышел в густом кольце защитников.

Стояла в проходе Катра и скучающе слушала госпожу Будиновскую. Мельком Катра взглянула на меня, и в ее взгляде мелькнула на миг сиротливая зависть и горячая нежность. А может быть, это мне показалось.

— Слышал, слышал, как вы отличились! Везде только о вас и говорят! — Доктор Розанов смеялся зеленоватыми глазами и с горделивою нежностью смотрел на меня. — Вот что: знаете вы некоего человека, которого зовут Иринарх?

Я пренебрежительно ответил:

— Знаю.

Рассказал о его разговоре с Турманом и Дядей-Белым. Я ждал, что глаза Розанова вспыхнут презрением. Но он выслушал внимательно-

но и очень спокойно, с тем взглядом глаз, который я знаю у него, — выше людей смотрящим, где каждый человек — лишь материал.

— Он может нам пригодиться.

— Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей и гастронном жизни.

— Мы ему сколько угодно поднесем пикантных блюд.

Мне хотелось знать, как относится Розанов к его разговору с Турманом.

Розанов уклончиво ответил!

— В сущности, он во многом прав. Только ошибка его, что он мыслит не диалектически. В процессе своей жизнь выработала из человека тип, для которого борьба стала фетишем. Но нельзя же, например, агитатору говорить такие вещи перед толпой!.. Нашел кого просвещать, — Турмана! Этакий болван!

Вчера вечером Алексей нажарил печку, в низкой комнате было жарко и душно, я долго не мог заснуть. Встал поздно, в двенадцатом часу. Наставил в кухне самовар и стал чистить свои ботинки.

В наружную дверь постучались.

— Кто там?

Ответил голос Катры. Что это значит? Я надел ботинки и пиджак, отпер дверь.

Она вошла, румяная от холода, немного смущаясь.

— Здравствуйте! Пришла к вам в гости, — сказала она недомашним, застенчиво тихим голосом и улыбнулась.

Улыбкою, как медленною зарницею, осветилось ее лицо, и осветилось все кругом.

— Чудесно! Сейчас поспеет самовар, будем чай пить.

По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не поддаваться ее красоте и свету ее улыбки.

Катра, наклонившись, снимала с ноги серый меховой ботик, с любопытством оглядывала убогую, обмазанную глиною кухню.

— Как к вам трудно пройти! Сугробы горами и узенькие-узенькие тропинки... Что это вон на полу лежит, письмо? Кажется, нераспечатанное.

Около моей двери лежал большой серый конверт. Я поднял его.

— Должно быть, в щель вашей двери был

засунут, вы открыли дверь, он выпал.

На конверте рукою Алексея было четко написано: «Его Высокоблагородию Константину Сергеевичу Чердынцеву. Весьма нужное». В конверте оказался другой конверт, поменьше, белый, и на нем стояло:

«Костя! Пожалуйста, ради всего тебе дорогого, прежде чем предпринимать что-нибудь, прочти все мое письмо возможно спокойнее, дабы не сделать ложного шага».

Я дрожащими руками разорвал конверт. Было написано много, на двух вырванных из тетради четвертушках линованной бумаги. Перед испуганными глазами замелькали отрывки фраз: «Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых... Открой дверь при Фене... Скажи ей, что я самоубийца... согласится дать показание. Вчера воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар».

Из смутного тумана быстро выплыло вдруг побледневшее лицо Катры. Как в зеркале, в нем отразился охвативший меня ужас. Я бросился мимо нее к двери Алексея.

Дверь была заперта изнутри, — крепкая, в

крепких косяках. Я бешено дернул за ручку. Что-то затрещало и подалось, я дернул еще раз, радостно и удивленно чувствуя, что силы хватят. Правый косяк подался, дверь с вывернувшимся замком распахнулась, и штукатурка в облаках белой пыли посыпалась сверху. Охватило душным, горячим чадом.

С кровати, придвинутой изголовьем к открытой печке, полусидя и странно скорчившись, Алексей неподвижно смотрел в просвет взломанной двери.

Я бросился к нему.

— Алеша!.. Голубчик!..

Бледный, он перевел на меня, не узнавая, огромные, чуждые, смертно-серьезные глаза. Смотрел и бессмысленно бормотал:

— Что такое?.. Что такое?..

Я раскрыл форточку, вынул из трубы горячие вьюшки. В мутных глазах Алексея мелькнуло сознание. Он медленно спустил ноги с кровати и вздохнул.

— Родной мой, Алеша!..

Задыхаясь, с дрожащими губами, я сел рядом с ним, обнял его плечи. Он сидел в одном нижнем белье, вытаращив глаза, и медленно

оглядывался — с пристальным, испытующим любопытством.

— Как глупо! Как нелепо!

Он с отвращением передернул плечами и продолжал украдкой оглядываться, как будто выискивал, отчего не удалась попытка.

Я что-то говорил, а он безучастно молчал. В дверях показалась Катра и, увидев его раздетым, отошла. Алексей равнодушно проводил ее глазами. Белый, уныло-трезвый свет наполнял комнату. У кровати стоял таз, полный коричневой рвоты, на полу была натоптана известка, вдоль порога кучею лежало грязное белье, которым Алексей закрыл щель под дверью.

И он сидел понурившись, с вырисовывавшимся под бельем крепким, мускулистым телом, сложив на коленях большие, как будто рабочие руки.

— Что у меня такое с языком?.. Посмотри, пожалуйста, у меня ощущение, как будто кончика нет. — Еще сильнее обычного его голос звучал неестественно и деланно.

Он высунул распухший, толстый язык. На языке темнели глубокие отпечатки зубов, как

на тесте. Я ответил:

— Распух язык. Ты его себе прикусил.

Не глядя на меня, он лег в постель и укрылся одеялом. Я осторожно и любовно спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

Алексей равнодушно ответил:

— Ничего. Голова только отчаянно болит...

Попробую заснуть. — Он помолчал. — Вот что, Костя: пожалуйста, никому не говори. Так глупо!

Он отвернулся к стене и закутался с головой. Я вышел. Катра стояла в моей комнате у окна. Она торопливо стала спрашивать:

— Ну, что? Как он?

— По-видимому, ничего, все благополучно.

Должно быть, поздно печку закрыл, мало было угару, а организм здоровый... Пожалуйста, Катерина Аркадьевна, никому не рассказывайте.

— Ну да, конечно же!.. Скажите, ведь при угаре помогает нашатырный спирт? Вам нужно здесь остаться, я схожу в аптеку.

Она поспешно оделась и ушла. Я поднял с пола письмо, стал читать:

15 февраля, 2 ч. ночи.

«Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Пожалуйста, поступи так: открой дверь при Фене (ключ под дверью на пороге), скажи, что я самоубийца, что я буду гореть в вечном огне и что помочь мне могут только панихиды. Она девушка добрая и согласится дать такое показание: „Алексей Васильевич часто топил печку на ночь; вчера вечером он воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар...“ Только бы Маша не узнала настоящей причины! Голубчик, дорогой, прими к этому все меры!.. Я больше месяца мучился, старался побороть себя, но не могу, и даже мысль о Маше не может меня удержать. Бедная, бедная Мадонна! Я любил ее больше всех на свете.

А причины? Что же я не пишу о причинах моей смерти? Я чувствую себя чересчур уж „маленьким человеком“. Я думаю, больше нечего об этом писать, ты меня поймешь. Прощай, мой хороший, смелый, умный. Если я на что шел, то только потому, что ты вел ме-

ня. Завтра вы будете пить чай, ходить по улицам, а меня совсем не будет... Чудно!»

8 час. утра.

«Проснулся, — голова болит, но жив; пошел и взял назад это письмо. Как глупо! Видно, пять поленьев мало. Поэкономничал, жалко было тратить много дров. Все моя глупая деликатность. Сегодня положу в печку десять».

4 часа утра, 16 февраля.

«Вчера ночью я плакал, волновался, уходил из дома, а теперь чувствую такое спокойствие и решимость! Печка натоплена жарко, углей масса, и жар валит в комнату. Теперь мне такими маленькими-маленькими кажутся все людские страдания и печали. И знаешь? Такою маленькою кажется мне и твоя радость жизни, освещенная будущим. Неужели ты вправду веришь в нее? Ну, не сердись, прости меня. Ты, конечно, веришь, иначе как бы ты мог жить? Но это вера, и не больше. А я к своему выводу пришел разумом, неопровержимою логикой: жизнь человеческая есть от-

рицательная величина, а смерть — нуль; нуль же больше всякой отрицательной величины, это говорит математика. И если даже прав Иринарх относительно размаха в положительную и отрицательную сторону, то и тут я столь же строго математически извлекаю среднее и получаю тот же молчаливо-выразительный нуль... Прощай!»

Он пытался, значит, две ночи подряд! Я смотрел на ровные, четкие строки, на эти два сероватых листика с школьною голубою линовкою... А вчера вечером он со мною пел, дурачился. Это, — имея позади одну ночь и в ожидании другой. У меня захолонуло в душе.

Я вышел в кухню, заглянул в его комнату. Алексей лежал лицом к стене и — притворяясь? — ровно и громко дышал, как будто крепко спал. Я сел к нему на постель, обнял через одеяло и припал к нему.

Алексей вздрогнул, раскрыл глаза и, тряхнув головою, стал оглядываться, как человек, разбуженный после крепкого сна. И нельзя было разобрать, притворяется он или нет. Я сказал прерывающимся голосом:

— Алеша, Алеша, что ты хотел сделать!

Он старался не встретиться со мною глазами. Взгляд его был чуждый и отдаленный; на бледном, страшно осунувшемся лице темнели глубоко впавшие, окаймленные синевой глаза. Он как будто смотрел из другого мира, неподвижно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я продолжал:

— И почему? Какие причины? То, что ты пишешь, — разве это основание? «Маленький человек». А разве мы все не маленькие? Неужели право на жизнь имеют только Ласали и Гарибальди? Да и не в этом все дело, ты просто изнервничался в тюрьме, ослабел.

Алексей слушал, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. На губах его мелькнула усмешка. Он удивленно сказал:

— Чудак ты! Вот я не думал, что ты будешь так держаться! Что тюрьма? Посмотри, какой я крепкий. Дело вовсе не в этом. Ты отлично должен бы все понять.

— А потом — Маша. Как можно было бы это скрыть от нее? Конечно, Феня разболтала бы, да и вообще то, что ты придумал, слишком невероятно... А что бы с нею тогда ста-

лось?

— По-твоему, это, значит, главная причина? А если бы Маши не существовало? — с странным любопытством спросил Алексей. Он поднял голову и облокотился о подушку. — Для чего мне, собственно, продолжать жить? Неумелый. За что ни возьмусь, получается ерунда. Вот два раза подряд даже убить себя не сумел. И ты отлично знаешь мою судьбу: ворочусь в университет, кончу — sereneкий, аккуратный; поступлю на службу... А страдания меня вовсе не прельщают... Для чего же все?

Он теперь прямо смотрел мне в глаза, и глубоко в его зрачках светилась добродушная, прощающая усмешка.

Я растерянно молчал. Этот взгляд, смотревший на меня из другого мира, принял бы одну только глубокую правду. И все, что я мог бы сказать, чувствовало себя ненужным, фальшивым, все бессильно спадалось, обвисало и сморщивалось. Радость жизни, радость борьбы, — но он их не ощущал. Жизнь для других, — но как будто об этом можно случайно забыть и при напоминании убедиться... А

между тем душа громко, настойчиво кричала, всем существом кричала, что должно быть что-то громадное, полное, могучее по своей неоспоримой убедительности. Но что?

Я молча прошелся по комнате, сел к столу. Около склянки с чернилами аккуратную стопочкою были сложены все конспекты, записная книжка, потертый кожаный портсигар. Паспорт был раскрыт. В рубрике: «Перемены, происшедшие в служебном, общественном или семейном положении владельца книжки», рукою Алеши четко было вписано:

«Волею космического разума обратился в ничто 16 февраля 1906 г., в 6 часов утра».

Алексей увидал, что я читаю, и поморщился.

— Э, это я так, дурачился.

Я перевернул страницу. Все рубрики были заполнены его старательным, аккуратным почерком.

«Приметы: рост: — Так себе. Цвет волос — Неопределенный. Особые приметы — Конечно, нету».

Алексей неестественным голосом сказал:

— Слушай, Коська, я спать хочу. Голова бо-

лит.

— Я уйду. Только вот что... Голубчик! — Я нерешительно подошел. — Дай мне слово, что больше не будешь пытаться.

— Не буду. Не сумел, — сам виноват. Теперь бы это было свинством.

— Правду только говоришь, Алеша?

Любовь и горькая жалость были во мне. Я обнял его и целовал — нежно, как маленького, беззащитного брата. Алексей вдруг всхлипнул, обнял мою шею и тоже крепко поцеловал меня. И я чувствовал, как страшно пусто и как страшно холодно в его душе.

— Алешка, Алешка, тяжело тебе! Нужно, брат, встряхнуться, нужно перестроить жизнь... Мы поищем...

Он усмехнулся.

— Теперь только и остается. Отказался от смерти, приходится что-нибудь поискать в жизни.

— Найдем, брат, найдем!.. Ей-богу, найдем!

Стало легко и близко, разрушилась преграда. Мы несколько времени сидели молча. Я участливо спросил:

— Голова болит?

— Ужасно! — поморщился он.

— Сейчас Катерина Аркадьевна принесет нашатырного спирта. Ты его нюхай, легче будет.

— Слушай, зачем она здесь?

— Случайно зашла, и как раз попала.

— Ну, ладно, буду спать...

Я ушел в свою комнату, подошел к окну. На улице серели сугробы хрящеватого снега. Суки ветел над забором тянулись, как окаменевшие черные змеи. Было мокро и хмуро. Старуха с надвинутым на лоб платком шла с ведром по грязной, скользкой тропинке. Все выглядело спокойно и обычно, но было то и не то, во всем чувствовался скрытый ужас.

Сегодня утром так же чуть таяли хрящеватые сугробы, так же проходили по тропинке женщины к обледенелому колодцу. А в это время он, со смертью и безнадежностью в душе и со страшною решимостью, валялся головою к печке в горячем угарном чаде, с судорожно закушенным языком.

И мне вспомнилось: в первую из этих ночей я долго слышал сквозь сон, как он двигался в своей комнате, слышал скрип наружной

двери и шаги за окном. А вчера вечером мы пели вдвоем, боролись, и он смеялся. Потом, ночью, я читал Макса Штирнера, а там, за тонкою стеною, совершалось в человеческой душе самое страшное, что есть на свете. Страшное — и одинокое, глубоко, непостижимо одинокое. И если бы он тогда вошел ко мне и сказал: — отбросим все условности, поговорим по душе, не прячась друг от друга, — скажи по совести, для чего мне продолжать жить? — то я все равно ничего не мог бы ему ответить. И он, стоя обеими ногами в могиле, смотрел бы на мою растерянность с тою же добродушною насмешкою...

Извозчик подъехал к воротам. Торопливо вошла Катра с нашатырным спиртом. Я пошел со склянкою к Алексею. Опять он встряхнулся и удивленно раскрыл глаза, и опять нельзя было понять, — спал ли он, или притворялся и думал о чем-то.

Как будто для моего удовольствия он понюхал раза два из бутылочки и завернулся с головою в одеяло. Я тихонько вышел. Катра задумчиво ходила по моей комнате.

— Константин Сергеевич, может быть,

можно ему что-нибудь сделать, помочь ему... Отчего это он, отчего?

Я устало сел на постель. Недоумение и растерянность были в душе, и что-то, как будто помимо сознания, напряженно думало все над одной мыслью:

— Вот вплотную подойдет к вам человек, подойдет и спросит: не хочу я жить, — почему мне не умереть? И ответьте ему так, чтобы это не было фразой. На что же мы вообще можем ответить, если не можем ответить на это? А ведь, казалось бы, ответить нужно так, чтоб ясная убедительность ответа покоряла легко и сразу, нужно ответить с недоумевающим смехом, — как можно было об этом даже спрашивать...

Катра, наморщив брови, смотрела мимо меня в окно, как будто намеренным непониманием отгораживалась от моих вопросов. Она сказала:

— Может быть, это временное? Нужно отвлечь его от его мыслей и настроений, рассеять...

Сидела она, облокотившись о стол, и была это не запершаяся в себе красавица, лелею-

щая свою красоту, а прежняя Катра, с гладкими волосами, простая и отзывчивая. Стало близко, как с товарищем. Мы долго сидели и разговаривали вполголоса.

Я наставил давно выгоревший и остывший самовар. Решили, что Алексею хорошо бы выпить чаю с коньяком. Катра осталась дежурить, а я пошел в город за вином и тихонько захватил свои часы, чтобы заложить.

Спускались сумерки. Мелкий, сухой снег суетливо падал с неба. Я остался один с собою, и в душе опять зашевелился притихший в разговорах ужас. На Большой Московской сияло электричество, толпы двигались мимо освещенных магазинов. Люди для чего-то гуляли, покупали в магазинах, мчались куда-то в гудящих трамваях. Лохматый часовщик, с лупою в глазу, сидел, наклонившись над столиком. Зачем все?

Так огромно было то, перед чем сегодня ночью стоял Алексей. Так ничтожна была суетня кругом. И не только она. Мелькнувшее в темноте румяное личико девушки, перебитая каблуком переносица Прасковьи, стачка циглеровцев, вопросы о будущем, искания мыс-

ли и творчество гения — все одинаково было ничтожно и мелко.

И опять мне вспоминалось, как с темною безнадежностью в душе он валялся с закушенным языком в жарком угарном чаде. И губы начинали прыгать, и в темноте слезы лились из глаз.

Идут дни. Снова все обычно. Снова мы разговариваем, шутим, как будто ничего не случилось. Но он смотрит на меня из другого мира и только скрывает это. Когда я осторожно пытаюсь заговорить о том, что у него в душе, он морщится и отвечает:

— Ну, оставь, пожалуйста! Я дал тебе слово, что больше не буду повторять, — чего же тебе еще?

Что-то глухо огородило его душу. Хочется разорвать, раскидать руками преграду, вплотную подойти к его душе, горячо приникнуть к ней и сказать...

Но что сказать?!

В душе моей ужас. И не потому, что Алеша стоит перед смертью. На моих глазах его били городовые дубинками и рукоятками револьверов, залитая кровью голова бесчувственно

моталась. Я шел мимо, одетый деревенским парнем, с гирляндою револьверов под полубубком. И тогда было не то. Я шел — и не мозгом, а всем существом в лихорадочном смятении ощущал одно: Алеша, Розанов, я, другие — все это совсем ничто, есть что-то огромное и общее, а это пустяки. Сейчас избивают Алешу, — пускай! Завтра меня самого, раненого, будут топтать лошадью, пускай! И это думалось без смирения и без гордого вызова, а просто как что-то естественное и само собою понятное.

Тогда было совсем не то.

Топится печка. В ее пасти — куча раскаленных мигающих углей, по ним колышутся синие огоньки. Алексея нет дома. Я сижу с кочергой перед печкой в его комнате. Мне кажется, в воздухе слабо еще пахнет угаром и смутный ужас вьется в темноте.

Перед тою ночью, вечером, мы пели дуэтом: «Не шуми ты, рожь...» Он однообразно и размеренно гудел своим басом, и я возмущался, дирижировал, замедлял темп. Там есть слова:

Тяжелей горы, темней полночи,

Легла на сердце дума лютая...

Я морщился и останавливал его.

— Ну, Алешка, ведь дума лютая, — ты пойми, представь ее себе!.. Тоски побольше, грусти безнадежной... Давай еще раз!

Он конфузился, и мы начинали снова. И он бесплодно старался вложить безнадежную тоску в «думу лютую»... А у самого в это время — какая лютая-лютая дума была в душе!

От печки жарко. Темные налеты, мигая, проносятся по раскаленным углям. Синие огоньки колышутся медленнее. Их зловещая, уничтожающая правда — ложь, я это чувствую сердцем, но она глубока, жизненна и серьезна. А мне все нужно начинать сначала, все, чем я жил. У меня, — о, у меня «дума лютая» звучала такой захватывающею, безнадежною тоскою! Самому было приятно слушать. И теперь мне стыдно за это. И так же стыдно за все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил.

Все нужно начинать сначала.

Жизнь неслась, как будто летел вдаль остроконечный снаряд, со свистом разрезая за-

мутившийся воздух. Так неслась жизнь, и мы в ней. Голова кружилась, некогда было думать. И вдруг, как клубок гадов, зашевелились теперь вопросы. Зашевелились, поднимают свои плоские колеблющиеся головы.

И я читаю, читаю. И я думаю, думаю. И самому смешно — мне поскорее, пока Алеша не убил себя, нужно узнать вновь, и уже всерьез, — зачем жить.

Зачем жить?

Я смотрю на эти два написанных слова. Чего-то стыдно. Они глядят так наивно-банально, так по-гимназически. И это особенно страшно. Смешно глядят они не потому, что только гимназист не знает ответа на странно-простой вопрос, а потому, что только еще гимназист может ждать возможности ответа.

Ответа нет нигде. А люди живут.

Гольтяков все пьет. Пропил инструменты, пропил тальму Прасковьи. Вчера вечером пришел, рванул себя зубами за руку, оторвал лоскут кожи.

— Вот! Себя не жалею!.. То ли с тобой сделаю!

Ночью за нами прибежал Гаврик, братиш-

ка Прасковьи. Гольтяков накинулся на избитую до бесчувствия Прасковью и стал ее душировать. Мы оттащили его и связали. Он щелкал зубами, катался по кровати и хрипел:

— Доберусь до тебя, шлюха проклятая, погоди!.. К студентам бегаешь ночевать, — думаешь, не знаю!.. Нашла заступников... Погоди!..

Гнусность, гнусность!

Зашел Иринарх, передал мне просьбу Катры прийти к ней. И, как маньяк, опять заговорил о радости жизни в настоящем, о бессмысленности жизни для будущего. Возражаешь ему, — он смотрит со скрытою улыбкою, как будто тайно смеется в душе над непонятливостью людей.

Я расспрашивал, подходил с разных сторон. Я хотел узнать, можно ли хоть что-нибудь извлечь из его осияния для того, что мне было теперь так важно. Но, занятый своим, Иринарх не замечал кровавой жизненности моих вопросов. Глядя из-под крутого лба, с увлечением разматывал клубок своих мыслей:

— Все уныло копошатся в постылой жиз-

ни, и себе противны, и друг другу. Время незрело, и предтеч было много. Придет пророк с могучим словом и крикнет на весь мир: «Люди! Очнитесь же, оглянитесь кругом! Ведь жизнь-то хороша!» Как и Иезекииль на мертвое поле: «Кости сухия! Слушайте слово господне!»

Я с ненавистью расхохотался.

— «Жизнь хороша!»... Сотни веков люди ломают себе голову, как умудриться принять эту загадочную жизнь. Обманывают себя, создают религии, философские системы, сходят с ума, убивают себя. А дело совсем просто, — жизнь, оказывается, хороша! Как же люди этого не заметили?

— Потому не заметили, что хотят «счастья», что задушены мертвым утилитаризмом. Что не настоящим живут, а ждут всего от будущего — либо в этом, либо в том мире...

Я уходил с ним. На крылечке под февральским солнышком сидела дрябло-жирная Пелагея Федоровна и кормила манною кашею любимого внука. Сытый мальчишка через силу глотал кашу.

— Кушай, золотце мое!.. Вон Гаврюшка

смотрит... Не-ет! Мы тебе не дадим, мы сами хотим! Ну, кушай, раскрой ротик! Ишь какой Гаврюшка! Смотрит!.. А вот дяди подошли, говорят: «Дай нам!» Не-ет, не дадим, ишь какие ловкие! Вы пойдите у себя покушайте, а это мне!

Иринарх смеющимися глазами смотрел и жадно любовался. Мальчонка холодным взглядом враждебно косился на нас и сквозь набитый кашею рот повторял:

— Это мне!

Прошла Прасковья с неподвижными, сурово-страдальческими глазами. Пелагея жалостливо спросила:

— Ну что, милая? Где злодей твой?

Прасковья слегка покраснела и с сумрачным вызовом ответила:

— Где? На работу пошел!

Иринарх, пораженный, смотрел ей вслед.

— Кто это? Какие глаза замечательные!

Мы шли к воротам. Я рассказывал ему про Прасковью, про недавнюю ночь. Он рассеянно слушал и вдруг сказал:

— Вот если бы не было страданий у нее, если бы муж ее хорошо зарабатывал, не бил бы

ее, холил... Была бы она, как эта вот хозяйка твоя, — жирная, заплывшая, со свиным взглядом.

Я, задыхаясь, остановился.

— Уходи! Уходи от меня!.. Я не могу с тобой идти, иди один!

Иринарх очнулся от своих мыслей и с недоумением взглянул на меня.

— Что такое?

— Вон!! Выкидыш засохший!

Я в бешенстве хлопнул на него калиткою, она вышибла его на улицу, и я задвинул за-сов.

Нехорошо и глупо. Но уж больно нервы растрепались за последние дни. Вспомнишь, — опять сжимаются кулаки и охватывает кипящая злоба.

Но не только за Прасковью. Я вслушиваюсь в себя, — да, давно уже в проповедях Иринарха что-то вызывало во мне растерянную досаду, я не мог себе опровергнуть у него какого-то неуловимого пункта и растерянность свою прикрывал разжигаемым презрением к Иринарху.

Довольно вилять перед собою. В одном, са-

мом существенном и важном, Иринарх прав, — жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим. А теперь, и теперь особенно, — я не знаю и не понимаю, как это возможно.

Пришла Катра. Робкая, застенчивая. Украдкою приглядывается ко мне. Своим тихим, недомашним голосом сказала с упреком:

— Отчего вы за это время ни разу не зашли ко мне? Ведь вы же понимаете, мне хочется знать, как Алексей Васильевич.

— Ничего. Совсем по-прежнему. Ходит на урок.

— Я сейчас с ним встретила на улице, разговаривала. Вы знаете, у него в глазах как будто какая-то темная, мертвая вода. И он боится чужих глаз. Он все равно скоро убьет себя.

Теплым участием звучал ее голос. Но вдруг что-то во мне дрогнуло, — глубоко в зрачках ее прекрасных глаз, как длинный и холодный слизняк, проползло выжидающее, осторожно-жадное внимание.

Что такое было, я не знаю. Но не верю я те-

перь ее участию к Алеше. И когда она ушла, я злобно погрозил ей вслед кулаком.

Плохо идут у нас дела. Настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становятся на работу. И совсем другое теперь, когда перед тобою то же море голов. Не волшебный сад, а бесплодная пустыня. Живые, рвущиеся к жизни семена бесильно стучаются о холодные камни.

Староносовцы чуть вчера не избили Дядю-Белого.

— Три дня до получки оставалось, — что было подождать? Нет, — «пристанем, ребята!..» А жрать нам тоже надо, не снегом кормимся!

Дядя-Белый смотрел, остолбенев от неожиданности.

— Товарищи, вспомните: я как раз вас удерживал. Как раз я говорил: подождем до получки. Вы же меня тогда обругали трусом и предателем.

— За других влетели в кашу!.. Мы от хозяев обиды не знали!

Согнулись спины, потухли глаза. В темно-

те сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей. А Мороз и другие в тюрьме.

Жадно я вглядываюсь во встречные лица. Меня узнают. Глаза одних со стыдом отворачиваются, глаза других загораются враждою.

Что-то у меня в душе перестраивается, и как будто пленка сходит с глаз. Я вглядываюсь в этих сторбленных, серых людей. Как мог я видеть в них носителей какой-то правды жизни! Как мог думать, что души их живут красотой огромной, трагической борьбы со старым миром?

Светятся в сырой соломе отдельные люди-огоньки, краса людей по непримиримости и отваге. А я от них заключал ко всем. Налетит ветер, высушит солому, раздует огоньки, — и на миг вспыхнет все вокруг ярким пламенем, как вспыхивает закрученная лампа. А потом опять прежнее.

Помню я незабываемое время. Сотни тысяч людей слились в одно, и все трепетало небывало полною, быстрою жизнью. Сама на себя была непохожа жизнь — новая, большая, палившая душу живящим огнем. И никто не

был похож на себя. Весь целиком жил каждый, до ногтя ноги, до кончика волоса, — и жил в общем. Отдельная жизнь стала ничто, человек отдавал ее радостно и просто, как пчела или муравей.

Но упал ветер, полил дождь, — и где они, сотни тысяч? Мокрая солома. А Мороз, Дядя-Белый — неизменно те же.

Не теперешняя наша мелкая неудача наде-ла на меня темные очки. Давно уже мне на-чинает казаться, что мы обманываем себя и не видим кругом того, что есть. Повторяем грозные фразы о своей силе и непримиримо-сти, в волны спадают, спадают, и скоро мы бу-дем на мели.

О, я верю и знаю, воротятся волны, взмоют еще выше, и падут наконец проклятые твер-дыни мира. Я не об этом. Но я ясно вижу те-перь, — не тем живут эти люди, чем живут Мороз, Розанов, Дядя-Белый. Тогда иначе бы-ло бы все и больше было бы побед. Не в борь-бе их жизнь и не в процессе достижения, не в широком размахе напрягавшихся сил.

А в чем?

Мне не интересны десятки. Вот эти сотни

тысяч мне важны — стихия, только мгновениями способная на жизнь. Чем они могут жить в настоящем?.. А подумаешь о будущем, представишь их себе, — осевших духом, с довольными глазами. Никнет ум, гаснет восторг. Тупо становится на душе, сытно и противно, как будто собралось много родственников и все едят блины.

У Катры постоянно приезжие гости. Особенная атмосфера там — пряная и слегка пьянящая. Чувствуется всеобщая тайная влюбленность в Катру. Я несколько раз был у нее. Там говорят о том, что мне теперь так важно.

Но мало дает.

Говорят, что мир плох, нужно его в своей голове сотворить другим, заслонить жизнь измышленной красотой. Что смысл жизни откроется людям в каких-то вакхических хоровах. Об искусстве говорят так, как мы говорим о борьбе. Много о боге говорят, очень умно и красиво. Но не чувствуется того смятенного трепета, который я чую в Маше. И понимаю я, что, раз побыв тут, Маша грустно ушла и больше не бывала. Не бог у них, а «бо-

ог». Не огонь души, а гимнастика для ума. Величественный на вид, но удивительно покладистый и нетребовательный.

А сегодня читал свою странную драму Ивашкевич.

Я смеялся про себя необычным образам и оборотам, непонятым разговорам, как будто записанным в сумасшедшем доме. Не дурачит ли он всех нас пародией?.. И вдруг, медленно и уверенно, в непривычных формах зашевелилось что-то чистое, глубокое, неожиданно-светлое. Оно ширилось и свободно развевалось, божественно-блаженное от своего возникновения. Светлая задумчивость была в душе и грусть, — сколько в мире красоты, и как немногим она раскрывает себя...

Он кончил, взволнованно ждал суждений. Быстро вышел без цели в столовую, опять воротился и непрерывно курил. Пряча самолюбие, впился в заговорившего глазами, приготовившимися к отрицающей оценке.

И ребячески-суетною радостью загорелись настороженные глаза от похвал. Губы неудержимо закручивались в самодовольную улыбку, лицо сразу стало глупым. Я вглядывал-

ся, — мелкий, тщеславный человек, а глубоко внутри, там строго светится у него что-то большое, серьезное, широко живет собою — такое безучастное к тому, что скажут. Таинственная, завидно огромная жизнь. Ужас мира и зло, скука и пошлость — все перерабатывается и претворяется в красоту.

Какая ошибка! Я искал ответа на свой вопрос у мыслителей, у творцов. Что я мог у них найти?

Благоухающие цветы человечества ищут смысла жизни и делают открытие, — смысл в том, чтобы благоухать. А крапива, репей, бурьян поучаются, вздыхают и повторяют: «Да, наше призвание — благоухать!» Орлы рвут ураган стальными крыльями и кричат сверху: «Жизнь в том, чтобы бороться с грозами!» А козявки цепляются за бьющиеся под ветром листья и пищат: «Да, жизнь в борьбе с грозами!»

Мне нет дела до орлов и цветов человечества. Борцы, подвижники, творцы, — они всегда жили и будут жить — в исканиях и муках, в восторге побед и трагизме поражений. А эти

вот, серенькие, маленькие? Этот бурьян человеческий? Ведь здесь-то именно и нужно знать, для чего жизнь. Все люди живут. И для всех должно быть что-то общее. Не может смысл жизни разных людей быть несоизмеримым.

Эти, вот эти, серые, бесцветные. С какой стороны к ним подойти? Если они живут и довольны жизнью, меня злость берет и негодование. Хочется толкать их, трясти, чтоб они очнулись и взглянули кругом, — вы не живете, вы обманываете себя жизнью! А очнутся, взглянут, — вот Алеша. И охватит ужас. И кричит душа, что есть, есть и должно быть что-то для всех.

Но что, — я не знаю. Строго, пристально вглядываюсь я в себя. Чем я живу? И честный ответ только один: не хочу быть и никогда не стану человеческим бурьяном, Стану Розановым, Лассалем. Иначе не понимаю жизни... Собрание врагов волнуется и бушует, председатель говорит: «Господа, дайте же господину Чердынцеву возможность оправдаться!» И с гордым удивлением орла среди галок я в ответ, как Лассаль: «Оправдаться?.. Я пришел

сюда учить вас, а не оправдываться!»

Царственная, уверенная в себе сила, неотвратимо покоряющая людей и жизнь. Трепет врагов при одном моем имени. Глаза девушек, с сияющим восторгом устремленные на меня.

И может быть... Я все больше начинаю подзревать: может быть, ничего этого не будет. Я тоже бурьян. Когда Ивашкевич читал свою драму и я, всей душой противясь, невольно покорялся вставшей красоте, — я почувствовал себя перед ним таким мелким и плоским. А вчера, — ну, уж расскажу и это, — вчера у Будиновских меня срезали позорно, как мальчишку.

Был спор о недавних событиях. Я привел слова Маркса, что в июньские дни в Париже был разбит не пролетариат, а была разбита его вера в буржуазию. И Шевелев — кадет! — с вежливою улыбкою, даже бережно как-то, возразил, что не помнит таких слов у Маркса; если же они и есть, то согласиться с ними трудно, — в лучшем случае тогда были разбиты и пролетариат, и его вера в буржуазию. Я почувствовал, что краснею, — я не мог, я не

мог уверенно сказать, говорил ли что подобное Маркс, или это я сейчас сам придумал в расчете на незнакомство противника с Марксом. И на возражение его я не умел ответить. А Шевелев не считал нужным закреплять свою победу и с тою же вежливою, бережною улыбкою искусно затушевывал мою растерянность.

Сидел я на крылечке двора. По обледенелой тропинке, под веревками с развешанным бельем, катался на одном коньке Гаврик, братишка Прасковьи. Феня надрала ему вихры, — все тесемки на белье он завязал узлами, и так они замерзли. Он катался, — худой, с остреньким, вынюхивающим носом, и плутовские глаза выглядывали, где бы опять наколобродить.

Из-под крылечка Гольтяковых вылез на изуродованных ногах худой, облезший щенок Волчок. С месяц назад пьяный Гольтяков, когда Прасковья убежала от него, со злобы вывернул щенку все четыре ноги и забросил его в снег на крышу сарая.

Волчок ковылял и повизгивал, серая шерсть вихрами торчала на ввалившихся

ребрах. Но глаза смотрели весело и детски доверчиво. Он вилял хвостом. Подошел к сугробу у помойки, стал взрывать носом снег. Откопал бумажку, задорно бросился на нее, начал теревить. Откинется, смотрит с приглядывающейся усмешкою, подняв свисающее ухо, залает и опять накинется на бумажку.

— Волчок!

Он повернулся ко мне, а лапою прижимал к снегу бумажку. Задорно приглядывающиеся глаза смотрели на меня, и в них читалось, что жизнь — это очень веселая и препотешная штука.

С улицы деловито забежал на двор большой мрачный пес и стал обнюхивать сугроб у ворот. Волчок, ковыляя и махая хвостом, кинулся к нему, хотел шутливо куснуть его. Пес хрипло огрызнулся и быстро хватил его зубами. Волчок завизжал и покатился в снег.

Я крикнул на пса, он убежал, Гаврик смотрел — и вдруг изо всей силы пхнул коньком визжавшего щенка.

— Гаврик, ну как же тебе не стыдно! Собака его укусила, а ты на него же!

Волчок спасался к себе под крыльцо. Гав-

рик в негодовании смотрел ему вслед.

— Пускай не резонится, что я, такая, кусаюсь. Букашка этакая!..

Через десять минут опять вылез Волчок из-под крыльца. И опять в его приглядывающихся глазах была та же веселая усмешка.

Я пришел за Дядей-Белым. Он живет в Собачьей слободке. Кособокие домики лепятся друг к другу без улиц, слободка кажется кладбищем с развороченными могилами. Вяло бегают ребята с прозрачными лицами. В воздухе висит каменноугольный дым от фабрик.

Дяди-Белого еще не было. В тесной каморке возилась у печки его беременная жена Марья Егоровна. Трое ребят все лежали в кори. Нечем было дышать. От одиночной двери несло снаружи холодом.

Мы сидели с Марьей Егоровной у столика. Щеки ее осунулись, натянулась кожа на скулах, но глаза, прислушиваясь, спрашивали о чем-то неведомом. Так смотрят глаза у девушек-курсисток, у молодых работниц.

Она рассказывала:

— Это ведь уже четвертый ребенок будет,

что же это? Как цепь какая тянется. Я, когда почувяла, всю ночь проплакала. Утром набралась духу, говорю ему... А он... Вдруг вижу, — вся его рожа так и просияла! Есть с чего, подумаешь! Вы только представьте себе, — сияет, как будто я ему невесть какой подарок объявила. Потирает руки, ухмыляется. Поглядела я на его рожу глупую — и тоже засмеялась. Сидим, как дураки, смотрим друг на друга и смеемся...

Она улыбнулась воспоминанию, покраснела. Изнутри идущая радость засветилась в глазах.

— Ну, хорошо. А все-таки... — Марья Егоровна задумалась. — Четвертый рождается, что же потом? Потом — пятый...

Глаза широко раскрылись, обтянутые скулы выдались сильнее.

— А потом... Что же это? Потом — шесто-ой?..

Пришел Дядя-Белый.

— Запоздал я. Идем?

— Да, нужно торопиться.

— Так идем. Егорка, прощай!

Он потрепал по шелушащейся щеке исху-

далого мальчика с большими красными глазами.

— Вот, как в котле, все кипят... Из болезни в болезнь. Только что коклюш перенесли, корь напала... — Со своею медленною улыбкою он добавил: — Зато, какие выживут, закаленные будут люди.

Мы вышли. Изголодавшиеся легкие жадно вдыхали свежий воздух.

— Очень мало вы теперь зарабатываете?

— Мало... Расценки понижают. Что осенью у хозяев отвоевали, все теперь отбирают назад. Каждую неделю народ рассчитывают.

— Тяжело жить?

С бледною улыбкою он ответил:

— Тяжело.

Смотрел я на него: и никогда-то он не горит — всегда спокоен, ясен; упорно и без прерыва смотрит в будущее. Нужно — с холодною отвагою бросится в огонь. Не нужно — с верою ждать будет годы.

Мы молча шли.

Я украдкою приглядывался к нему.

— Да, в будущем всем будет хорошо. А все-таки... Семен Иванович! Теперь-то, — зачем

теперь жить?

Дядя-Белый с недоумением взглянул на меня.

Я упорно говорил:

— Ну что кому до того, что в будущем будет хорошо? Ведь кругом-то от этого не легче. А живут для чего-то... Зачем? — Я повел кругом рукою.

Дядя-Белый поднял брови. Лукавое что-то и хитрое мелькнуло в его наивно-чистых глазах.

— Да, норы собачьи... — Он огляделся кругом, улыбнулся. — Тяжело, невозможно жить. А мы все-таки живы... Вот. Может, через месяц все с голоду подохнем. На ниточке висим, вот-вот сейчас оборвемся, а мы живы! В вонючих своих углах, под грязными одеялами ситцевыми, — а мы живы!

Я остановился и молча смотрел на него. Он все улыбался.

Крутится Волчок на изуродованных ногах. Смотрят с бескровного лица дико-испуганные, мучительные глаза Прасковьи. Радостно краснеет осунувшееся лицо Марьи Егоровны,

Дядя-Белый лукаво улыбается. И один крик несется — вызывающий, мистически-непонятный:

«А мы живы! А мы живы!»

Свивается все в один серый клубок, втягивается в него вся жизнь кругом. Вьется, крутится, — вся неприемлемая, непонятная, — и, смеясь над чем-то, выкрикивает на разные голоса:

«А мы живы! А мы живы!»

Какое-то в этом самооскорбление жизни. Слепота какая-то, остаток умирающего недоумения.

И все-таки упрямо и торжествующе звучит голос Иринарха:

«Человек живет для настоящего...»

Как все это понять, как согласить?

Я жил. Я опьянялся бодрящими, поверхностными разгадками. Теперь мне совсем ясно, — я мог так жить только потому, что глубоко внизу лежала другая, всеисчерпывающая разгадка. Да, несомненно, она всегда была у меня, и вот она: а все-таки лучший выход — взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи —

смерть и только смерть...

И никогда я не мог понять, как люди могут бояться смерти, как могут проклинать ее. Всегда ужас бессмертия был мне более понятен, чем ужас смерти. Мне казалось, в муках и скуке жизни люди способны жить только потому, что у всех в запасе есть милосердная освободительница — смерть. Чего же торопиться, когда конечное разрешение всегда под рукою? И всякий носит в душе это радостное знание, но никто не высказывает ни себе, ни другим, потому что есть в душе залежи, которых не называют словами.

Но вот Алеша взял да и назвал. И тогда меня охватил ужас. Алексей вырвал из мрака таинственное, неназываемое. Назвав, сорвал с него покровы. И лежит оно на свету — обнаженное, простое, ужасное в своей простоте и невиданном уродстве. И я не могу принять его.

Не могу принять этого, — не могу принять и противоположного. Алеша стоит с темными глазами. Дядя-Белый лукаво улыбается.

Розанов увидел у меня на столе «Проис-

хождение трагедии» Ницше. Он поднял брови и со скрытою усмешкою протянул:

— Вот вы чем начинаете интересоваться!

Мне вдруг вздумалось спросить его. И я спросил.

В ответ звучали мертвые, чуждые мне теперь слова, а зеленоватые глаза с изучающим вниманием смотрели на меня. И все больше в них проступало жесткое презрение. Как будто шел человек к спешной, нужной цели, а другой пристаёт к нему: как это люди ходят? Почему? Почему мы вот идем на двух ногах и не падаем?

И мне странно стало, зачем я его спросил. У него только одно: «Кто не за нас, тот против нас». И не над чем задумываться, можно только с насмешкою и презрением отмести мои вопросы в сторону.

Но я вдруг вспомнил, что Розанов — врач, и как раз психиатр. Может быть, он что посоветует относительно Алеши. И я все рассказал ему про Алешу.

Розанов сразу изменился. С горячим участием стал расспрашивать, справлялся о всех подробностях.

— Так, так... это очень важно. Так. Дома он? Я пойду поговорю с ним.

Розанов просидел с Алексеем более часу. Его голос звучал мягко и задушевно. Алеша по-обычному не смотрел в глаза, был взволнован и застенчив, держался со странною, подчиненною почтительностью подпоручика к генералу.

Они вышли пить чай. Маленькие зеленоватые глаза Розанова нежно и ободряюще смеялись на Алешу, властно-уверенным голосом он говорил:

— Вы подержитесь с полгода, сами тогда увидите, какая это все ерунда! А бром принимайте аккуратно, слышите! И обтирайтесь холодной водою.

— Обязательно, конечно! — поспешно отвечал Алеша, конфузясь.

Розанов был доволен собою. Из подчиненной конфузливости Алеши он заключил о силе своего влияния на него. А я видел, что Алеша только еще глубже спрятался в себя.

Я провожал Розанова. С серьезным лицом он ковылял, опираясь на палку, и говорил:

— Штука, в общем, очень скверная. Важно

тут не то, что он сейчас хандрит. А вообще на всей их семье типическая печать вырождения: старший брат — пропойца; Марья Васильевна — с нелепо-неистовым стремлением распинать себя; другой брат, приват-доцент этот, отравился...

— Как отравился?! Евгений Васильевич?

— А вы не знали? Это, впрочем, скрывают. Но в литературных кругах всем известно, да и Марье Васильевне. Отравился цианистым калием... Вот эта-то гниль в крови и опасна.

Я жадно расспрашивал, и в душе у меня хо-лодело.

Обреченный...

Внутри его — власть сильнее разума, от нее спасения нет! Незнаемое отметило его душу своим знаком, он раб и с непонимающею покорностью идет, куда предназначено. А в записке своей он писал:

«К своему выводу я пришел разумом, неопровержимою логикой...»

И я помню его брата Евгения. Блестящим молодым ученым он приезжал к Маше; его книга «Мир в аспекте трагической красоты»

сильно на шумела; в ней через край была напряженно-радостная любовь к жизни. Сам он держался самоуверенно-важно и высокомерно, а в глаза его было тяжело смотреть — медленнодвигающиеся, странно-светлые, как будто пустые — холодною, тяжелою пустою. Два года назад он скоропостижно умер... Отравился, оказывается.

Неведомые науке изменения в мозговом веществе, в нервах. Оттуда изменения вползли в душу, цепкими своими лапами охватили «свободный дух». Алексей и не подозревает предательства. Воспринимает жизнь искалеченным от рождения духом и на этом строит свое отношение к жизни, ее оценку.

«Гниль в крови...» А у других, у меня — что там в крови, что в нервах, что под разумом? Как оно меняет мое восприятие и оценку жизни, как дурачит разум?

А я тоже доверчиво искал «разумом» — для себя и для Алеши. И надеялся найти что-нибудь не пустяковое.

Утром я сидел за книгою. Потом перестал читать и задумался — без мыслей в голове, как всегда, когда задумаешься. За стеною у хо-

зьяки торопливо пробили часы... Сколько? Я очнулся, часы кончили бить. Было досадно — не успел сосчитать, а своих часов нет.

Не шевелясь, я осторожно придержал сознание, придержал память, прислушался к себе. И случилось удивительное. Где-то глубоко-глубоко во мне мерно и отчетливо повторился бой:

— Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум!

Восемь ударов.

Я был поражен. Я вышел в сени и открыл дверь к хозяйке.

— Пелагея Федоровна, который час?

— Сейчас восемь пробило.

Я воротился и взволнованно остановился у окна.

Глубоко внутри все слышался этот отдельный, независимый от меня бой:

— Тум-тум-тум...

Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня. Оно вспоминает, пренебрежительно отбрасывая мою память... Я сейчас читал книгу, думал над нею, все понимал. А теперь почувствовал, что все время внизу, под сознанием, тяжело думалось что-

то свое, не зависимое от книги, думалось не словами и даже не мыслями, а так как-то. И потом, когда я задумался без мыслей, там все продолжалась та же сосредоточенная работа.

— Тум-тум-тум-тум... — звучало в душе что-то слепое и живое.

Как будто в гладком полу освещенной залы открылся люк, и ступеньки шли вниз, — тум-тум-тум! — и я спускался все глубже и в смятении вглядывался в просторную темноту, полную живой тайны.

Алеша в своей комнате обливался холодной водою, потом внес ко мне самовар. Мы сели пить чай. Не глядя мне в глаза, деланно-веселым голосом он рассказывал что-то про хозяйку и Феню. А я украдкой вглядывался в его осунувшееся лицо, в низкий, отлогий лоб...

«Он к своему выводу пришел „разумом, разумом“...»

Зашла Маша. Кроткими своими глазами, в которых глубоко был запрятан болезненный ужас, она радостно смотрела на Алешу и говорила быстро-быстро, сыпля и обрывая слова. Знаю теперь, отчего этот ужас...

Я для разговора спросил Машу:

— Мне говорили, ты отказалась от урока у Саюшкиных?

Она вдруг оборвала себя, замолчала и стала смотреть в угол.

— Да... все равно...

— Отчего ты отказалась?

— Ну, все равно... Так... Это неважно... —

Она покраснела и страдальчески наморщилась. — Я вообще уроков музыки больше не буду давать.

— Почему?

На ее чистом лбу появилась жалкая, упрямая складка.

— Господа, это бесполезно... Это все равно бесполезно... Вы будете спорить, а все равно меня не убедите... Я... не имею права давать уроков музыки...

Мы с изумлением слушали: на днях она при Катре играла Шопена, и Катра мельком сказала, что в ее музыке нет души. Маша два дня мучилась, думала и решила, — если это так, то она не имеет права обманывать непонимающих и брать деньги за преподавание музыки.

Маша доказывала это, волнуясь и торопясь, и против воли в ее голосе зазвучали слезы отчаяния, — она теряла почти все свои заработки.

Алеша спорил, возмущался.

— Это ерунда, но если это даже так?.. Подумаешь! Этим купеческим дочкам ведь только и нужно выучиться играть падеспань и матчиш... При чем тут душа!

— Ну, все равно... Алеша, оставь, не надо... Я не найду, что возразить, мне это будет тяжело, а все-таки я останусь при своем...

Я молчал и смотрел. К чему она ни подойдет, она из всего извлекает для себя страдание. Остается только наморщиться, прикусить губу и смотреть на ее лучистые, живущие страданием глаза и понять, что иначе для нее не может быть.

Они спорили. Слова крутились, сталкивались и бессильно падали. Я пристально смотрел на лица. Пусть спорят, о чем хотят, пусть спорят о самом важном. Пусть говорят друг другу о жизни, о боге — она, отрывающаяся от земли, и он, уходящий в землю. К чему тут слова и споры?

И пусть еще явятся люди, и пусть все спорят, — Розанов, Катра, Окорокова. Мне представлялось: Розанов убедил Машу, — и ее глаза засветились хищным пламенем, она познала смысл жизни в борьбе, она радуется, наносит и получая удары. И мне представлялось: Маша убедила Розанова, он в молитвенном экстазе упал на колени, простер руки к небу и своим свободным духом узрел невидимый, таинственно-яркий свет сверхчувственного...

Да, да! Отчего же это невозможно? Хотелось смеяться. Отчего это невозможно? Ведь одними и теми же законами живет разум — строгий, бесстрастный, сам себя направляющий...

— Тум-тум-тум... — шли звучащие ступеньки в темную глубину.

Спорят. А в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин; как будто спит и не слышит стучащихся снаружи слов и мыслей.

Иринарха дома не было, были только старики. Славно у них всегда — бедно, но уютно и оживленно, хочется чему-то улыбаться. В

уголке сидит молчаливый Илья Ильич и курит. Шумит старенький, ярко вычищенный самовар, Анна Ивановна сыплет словами, и лицо у нее такое, как будто она сейчас радостно ахнет чему-то. И светлые голубенькие обои с белыми цветочками.

Сидела в гостях Юлия Ипполитовна, вечно больная тетка Маши. На губы она нацепила улыбку, а холодно-злые глаза смотрели повсегдашнему обиженно. Анна Ивановна рассказывала про какую-то знакомую.

— Две недели целых мучится. Кричит без перерыву. Морфий впрыскивают, ничего не помогает. У меня до сих пор в ушах стоит ее крик... Как мучится человек!.. Вчера ухожу от нее, — она поманила, я наклонилась, шепчет мне в ухо: Анна Ивановна, милая! Попросите доктора — пусть он меня отравит. Нет моих сил терпеть!..

Ее голос задрожал, и легко выступающие слезинки заблестели на глазах. Юлия Ипполитовна думала о себе, она забыла держать на губах улыбку и измученно сказала:

— Господи, господи, зачем столько страданий дано человеку? Пускай бы умереть, — я

всегда говорю: что в смерти страшного? Но только бы без страданий.

Анна Ивановна на секунду задумалась, как будто споткнулась, и одушевленно заговорила:

— Нет, нет, Юлия Ипполитовна! Нет! А по моему, уж лучше пусть страдания. Какие угодно страдания, только бы жить! Только бы жить! Умрешь, — господи, ничего не будешь видеть! Хотя всю жизнь готова вопить от боли, только бы жить! — Она засмеялась. — Нет, и думать не хочу о смерти! Так неприятно!

Илья Ильич курил в сторонке, слушал и играл бровями. Беззвучно смеясь, он наклонился ко мне.

— А мне это все равно, совсем спокойно слушаю! До меня это дело не касается!

— Что не касается?

— Вот, о смерти эти разговоры. Я не верю, что умру.

Юлия Ипполитовна посмотрела на него со своею внешнею улыбкою.

— То есть как не верите?

— Так-с, не верю! Как это может быть? Что все другие умрут, — я понимаю, а что я? Не

может этого быть... Знаю, что умру, а не верю.

Пришел Иринарх с братьями-гимназистами. Они бегали на пожар.

— Ну что? Ну что?

— Да ничего не было! Просто из трубы выкинуло.

Иринарх смеялся и тер озябшие руки.

— Полное, всеобщее разочарование!.. Бегут все, толпятся, напирают. Уж личности какие-то появились, подсолнухи продают, сбить... Жадно все суются вперед, ворочают головами. «Где, где горит?» Городаш стоит, осаживает публику. Прет какой-то в широких штанах. «Куда, эй!» — «Да я вот только сюда». — «А в морду не желаешь получить?» — «В морду?» — Подумал, почесал в затылке. — «Нет, чтой-то сейчас не хочется...» «Да где же горит-то?» Два пожарных по крыше ходят... Ждала, ждала публика. Уж пожарные уехали. Все стоят, прижидаются: а может быть!..

Юлия Ипполитовна снисходительно заметила:

— Толпа ужасно падка на такие зрелища.

— Я и сам падок! Мне кажется, из меня мог бы выработаться профессиональный зевака.

Как интересно! Ух, люблю пожары! Пламя шипит, люди борются, публика глазеет!

Анна Ивановна замахала на него руками.

— А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь... Батюшки, да что же это я? Вы все убежали, а наверху, должно быть, свет остался... Захарушка, пойди посмотри, что там наверху горит?

Захар пошел, воротился и торжественно доложил:

— Две лампы и одна штора.

Анна Ивановна ринулась наверх. Все захотали.

— Дурак! Как ты смеешь? Я тебе мать, а ты надо мною шутки шутишь?

— «Мать»... Ты до ста лет будешь жить, а все будешь мать?

Анна Ивановна хотела еще больше рассердиться, но рассмеялась.

— Вы знаете, это тут рядом в богадельне две старушки, мать и дочь. Одной девяносто лет, другой семьдесят. Дочь начнет мать ругать, та ей: «Ты бы постыдилась, ведь я тебе мать», — «Да-а, мать! Вы до ста лет будете жить, а все будете мать?»

Иринарх, не слушая, пил чай и говорил:

— Эта потребность возбуждения, возбуждения! Горчицы, перцу, чтоб рот обжигало... На днях как-то взяла меня тоска, пошел я пройтись. Балаганчик, надпись: «Визориум из Парижа». Зашел. Восковые фигуры во фронт с выпученными глазами — Бисмарк, президент Крюгер, Момзен... «Разбойница Милла, наводившая панеку (через ять) не только на людей, но и на правительство»... и как полиция позволила... «Штейн, для личной выгоды убивший адскою машиною двести человек»... И тут же эта адская машина — ящичек какой-то из-под стеариновых свечей, скобочки ни к чему не нужные, винты, гайки, — подлинная! И совсем целенькая! «Любимая жена мароккского султана» — глаза открываются и закрываются, грудь дышит: туррр-туррр!.. туррр-туррр!.. Подходит рябой мужчина с двумя другими. «А где тут болезни показывают?» — «Не знаю. Да нету тут». — «Е-есть! Как нету? Должны быть!» Полез под какую-то рогожку, его оттуда турнули... Уж требуется более острое ощущение! Разбойница Милла и жена мароккского султана приелись!.. Вышел я, всю

дорогу хохотал.

В жестах Иринарха, в ворочанье глаз, в интонациях голоса живьем вставало то, о чем он рассказывал, и все видели жизнь сквозь наблюдающе-смеющуюся, все глотающую душу Иринарха.

Стоял смех. Гимназисты острили. Была та уютная, радующаяся жизни поверхностная веселость, какую полны все они. Анна Ивановна снова и снова наливала Иринарху чай. Иринарх жадно пил и жадно говорил:

— После обеда сегодня шатался я по городу. Лампадки в воротах Кремля. Узкие улицы, пахнет мятою и пеклеванками, мужики у лавазов. Каменные купеческие дома, белые, с маленькими окнами, как бойницы. И собор. Кажется, Гете сказал, что архитектура есть окаменевшая музыка. В таком случае наш собор есть окаменевший вой; так ровно, прямо — ууу!.. (он медленно повел ладонями вверх). И вдруг — стой: купола! Широкие луковичицы — и коротенькие, узенькие хвостики к небу. Дескать, там, наверху, много делать нечего. Не то, что в готике. Сколько там порыва к небу! Дунь на миланский собор, — он по-

летит на воздух. А в наших куполах сколько тяжелой массы, сколько земли! Выть — вой, а все-таки цепляйся за землю. И этот собор наш прекрасен, всегда скажу! Почему? Потому, что он на своем месте, выражает свою сущность. А в мире все прекрасно, если оно проявляется из себя, если не косится по сторонам...

Саша серьезно спросил:

— Ира, ты уже сто стаканов выпил?

— Сто, сто, — рассеянно ответил Иринарх.

— Что ты врешь? — возразил Захар. — Двести пятьдесят, я же считал... Ира, ведь двести пятьдесят?

— Двести пятьдесят, да.

Все хохотали. Иринарх кротко огляделся.

— Я не расслышал, что вы меня спрашивали. — И продолжал говорить. — Кругом одна громадная, сплошная симфония жизни. Могучие перекаты сменяются еле слышными бие-ниями, большие размахи переходят в маленькие, благословения обрываются проклятиями, но, пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах, через то и другое одинаково прозре-вается радостная первооснова жизни...

Иринарх помолчал и задумчиво прибавил:
— Тепло становится в голове, когда мысли эти прихлынут.

Кипел самовар. Весело улыбались голубенькие обои с белыми цветочками. Анна Ивановна умиленно слушала, хоть мало понимала, и в ее полном, круглом лице удивительное было сходство с бородатым, продолговатым лицом Иринарха. На меня нашло странное настроение. Я смотрел, — и мне казалось: одно и то же существо то вдруг расплывается в круглую женскую фигуру, то худеет, вытягивается, обрастает бородою и говорит о симфонии жизни... Потом вдруг перекинется стареньким, ярко вычищенным самоваром и весело бурлит про какую-то бездумную радость. Молчаливо скользнет голубым светом по стенам. И вот опять сидит с бородою, с крутым, нависшим лбом, в тихом восторге вслушивается в себя и говорит умные слова о жизни.

Ну да! Ведь в этом же все и дело. Что мысли Иринарха сами по себе? Дело вот в этом неуловимом, что здесь разлито кругом, что у всех у них в душах. Иринарх нечаянно познал

самого себя, нащупал умом точку, с которой они здесь принимают жизнь. Вот отчего он живет в таком непрерывном, непонятном со стороны восторге. Это восторг от открытой истины. И он вправду открыл истину — для себя, для этого вот дома на Съезженской улице в городе Томилинке. Открыл свою истину. И свою-то истину, пожалуй, открыл не целиком, — не может же даже его истина быть такою смеющеюся. А он рад и думает, что нашел истину вообще, для всех людей, — убежден, что даже Юлия Ипполитовна, с ее брезгливыми к жизни глазами, должна бы только постараться понять...

И так для всех. Да, так для всех. Каждый спустись в глубь своей души и ищи там свою истину. И только для тебя она и годна. Но что же это? Искать и решать, каков параллакс Сириуса, каковы электрические свойства нерва — это мы можем все вместе. А зачем жизнь, в чем она — это решай каждый, запершись в себе?

Если я стану самостоятельно искать разумом, — это будут построения, годные для кни-

ги, для кабинета, для спора, но не для жизни. Если я познаю то, что во мне, — это годится только для меня. И там нет ничего для Алеши. Мы, живущие рядом, чужды друг другу и одиноки. Общее у нас — только параллакс Сириуса и подобный же вздор.

Но что же там у меня? Там, в таинственной, недоступной мне глубине? Я не знаю, не вижу в темноте, я только чувствую, — там власть надо мною, там истина для моей жизни. Все остальное наносно, бессильно надо мною и лживо. Как та «дума лютая», — я пел про нее, вкладывая в нее столько задушевной тоски, а самой-то думы лютой никакой во мне и не было.

Что же там у меня?

Я чувствую трепет, я вижу сквозь темноту, — в глубине моей души лежит неведомый мне хозяин. Он все время там лежал, но только теперь я в смятении начинаю чують его. Что он там в моей душе делает, я не знаю... И не хочу я его! Я раньше посмотрю, принимаю ли я ту истину, которую он в меня вложил. Но на что же мне опереться против него?

— Костя, что с Алешей? Он так страшно из-

менился! У него какая-то темнота в глазах...
Что с ним?

Маша жадно смотрела на меня, в ее глазах замер ужас. Душою своею она видела, как неотвратно надвигается что-то, чего другие не видят. Я успокаивал ее. У нее лились слезы, она быстро бормотала, как будто молилась про себя:

— Если бы он поверил!.. Если бы он поверил!..

— Маша, Маша! Разве это так просто? Что для этого нужно?

— Это так легко, — если бы вы знали!.. Нужно только в себя слушать... В себя смотреть... Вы слишком смотрите наружу, от этого и все...

Так мне это теперь странно! Как все легко заключают от себя к другим...

Маша говорила:

— Я это только ему рассказала. И тебе расскажу, ты не будешь смеяться... Ты ведь знаешь, какая я была раньше. Целые ночи плакала от тоски, никакое лечение не помогало... Раз я читала жизнь Франциска Ассизского. Как он радостно и солнечно жил Христом и

всем миром. Я легла, задумалась. Отчего я такая черствая и темная душой? Отчего для меня ужасен мир? И я так никогда не испытывала, — я вся сжалась в одну молитву. И вдруг в комнату вошел Христос. Я не видела его лица, ничего не видела. Но все во мне затрепетало. Он медленно приблизился, медленно вошел в меня, — и я почувствовала, что все во мне тихо, светло и твердо и что теперь все ужасы навсегда кончились... Потом мне рассказывала тетя Юля. Она вошла в комнату, подумала, — я умираю. Бросилась ко мне. Я вся светилась. — Что с тобой, Маша? — Я встала, обняла ее и заплакала.

Было это глухою ночью, перед рассветом. Я стоял на пустынной улице перед высоким, молчаливым трехэтажным домом. Вдруг с его фасада бесшумно взвилось под крышу огромное сплошное жалюзи. Ярko сверкнули ряды освещенных окон, в доме шумели и кричали. Из окна верхнего этажа вниз головою полетел на мостовую человек, следом за ним упал тяжелый письменный стол. Из окна нижнего этажа тоже вылетело человеческое тело и тя-

жело ударилось о мостовую. В окнах появились пьяные офицеры в расстегнутых сюртуках и угрожающе крикнули:

— Мы сейчас будем стрелять!

Жалюзи быстро и бесшумно опустились, в доме все смолкло, погасло, и из-за жалюзи загремели частые выстрелы. Все побежали, а я прилег за углом и выглядывал на пустынную улицу, по которой свистали пули.

Потом что-то я делал дома вместе с людьми, которых нельзя было различить. В окна залетали пули. Было очень жарко, кажется, кругом все горело. По изразцам печи, в пазухах комода и стола дрожали какие-то светлые, жаркие налеты, и странно было: дунешь — налет слетит, но сейчас же опять начинает светиться и дрожать. Алеша с прикушенным распухшим языком жался в темный угол и притворялся, что не видит меня.

И я вышел к перекрестку, где стояли извозчики, стал нанимать сани, но извозчики только смеялись надо мною. Тогда, уже не собираясь ехать, я сел в сани самого заднего извозчика, он мне что-то сказал, я кротко возрадил, и вдруг он, не торгуясь, поехал. Нас обго-

няли на тройках пьяные офицеры из дома с завешанным фасадом. Я боялся — вдруг они заметят меня на темном извозчике и зарубят шашками.

Лучше уж проснуться!

Но я ехал не один. Рядом сидела Катра. Скорбная, она смотрела на меня огромными страдающими глазами и умоляюще шептала что-то, и меня охватывала бесконечная тоска. И вдруг оказалось, что она полураздета, мы кутаемся вместе в пушистую, теплую шубу, ко мне невинно прижимается девичья грудь под тонкой рубашкой. Я знаю, ей теперь не уйти, и тайная, жестокая радость закипает в душе. Никто об этом не узнает, и она боится офицеров. Прячась от себя, я обнимаю ее; под бесстыдную руку — горячее нагое тело. Она выгибается, алые, словно напившиеся кровью губы озаряют лицо странной усмешкой, и бесстыдные глаза пристально смотрят в мои зрачки... О, я давно знал, что она бесстыдная! И только бы не проснуться теперь, только бы не проснуться!

Но я неловко повернулся. Она была еще здесь, но и не здесь. Ее не было. В пустой, вы-

сокой каморке с побеленными стенами я цеплялся за карниз под потолком, а в каморку на корточках впрыгнул студент, и на голове он держал огромный четырехугольный каравай ситного хлеба. Ужаснее ничего не могло быть. Студент, как тушканчик, прыгал с караваем по каморке и что-то бормотал, не видя меня; и если бы он меня увидел, — кончено!.. Сбоку чернела в полу четырехугольная ямка, глубиною в аршин; студент впрыгивал в нее и старался изнутри закрыть отверстие своим караваем, как камнем, — потом выскакивал и опять прыгал, как тушканчик. Я цеплялся за карниз, подбирал полы пальто, чтоб студент меня не задел. А он вдруг остановился, снял с головы каравай и, все сидя на корточках, медленно стал поднимать голову. Он поднимал, все поднимал. Я увидел напряженное, мясистое лицо с бородкою клинышком. Маленькие, мутные глаза взглянули из-под лба вверх и остановились прямо на мне...

Испуг юркнул в душу. Пора проснуться! Я быстро разбудил себя и открыл глаза. Чуть светало. Сердце билось медленными сильными ударами. Я сел на постели и вслушивался

в туманный ужас в своем теле.

В чем ужас? В чем ужас?

Пьяные офицеры и выстрелы, Алеша и светлые налеты, — все это было так себе. Аситный каравай на голове студента и его прыжки, — это был ужас безмерный... В чем же он?

Я вглядывался, как выходил из тела мутный ужас и очищал душу. Хотелось оглядываться, искать его, как что-то чужое, — откуда он прополз в меня? Куда опять уползает? Казалось мне, я чувствую в своем теле тайную жизнь каждой клеточки-властительницы, чувствую, как они втянули в себя мою душу и теперь медленно выпускают обратно.

Уж было смешно вспоминать прыгающего студента с нелепым караваем. Смешно было, что ведь и в жизни, наяву, он прыгает, — такой же ничтожный и условно ужасный. Нужно только разбудить себя, нужно понять, что ужас не в нем, а во мне. Ужас, скука, радость ясная, — ничего нет в мире, все только во мне.

И что это у меня сейчас было с Катрой? В душе темно плескались бесстыдные, жесто-

ко-сладкие воспоминания и сожаления. И мутный ужас, ослабевая, еще шевелился там. А сознание как будто выбралось на какой-то камешек, высоко над плещущей темнотой, и, подобрав ноги, с тупым любопытством смотрело вниз.

Нет, бояться за Алексея нечего. Он, не унывая, лечится. Делает гимнастику, гуляет, обливается холодной водой. Стены домика трясутся от его прыжков: за стеною — плеск воды, фыркание, топот, как будто бегемот борется там с каким-то врагом.

Но я уже не могу успокоенно воротиться к прежнему. Что-то во мне сорвалось, выскокил какой-то задерживающий винтик. Так у меня было раз с часами, — треснуло что-то — и вдруг весь механизм заработал с неудержимой быстротою...

Я потерял себя. Совсем потерял себя, как иголку в густой траве. Где я? Что я? Я чувствую: моя душа куда-то ушла. Она оторвалась от сознания, ушла в глубину, невидимыми щупальцами охватывает из темноты мой мозг — мой убогий, бессильный мозг, — не

способный ни на что живое. И тело мое стало для меня чуждым, не моим.

Где я, я сам? Свободный, самопричинный? В том, что думает, сознает себя, — в моем «разуме»? Но почему же все самостоятельные мысли его так тощи и безжизненны, почему рождаемые им слова так сухи и ограничены? Лишь когда его захватят из темной глубины эти странные щупальцы, он вдруг оживает. И чем теснее охвачен щупальцами, тем больше оживает и углубляется. Мысли становятся яркими, творчески сильными, слова светятся волнующим смыслом.

Значит, там я, в этой глубине, откуда мне таинственно звучал бой часов? Но ведь там лежит темный раб, я это теперь ясно чувствую. Могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил. Неотступно силы эти стоят над ним, — над ним, над человечеством, над всею жизнью. И сколько этих сил — не перечесть и не учесть! Я могу возмущаться, противиться, проклинать — все равно: мои мысли, мои искания были бы совсем другие, если бы только мне было сейчас не двадцать четыре года, а пятьдесят. Все было

бы другим, если бы я был рабочим, если бы я был китайцем, если бы моими родителями были родители Иринарха. Даже если бы солнце у нас светило ярче и дольше, я бы, может быть, искал и нашел другое!.. Покорно плетусь я, куда ведет меня мой темный Хозяин-раб; высшее, до чего может подняться мой ум, — это сознать зависимость себя — свободного и бессильного.

Но я не хочу, я этого не могу принять!

В опорках на босу ногу и в мокром пиджаке, накинутом на плечи, Гольтяков стоял на углу Кривоноговского переулка. Трезвый, жалкий, трясущийся.

— Четыре дня не жрамши путаюсь, сам не знаю где... Всякая сволочь пальцем показывает, говорят: он пьяница, бездельник... Жену бьет... А нешто я дурее их, дураков? Меня вон хозяин в Серпухов зовет, чайник делать на выставку. Никто не может, а я вот взялся... И в Москве тоже, на Покровке... А между прочим — что же я тут?.. Го-ос-поди!..

Сеяла мга из мокрого неба, сеяла на желтоватое, опухшее лицо, на открытую голову с торчащими вихрами. И сочились слезы из

жалких, добрых глаз.

— Вот он, пинжак. На этом пинжаке несчастном весь день я проспал вон там, подле колодца. Поднял голову, — на пинжаке собака легавая лежит. Лысая. А такой собаки у нас во всей округе нет. Что же это? Все смотрят, смеются... Ишь, говорят, собаку свел! Откуда собака взялась? Поглядел, — нету ничего!.. Вот какую кару терплю через вино!..

И слезы лились, и посинелою рукою он утирал всхлипывающий нос. Что это — тот человек или другой? Он придет домой, слезами обольет колени Прасковьи. Будет работать по двадцать часов — ласковый, виновато-тихий, просветленный. Я смотрел на него, смотрел. Тени не было того Гольтякова. А взять стакан водки, — осязаемый чайный стакан, с осязаемою жидкостью, которую можно купить за пятнадцать копеек, — и сотворится в человеке другая душа. Безумием захлебывающейся злобы вспыхнут добрые, плачущие глаза, тихая душа закрутится в кровавой жажде истязаний, и будет другой человек.

Гольтяков всхлипывал и бормотал:

— Пойду к Параше... Даст она мне чайку,

подлецу проклятому?.. Параша, ангел мой!.. Касатка!..

На толкучке топчутся люди. Кричат, божатся, надувают. Глаза беспокойно бегают, высматривая копейку. В разнообразии однообразные, с глазами гиен, с жестоким и окончательным богом в душе, цыкающим на все, что рвется из настоящего. Как из другого мира, проезжают на дровнях загорелые мужики в рваных полушубках, и утрюмо светится в их глазах общая тайна, тихая и крепкая тайна земли. Среди них хожу я, с мозгом, обросшим книжными мыслями.

А когда задрожат в воздухе гудки, по мосткам тянутся вереницы еще новых людей. На маслено-серых лицах неуловимый отсвет благородства, даваемого трудом, в глазах — пробуждающаяся, свободная от пут сила. Чем, кем она разбужена? Огнем ненависти, рвущимся из сдавленной жизни? Вот этими кирпичными зданиями с высокими трубами?.. Идут вереницами, стучат по мосткам. Если бы они сидели в тех холодных лавочках на толкучке, то их лица горели бы блудящими

огоньками гиен. Будущее они несут? А что с ними, творцами будущего, сотворит будущее?

В сумерках шел я вверх по Остроженской улице. Таяло кругом, качались под ногами доски через мутные лужи. Под светлым еще небом черною и тихою казалась мокрая улица; только обращенные к западу стены зданий странно белели, как будто светились каким-то тихим светом. Фонари еще не горели. Стояла тишина, какая опускается в сумерках на самый шумный город. Неслышно проехали извозчичьи сани. Как тени, шли прохожие.

И вдруг ясно, очевидно мне стало, что это вовсе не люди идут, — это медленно движутся молчаливые силуэты-марионетки. И это была правда. Что думалось до сих пор мыслью, теперь вдруг открылось душе. Мир на мгновение распахнулся и явил свою тайную, скрытую жизнь.

И страшно-молчаливо проходили люди-силуэты, придавленные великою, вслушивающейся в себя тишиною.

Марионетки, рабы Неведомого, тени тем-

ного... Ходят, слепо живут своим маленьким сознанием и не видят огромной, клубящейся внизу темноты... И к ним обращаться с вопросами!..

Спуститься в темноту, откуда встают тени. Там что-то всех должно объединить. Там, где хаос — изменчивый, прихотливый, играющий темною радугою и неотразимый в постоянстве своего действия на нас. Туда спуститься к людям, там крикнуть свой вопрос о жизни. Если бы оттуда раздался ответ, — о, это была бы покоряющая, все разрешающая разгадка. Как молнией, широко и радостно осветилась бы жизнь. Но там молчание. Ни звука, ни отклика. Только смутно копошатся вечно немые, темные Хозяева.

Мерное, слабое потрескивание сзади. И, порывисто дергаясь, быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа. Всплескивают руками, бросаются в окна. Патер благочестиво слушает лукаво улыбающуюся испанку, возводит очи к небу и, жуя губами, жадно косясь на полуобнаженную грудь. Мчится по улице автомобиль, опрокидывая все встреч-

ное.

Вот где — голо вскрытая сущность жизни! Люди смотрят и беспечно смеются, а сзади мерно потрескивает механизм. Придешь на-завтра. Опять совсем так же, не меняя ни жеста, бросается в окно господин перед призраком убитой женщины, патер жадными глазами заглядывает в вырез на груди испанки. И так же, совсем так же мчится ошалевший автомобиль, опрокидывая бебе в колясочке, столы с посудой и лоток с гипсовыми фигурами. А сзади чуть слышно потрескивает механизм.

Потом выходишь на улицу. Бегут извозчи-чьи лошади. Гимназист с криво сидящим ран-цем покупает у грека халву, похожую на за-мазку. Идет господин, блестя новым цилин-дром. И кажется, все они тоже чуть-чуть дер-гаются: все чужды душе, мертвы и плоски. И невыразимо смешна их серьезная самоуве-ренность, их неведение о безвольном своем участии в мировом кинематографе.

Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свете солнце. Тихо тает внутри сугробов.

А сегодня с утра вдруг повалил молодой,

осенне-пахучий снег и настала мягкая зима.

От Катры получил странную записку, где настойчиво она звала меня прийти вечером. Пришел я поздно. Было много народу. Кончили ужинать, пили шампанское. По обычному прямо чувствовалась тайная влюбленность всех в Катру. Катра была задорно весела, смеялась заражающим смехом, глаза горячо блестели. Каждый раз она другая.

Сидел приехавший из Москвы Крахт, маленький человек с огромным лбом и мясистым носом. Все почтительно его слушали. Говорил он как раз о какой-то высшей свободе. Я яро сцепился с ним.

Он снисходительно возражал. Сознание рабства, о котором я говорю, — это естественная стадия. Конечно, со временем и я превзойду ее. Эмпирическая необходимость во все не противоречит высшей, трансцендентальной свободе.

Я же говорил: никого до сих пор я не знаю, кто бы честно «превзошел» эту стадию. С тайным страхом ее оббегают обходными путями, — так сделали и Кант и Фихте. Видно, слишком невыносимо для человеческого духа

ощущение великого своего рабства.

Катра внимательно слушала. Звенели у крыльца бубенчики троек. Крахт стал возражать более серьезно. Говорил он очень умно и учено. Я же замолчал; вдруг я ясно увидел сидевшего в нем его Хозяина.

И мне стало смешно: да, велика сила Неведомого, если высшее рабство оно способно претворять в сознании людей в высшую свободу!

Я прихлебывал шампанское. Молчаливые золотые искорки крутились за хрустальными стенками. Звонящие искорки со смехом крутились в голове. Крахт говорил. Его тусклые глаза медленно мигали, губы шевелились. Я прятал под ладонью улыбку... Потихоньку подойти сзади к многоумному этому человеку, незаметно запустить в него руку, нащупать в глубине его Хозяина. Хорошенько притиснуть Хозяина, потом встряхнуть и опрокинуть на спину. Отойти и посмотреть, — что станет с свободным духом г. Крахта? Со смехом смотреть, как с тою же эрудицией, с тою же неопровержимую логикою дух его затанцует совсем другое.

И пусть бы начался общий танец. Танцевали бы все стройные мирозерцания, все неопровержимые логики, все объяснения смысла жизни. Танцевали бы, крутились и сшибались, как золотые искорки в бокале, сходились бы и расходились. А я бы смотрел и смеялся...

Толстый адвокат Баянов разливал по бокалам шампанское. Катра вскочила.

— Господа, кончайте! Едем!

Стояли у подъезда трое троечных саней и легкие санки для двоих без козел. Катра быстро села в санки и крикнула мне:

— Константин Сергеевич, садитесь со мною!

Санки мчались по пустынным улицам. Звоня бубенцами, следом неслись тройки. Тускло светились у домов редкие фонари, а небо полно было звезд.

— Весна, весна скоро!.. Константин Сергеевич, видите небо? Завтра солнце будет... Солнце! Господи, какая мутная была темнота! Как люди могут жить в ней и не сойти с ума от тоски и злости! Я совсем окоченела душой... Все время мне одного хотелось: чтоб

пришел ко мне кто-нибудь тихий, сел, положил мне руки на глаза и все бы говорил одно слово: Солнце! Солнце! Солнце!.. И никого не было! Хотела сегодня закрутиться, закутить вовсю, чтобы забыть о нем, а вот оно идет. Будет завтра. Любите вы солнце?

Горячие глаза заглядывали мне в лицо и упоенно смеялись.

— Но вы-то, вы-то!.. Константин Сергеевич, что вы такое сейчас говорили? Всегда я в душе чувствовала, что вы не такой, каким кажетесь. Вот вы спорили с Крахтом о рабстве, о ваших неведомых силах, — и мне казалось: вы говорите из моей души, отливаете в слова то, что в ней. Так было странно!

Я с любопытством оглядел ее.

— Вы тоже чувствуете эти силы?

Катра задушевно спросила:

— А скажите, вам страшно? Страшно оттого, что они над вами?

Вдруг она стала мила мне, хотелось говорить по душе.

— Прежде всего обидно очень, Катерина Аркадьевна. И пусто... Да! И страшно.

— А скажите еще... — Она лукаво взгляды-

валась в меня. — Кружится у вас сейчас голова? От шампанского?

Недоумевая, я ответил:

— Да, немножко.

Катра сильно ударила вожжей лошадь. Санки понеслись. Она рассмеялась.

— Смотрите, как странно! Где-то во Франции люди поймали золотистого, искрящегося духа, закупорили в бутылку, переслали нам. И вот он пляшет в нас и мчит куда-то. Говорит за нас и делает, в чем, может быть, мы завтра будем раскаиваться. Разве сейчас это мы с вами? Это он. А какая воля, какой простор в душе! Жутко, какая воля. А это не мы, а он.

Я наморщил брови и соображал.

— И сколько над душою стоит других духов — могучих, темных, обольстительных. Куда до них французскому чертенку! И всем им — власть. И вам только страшно, больше ничего?

Она наклонилась, заглядывая мне в лицо странно смеющимися глазами.

— И Алексея Васильевича вам только жалко, больше ничего? Только жалко?

Дикие глаза были. Трепетало и билось в них дерзкое, радостно-безумствующее пламя. И в пламени этом вдруг мне почуялась какая-то особенная, жутко захватывающая правда.

Катра шаловливо рассмеялась, близко наклонилась к моему уху и прошептала:

— И будете, как я.

Горячею змейкой юркнул в меня ее шепот. С золотистым звоном все закружилось в голове.

Мягкий воздух обвевал лицо. Город был назади. В снежной мгле темнели голые леса. Мчались мы, как в воздухе на крыльях, тройки звенели сзади.

Что-то мы говорили бессвязное, но разговор шел помимо слов. Молчаливо свивались души в весело-безумном вихре, радовавшемся на себя и на свою волю.

Я что-то хотел сказать, Катра нетерпеливо прервала:

— Не говорите. Дайте руку... Да снимите ваши варежки нелепые. Видите, я сняла перчатку...

В Гастеевской роще сделали привал. На ти-

хой белой поляне, под яркими звездами, громко говорили, смеялись, пили вино.

Иринарх увлеченно спорил с Крахтом. Катра, не стесняясь, стояла со мною под руку и слегка прижималась к моей руке. Лукаво смеясь, она наклонилась и прошептала:

— Вы знаете, вот эти двое. Совсем разные люди. А отнять у них слова — оба они стали бы совсем пустые. Оба думают мыслями, выражаемыми словами.

Подошел Иринарх. Он улыбался, но глаза смотрели грустно и ревниво.

— Видели, господа, звезды какие? Ехал, — все время глаз не сводил. Люблю на звезды смотреть, — сколько жизни запасено во вселенной! Мы умрем, все умрут, земля разобьется вдребезги, а жизнь все останется. Весело подумать!

— А звезды — это все солнца! Огромные, горячие! Андрей Андреевич, налейте мне еще! — Катра протянула Баянову стакан. — Господа, тост: за громадные яркие солнца и за... еще за... Нет, больше ничего!

Мы катили назад. Катра нетерпеливо твердила:

— Гоните скорее! Скорее! Ух, как будто в воздухе летишь!

Она крикнула во весь голос. Эхо покати-лось за бор.

— За солнце пили... Хотела я еще ска-зать — знаете что? «За рабство!» Да они бы не поняли. Вы знаете, я когда-то... Да бросьте вожжи, она сама будет бежать... Дайте руку...

Лошадь ровно побежала. Горячая рука го-ворила в моей руке. Глаза мерцали и блужда-ли.

— Вы знаете, я когда-то была восточной ца-ревной. Царь-солнце взял меня в плен и сде-лал рабыней. Я познала блаженную муку на-сильнических ласк и бича... Какой он жесто-кий был, мой царь! Какой жестокий, какой могучий! Я ползала у ступеней его ложа и це-ловала его ноги. А он ругался надо мною, хле-стал бичом по телу. Мучительно ласкал и по-том отталкивал ногою. И евнухи уводили ме-ня, опозоренную и блаженную. С тех пор я по-любила солнце... и рабство.

Я слушал, раскрывая глаза. Где это уже бы-ло? Где была эта странная, блуждающая усмешка, эти бесстыдные глаза? Да. И санки

даже были тогда.

— Я часто вас ненавижу, Константин Сергеевич. Но было между нами что-то, и мы тайно связаны. Помните, в подвале... Пахло керосином...

Я резко прервал:

— Не говорите про это!

— Помните, вы тогда меня вырвали из бегущей толпы... Ух, какую я в вас тогда почувствовала силу. Как волна, она обвила меня и вынесла...

— Да замолчите вы! Слышите?! — грубо крикнул я.

Катра осеклась и взглянула мне в лицо впивающимися глазами. И вдруг в них мелькнула ненависть. Она быстро отвернулась.

С чуждым удивлением, как очнувшийся лунатик, я оглядывал то, что создалось между нами. Французский чертенок. Красивое тело человеческой самки. Предательские инстинкты собственного тела, — и извольте видеть: «правда» какая-то открывается! А эта склизкая болотная змейка вьется в темной воде и на всем оставляет свою ядовитую слюну — на самых чистых белых лилиях... Бррр!..

— Простите, что я так крикнул. Но я слишком иначе отношусь к тому, что нам тогда пришлось вместе пережить.

Катра беззаботно рассмеялась, взяла вожжи и погнала лошадь.

Холодно, холодно в нашем домишке. Я после обеда читал у стола, кутаясь в пальто. Ноги стыли, холод вздрагивающим трепетом проносился по коже, глубоко внутри все заглодело. Я подходил к теплой печке, грелся, жар шел через спину внутрь. Садился к столу, — и холод охватывал нагретую спину. Вялая теплота бессильно уходила из тела, и становилось еще холоднее.

Алексей, скорчившись под пальто, лежал у себя на кровати.

Я взял лопату и пошел в сад чистить снег. На дворе меня увидела Жучка и радостно побежала вперед. Она обнюхивала сугробы, с ожиданием поглядывала на меня. Я потравил ее в чащу сада. Жучка с готовностью залаяла, бросилась к забору, волнисто прыгая по проваливавшемуся снегу. Полаяла, потом воротилась и заглянула мне в глаза.

«Видишь? Я сделала, что надо!»

Робко начала ласкаться. Я погладил ее. Она обрадовалась и бросилась лапами на пальто.

— Ну, будет!.. Пшел!

Жучка отошла.

Я долго чистил снег. Прозрачно серела чаща голых сучьев и прутьев. Над березами кружились галки и вороны. Вдали звонили к вечерне. Солнце село.

Вдруг я заметил, что я давно уже без варежек, вспомнил, что уж полчаса назад скинул пальто. Изнутри тела шла крепкая, защищающая теплота. Было странно и непонятно, — как я мог зябнуть на этом мягком, ласкающем воздухе. Вспомнилась противная, внешняя теплота, которую я вбирал в себя из печки, и как это чужая теплота сейчас же выходила из меня, и становилось еще холоднее. А Алешка, дурень, лежит там, кутается, придвинув кровать к печке...

Темнело. К вечерне перестали звонить. В калитке показалась Феня и тихим, ласкающим голосом крикнула:

— Степочка!

Узнала меня, ахнула и скрылась. Сучья ти-

хо шумели под ветерком, поскрипывал ствол ели. На самой ее верхушке каркала старая ворона, как будто заливался плачем охрипший новорожденный ребенок. Жучка ткнула мордую в мою руку.

— Ты что?

Смешно было, как она говорит глазами. Я опять поуськал ей на забор. Она опять с готовностью залаяла. Лаяла, и поглядывала на меня, и говорила взглядом:

«Вот, делаю, что тебе нужно. И даже не спрашиваю себя, есть ли в этом смысл».

Я подозревал ее и пристально заглянул в глаза. Жучка покорно изогнулась, робко завиляла хвостом. Я улыбнулся и продолжал смотреть. Она радостно засмеялась глазами и хотела было броситься ласкаться, но не бросилась, а медленно опустилась на задние лапы.

И мы смотрели друг другу в глаза.

Долго смотрели. И вдруг я почувствовал, — мы с нею разговариваем! Не словами, а тем, что лежит в темноте под словами и мыслями. Да, это есть в ней так же, как во мне. Такое же глубокое, такое же важное. Только у меня над этим еще бледные слова-намеки, несамостоя-

тельная мысль, растущая из той же темноты. Но суть одна.

И сквозь темноту, в которой шел наш разговор, вдруг мне почудился какой-то тихий свет.

Нежно и ласково я погладил Жучку по голове. Она прижалась мордой к моему колену, и я любовно гладил ее, как ребенка. Все кругом незаметно сливалось во что-то целое. Я смотрел раскрывающимися, новыми глазами. Это деревья, галки и вороны на голых ветвях, в сереющем небе... В них тоже есть это? Это — не сознаваемое, не выразимое ни словом, ни мыслью? И главное — общее, единое?

Птицы притихли на ветвях, охваченные сумеречным небом. Небо впитывало в себя и их и деревья... Мне показалось, что я к чему-то подхожу. Только проникнуть взглядом сквозь темный кокон, окутывающий душу. Еще немножко, — и я что-то пойму. Обманчивый ли это призрак или открывается большая правда?

Или только кажется? Или все узнается?

Но все потерялось. Что-то важное и решающее скрылось.

Я воротился домой. Алеша, заспанный и озябший, нес из сеней охапку дров. Он угрюмо сказал:

— Хочу еще раз печку протопить... Как холодно.

Было странно смотреть на него. Холодно!..

— Да пойди лучше, Алеша, поработай в саду. Я весь горю жаром!

Он вяло ответил:

— Ну, не хочется.

В кухне на остывающей плите лежала и мурлыкала серая хозяйская кошка. С незнакомым раньше любопытством я подошел к ней со свечкою и тоже заглянул в глаза.

— Кс-кс-кс!

Она взглянула прямо в мои зрачки, потом прищурилась. Внутри ее глаз как будто что-то закрылось, и она снова начала мурлыкать. Теперь узкие щелки зрачков в прозрачно-зеленоватых глазах смотрели на меня, но смотрели мимо моей души. И я жадно вглядывался в эти глаза — как будто слепые и в то же время бесконечно зрячие. Я засмеялся. Она не при-

няла моего смеха и продолжала смотреть теми же серьезно-невидящими глазами. Что-то в них было от меня закрыто, но было закрыто — в них не было пустоты. Было что-то важное, и я чувствовал, — это возможно было бы понять.

Что такое творится?

От Дяди-Белого вышла молодая женщина. Красивая, одетая усиленно пышно, как одеваются женщины, вдруг получившие возможность наряжаться.

С страдальческой насмешкой Дядя-Белый спросил меня:

— Видели, какая графиня прошла?

— Кто это?

— Вы ее встречали. Сестра моя. Она с Турманом живет.

Он взволнованно теребил курчавую бородку.

— Кутят с Турманом. Деньги расшвыривают, как купцы. Откуда у них деньги? Слыхали вы, на той неделе артельщика ограбили за вокзалом, на пять тысяч? Думаю, не без Турмана это дело.

— Константин, дай-ка мне опия, — второй день живот болит.

— Вот, на!.. Да дай я тебе накапаю.

— Я сам. — Алексей нетерпеливо тянул к себе бутылочку и не смотрел мне в глаза. — Ведь несколько раз придется принимать, что же каждый раз к тебе ходить!

Наши глаза встретились. Я побледнел и, задыхаясь, схватил его за руку.

— Алеша!

— Да что ты? Что с тобой?

Мы молча смотрели друг другу в глаза. Алексей удивленно пожал плечами и пустил бутылочку.

— Ну, бери, накапай сам!

Вздор! Мне это только показалось! Он так старательно лечится! Сначала должна бы пропасть вера в лечение, он должен бы бросить свою гимнастику и обливание.

Но ночью я вдруг проснулся, как будто в меня вошло что-то чужое. Из комнаты Алексея сквозь тонкую перегородку что-то тянулось и приникало к душе.

Ясно, все ясно! Как я мог сомневаться?.. Недавно к нам зашла Катра, и меня тогда по-

разило, — Алексей равнодушно разговаривал с нею, и откуда-то изнутри на его лице отразилась удовлетворенная, ласковая снисходительность. Как будто он был доволен, что может смотреть на нее с высокой высоты, до которой ее чарам не достать; и с Машей он так нежен-нежен, и такой он весь ясный, тихий, хотя и не смотрит в глаза.

Да, конечно, так! Он по-прежнему носит свою мысль, прочно сжился с нею и утих в ней. Но силы ушли на те две ночи, он копит новые силы, и вот почему лечится. Ведь невозможно человеку через каждую неделю приговаривать себя к смертной казни.

Сквозь перегородку все шло в душу что-то напряженное и гнетущее. Как будто упорно лилось какое-то черное электричество. Вся комната заполнялась тупою, властною силою, она жизненно чувствовалась в темноте. Неподвижно и скорбно вставало Неведомое, некуда было от него деться.

Я поднялся на руках, огляделся. Исчезла перегородка. И я увидел: Алеша лежит на спине, с пустыми, остановившимися глазами. А Хозяин его, как вывалившийся из гнезда гад,

барахтается на полу возле кровати; в ужасе барахтается, вьется и мечется, чуя над собою недвижимую силу Неведомого. Заражаясь, затрепетал и мой Хозяин. И я чувствовал, — в судорогах своих он сейчас тоже выбросится на пол, а я с пустыми глазами повалюсь навзничь.

Я вскочил, разрывая очарование. Прислушался. За перегородкою было тихо, как-то особенно тихо. Я зажег свечу и пошел к Алексею. Дверь не была заперта. Алексей быстро поднял от подушки чуждое лицо. И опять нельзя было узнать, спал он или думал.

— Что ты? — спросил он.

— Мне не спится, а все папиросы вышли... Можно у тебя взять?

— Возьми, конечно...

Я пристально смотрел на него.

— Ты спал?

Он недовольно нахмурился.

— Спал, конечно.

Никогда я этого раньше не представлял себе: душа одного человека может войти в душу другого и смешаться с нею. Я теперь не знаю,

где Алексей, где я. Он вселился в меня и думает, бьется, мучится моею душою; ища для себя, я как будто ищу для него. А сам он, уже мертвый, неподвижно лежит во мне и разлагается и неподвижным, мутным взглядом смотрит мне в душу.

Охватывает жуткая дрожь и раздражительное нетерпение. Я смотрю на его осунувшееся лицо с остановившеюся в глазах мыслью. Ну, ну!.. Чего ж ты ждешь?

Я долго сегодня бродил за городом. Небо сияло. Горячие лучи грызли почерневшие, хрящеватые бугры снега в отрогах лощин, и неуловимый зеленый отблеск лежал на блеклых лугах. Я ходил, дышал, перепрыгивая через бурлящие ручьи. Вольный воздух обведал лицо. Лучи сквозь пригретую одежду пробивались к коже, все тело напитывалось ликующим, звенящим светом... Как хорошо! Как хорошо!

Небо безмерное от сверкающего света. Солнце смеется и колдует. Очарованно мелькают у кустов ярко-зеленые мотыльки. Сорока вспорхнет, прямо, как стрела, летит в го-

люю чащу леса и бессмысленно-весело стрекочет. Чужды липкие вопросы, которые ткал из себя сморщившийся, затемневший Хозяин. Где они? Тают, как испаренья этой земли, замершей от неведомого счастья. Отчего в душе такая широкая, такая чистая радость?

Отчего... Я не могу не подчиняться, но меня светлый колдун не обманет. О, я знаю: весеннее солнце коснулось крови, воздух чистого простора влился в легкие, в коре мозговых полушарий расширились артерии, к ней прихлынуло много горячей крови, много кислорода, — и вот все безысходные вопросы стали смешно легкими и нестрашными. Хороша жизнь, хорош я, дороги и милы братья-люди.

Ну, вот оно и решение! Как просто, — словно настоящее!

Потянуло в город, где суетятся братья-люди.

И я ходил по сверкающим улицам с поющими ручьями, залитым золотом солнцем. Что это? Откуда эти новые, совсем другие люди? Я ли другой? Они ли другие? Откуда столько милых, красивых женщин? Ласково смотрели блестящие глаза, золотились неж-

ные завитки волос над мягкими изгибами шей. Шли гимназистки и гимназисты, светясь молодостью. И она — Катра. Вот вышла из магазина, щурится от солнца и рукою в светлой перчатке придерживает юбку... Царевна! Рабыня солнца! Теперь твой праздник!

Мускулистые плотники с золотыми бородами тесали блестящие бревна. Старик нищий, щурясь от солнца, сидел на сухой приступочке запертого лабаза, кротко улыбался и говорил с извозчиками.

— Табачку понюхал, да и пошел в казенку... Бабка подсмолит: «Ишь, старый черт, опять в кабак? Пойдем домой!..» Ну, ладно, пойдем!.. Ха-ха-ха!

— А жива у тебя бабка-то? — лениво спросил извозчик.

Старик радостно ответил:

— Жива, жива, милый!.. Жива, слава тебе господи!

Он снял облезлую шапку и стал креститься. И голова его была благообразная, строгая.

Звенели детские голоса. Спешили люди, смеялись, разговаривали, напевали. Никто не обманывал себя жизнью, все жили. И ликова-

ли пропитанные светом прекрасные тела в ликующем, золотисто-лазурном воздухе.

Через два дня.

В Кремле звонили ко всеобщей. Туманная муть стояла в воздухе. Ручейки вяло, будто засыпая, ползли среди грязного льда. И проходили мимо темные, сумрачные люди. Мне не хотелось возвращаться домой к своей тоске, но и здесь она была повсюду. Тупо шевелились в голове обрывки мыслей, грудь болела от табаку и все-таки я курил непрерывно; и казалось, легкие насквозь пропитываются той противною коричневою жижею, какая остается от табаку в сильно прокуренных мундштуках.

Из-под ворот текли на улицу зловонные ручьи. Все накопившиеся за зиму запахи оттаяли и мутным туманом стояли в воздухе. В гнилых испарениях улицы, около белой, облупившейся стены женского монастыря, сидел в грязи лохматый нищий и смотрел исподлобья. Черная монашенка смиренно кланялась.

— Во имя скорой послушницы царицы

небесной пожертвуйте, благодетели!

И шли по слякоти скучные люди с серыми лицами полные мрака и смрадного тумана.

Блестели желтые огоньки за решетчатыми окнами церквей. В открывавшиеся двери доносилось пение. Тянулись к притворам черные фигуры. Туда они шли, в каменные здания с придавленными куполами, чтобы добыть там оправдание непонятной жизни и смысл для бессмысленного.

В лужах отражались освещенные окна низкого трактира. Я подумал и вошел. В дверях столкнулся с Турманом. Он выходил с молодой черноволосой женщиной. Турман прямо мне в лицо взглянул своим темным взглядом, вызывающе взглянул, не желая узнавать, и прошел мимо.

Я сел к столику и спросил водки. Противны были люди кругом, противно ухал орган. Мужчины с развязными, землистыми лицами кричали и вяло размахивали руками; худые, некрасивые женщины смеялись зеленовато-бледными губами. Как будто все надолго были сложены кучею в сыром подвале и вот вылезли из него — помятые, слежавшиеся, за-

плесневелые... Какими кусками своих изломаченных душ могут они еще принять жизнь?

Везде пили, курили. Глотали едкую влагу, втягивали в легкие ядовитый дым... Ну да. Ведь праздник! Надо же радоваться! А разве это легко?

Бледный парень, заломив шапку на затылок, быстрым говорком пел под гармонику:

*Сидел милый на крыльце
С выраженьем на лице...*

Половой поставил передо мной полубутылку. Я смотрел в зеленовато-ясную жидкость, смотрел кругом на людей и думал:

«Погодите вы все, — вы, противные! И ты, мутная, рабская жизнь! Вот сейчас я буду всех вас любить. В ответ поганым звукам органа зазвенят в душе манящие звуки, дороги станут братья-люди, радостно улыбнется жизнь, — улыбнется и засветится собственным, ни от чего не зависимым смыслом!»

Я вышел из трактира с двумя фабричными парнями. Они любовно-почтительно слушали меня и кивали головами, а я с пьяным, фаль-

шиво-искренним одушевлением говорил о завоевании счастья, о светлом будущем.

Голова шумела, в душе был смех. Люди орали песни, блаженно улыбались, смешно целовались слюнявыми ртами. Мужик в полушубке стоял на карачках около фонарного столба и никак не мог встать. С крыльца кто-то крикнул:

— Ванька!

Мужик сосредоточенно ответил:

— Был Ванька, да уехал!

Поднял ко мне лохматое лицо, лукаво подмигнул и засмеялся. Кто-то пробежал мимо в темноту.

— Ванька-а-а!!

— Был Ванька, да уехал!

Лохматое лицо подмигивало мне и радостно смеялось.

Отовсюду звучали песни. В безмерном удивлении, с новым, никогда не испытанным чувством я шел и смотрел кругом. В этой пьяной жизни была великая мудрость. О, они все поняли, что жизнь принимается не пониманием ее, не находениями разума, а таинственной настроенностью души. И они на-

страивали свои души, делали их способными принять жизнь с радостью и блаженством!.. Мудрые, мудрые!..

Я звонил к Катре.

— Дома Катерина Аркадьевна?

Горничная удивленно оглядела меня.

— Сейчас доложу. — Сходила и воротилась. — Пожалуйте!

Катра вышла со свечкою в темную гостиную. Лицо у нее было странное и брезгливо-враждебное.

— Вы одна... Я боялся, что у вас народ будет! Хотите, — пойдемте погуляем?.. Чудная погода!

Катра пристально вглядывалась в меня. Вдруг она расхохоталась, как девочка.

— Знаете, который час?

— Н-нет.

— Двенадцатый!.. И на дворе сырость, туман... Ха-ха-ха!.. Пойдемте... Только за город пойдем, там туман чистый...

Она смеялась и не могла остановиться и, смеясь, поспешно одевалась.

— Только вы мне много-много говорите и не смотрите на меня. Слышите, — не смотри-

те! Я сейчас всех выгнала от себя. Боже мой, какие скучные люди!.. И какая тоска!.. Вы много будете говорить?

— А вам разве словами нужно много говорить? Мы все время много разговариваем, только не словами, — вдруг сказал я.

Она перестала смеяться, быстро взглянула на меня.

— Да-а?.. — И широко открыла глаза. — Идемте!

Мутный туман затягивал поля, но на шоссе было сухо. Над городом тускло белело мертвое зарево от электрических фонарей. Низом от леса слабо тянуло запахом распускающихся почек.

И я говорил, говорил.

— ...Алексея я нисколько теперь не жалею, его я почти не чувствую. Но я весь охвачен запахом трупного разложения, я никуда не могу уйти от него. И не могу уйти от вставших отовсюду сил. Неведомые, они везде, кругом, — в луче солнца, в гнили тумана, в моем теле. В душе темнота, наверху бессильною змейкою крутится сознание, и я с презрением смеюсь над ним. Но сейчас, — вот перед тем

как прийти к вам, — вдруг в этой темноте запыльхал странный, мелькающий свет. С замиранием я вспомнил о вас и пошел к вам... Катра! Есть жизнь и для отверженных — для вас, для Алеши, для меня! Вашею мутною душою вы почуяли путь. Пусть сознание вздымается на дыбы и бросается назад, пусть гадливо трепещет, презирает и ужасается... Вперед, holla! Под ногами обрыв и черная ночь? Ну что ж! Вперед с зажмуренною душою. Там радости, которых не знают сидячие души. И миг полета стоит десятка лет.

Я не замечал, что называю ее Катра.

Большие глаза улыбались нежно и радостно. Пьяно-веселым вихрем все крутилось во мне, и я чувствовал — этому вихрю звучит в ответ странно насторожившаяся душа.

— Я скажу, Катра. Мы очень мало с вами говорим, мы все время на ножах. Но что это такое? Уже давно я чувствую, что вы во мне, и я... да, и я в вас. И мы играем в прятки.

Что еще говорилось? Не помню. Бессвязный бред в неподвижном тумане, где низом шел ласкающий запах весенних почек и мертво стояло вдали белое зарево. Не важно,

что говорилось, — разговор опять шел помимо слов. И не только я чувствовал, как в ответ мне звучала ее душа. Была странная власть над нею, — покорно и беззащитно она втягивалась в крутящийся вихрь.

Я, задыхаясь, сказал:

— Темно. Дайте вашу руку.

И мы шли.

— Все еще нельзя смотреть вам в лицо? А я буду.

Я взглянул в ее огромные насторожившиеся глаза. И темнота не мешала. В них мерцала радость покорной, отдающейся очарованности. Как будто я нес ее на руках, а она, прижавшись ко мне щекой, блаженно закрыла глаза.

Я близко наклонился к ней. Вдруг Катра вздрогнула и быстро выдернула руку.

— Послушайте, вы пьяны! От вас пахнет водкой!.. — Она с отвращением отшатнулась. — Какая гадость!

Я смотрел на нее. Она повторяла:

— Какая гадость!

Злоба и гадливое отвращение вдруг охватили меня. Я пристально все смотрел на нее.

— И вы раньше не знали, что я пьян? Неправда! Вы знали уж тогда, когда пошли со мною! — Я злорадно добавил: — Вы даже были этому очень рады, вы поэтому именно и пошли!

— Гадость, гадость какая!

Мне казалось, — всем напряжением воли Катра взмучивает в себе содрогающееся отвлечение. Она отбросила взглядом мой презирающий взгляд и высокомерно сказала:

— Проводите меня домой!

И повернула назад.

Мы шли и молчали.

Было глухо. Было очень тихо от тумана. Катра быстро шла, опустив голову. В чаще леса что-то коротко ухнуло, рванулось болезненно и оборвалось, задушенное туманом. Вздвогнув, Катра пугливо оглянулась и пошла еще быстрее.

Вдруг жалующимся голосом она сказала:

— Я не могу так скоро идти!

Как будто это я ее заставлял.

Пошли медленнее. Катра робко вглядывалась в туман. Жалким, детским голосом она проговорила:

— Дайте вашу руку. Мне страшно!

Оперлась на мою руку и все с большим страхом оглядывалась.

— Тут вдоль шоссе, трактиры, тут часто режут людей... Везде безработные, грабежи... У нас ночью по всей улице сняли медные дощечки с дверей и дверные ручки... Вчера опять была экспроприация на механическом заводе...

Я злился. Катра вздрагивала, пугливо прижималась ко мне и деланным голосом повторяла:

— Мне стра-ашно!

Было неестественно. И все-таки делалось жутко. Теперь что-то из ее души заражало меня. Мертво выдвигались из тумана пригородные кусты, белесые от далекого зарева.

Вздрагивали искривленные губы, бегали глаза.

— Мне стра-ашно!

Комедиантка! Все в ней деланно и преувеличенно — и боящийся голос и вздрагивания. Она нарочно вздрагивает, чтобы крепче прижаться ко мне. Это все она мстит мне за тогдашнюю поездку на тройках.

— Что это?.. Аа... Аааа!!.

С воплем Катра метнулась в сторону. Споткнулась о кучу шоссеинного щебня и упала. Я бросился к ней. Корчась в усилиях воли, она глушила вопль, впивалась пальцами в осыпавшиеся камни.

Вдруг голова неестественно согнулась. Подбородок впился в грудь. Тело медленно изогнулось дугою в сторону, скорченные руки дернулись и замерли. Вот так история! Она была без чувств.

Я старался приподнять ее. Тело было странно негибкое, глаза закрыты.

— Катерина Аркадьевна! Катерина Аркадьевна!

Она неподвижно лежала с закрытыми глазами и вдруг тихо всхлипнула. Сильнее, все сильнее. Грудь дышала с хриплым свистом, как туго работающие мехи. Катра раскрыла глаза, в тоске села.

— Боже мой, у меня все тело распухает!.. Нет воздуху, нечем дышать!.. Кто тут? Расстегните мне платье!

Я неумело попробовал. Крючочки какие-то, кнопки... Она нетерпеливо оттолкну-

ла мою руку, захватила ворот и дернула его, обрывая.

— Куда воздух делся?.. Боже мой! О боже мой!

На первом встречном извозчике я довез ее до дому.

Слабая, разбитая и жалкая, она сидела молча.

Пролетка остановилась у крыльца. Катра с ненавистью взглянула на меня и с колюще-холодным вызовом сказала:

— Вы думали, я чего-нибудь испугалась? Вовсе нет. Ничего я не боялась.

И, не простившись, пошла к крыльцу.

Ну да! Ведь я же ждал, давно ждал этого! Я ждал — и нечего ужасаться! Уж два месяца назад я похоронил его. О господи!..

Ремонтные рабочие рано утром подобрали на рельсах за сахарным заводом его раздавленный труп. Голова нетронута, только с одной ссадиной на лбу, в редкой бородке песок и кровь. И на бледном, спавшемся лице все было это странное выражение, как будто он притворяется. Хотелось растолкать его, ска-

зять:

— Ну, будет же, Алеша! Перестань! Ведь это слишком мучительно!

И он быстро поведет головою и, притворяясь, будто вправду был мертв, с деланным удивлением раскроет глаза.

Но среди лохмотьев пальто, в черно-красной массе легких, белели и выпячивались лопнувшие ребра, из срезанных наискось бедер сочилась ярко-алая, уже мертвая кровь, и пахло сырым мясом.

Вечером, воротившись от Маши, я сидел в темноте у окна. Тихо было на улице и душно. Над забором сада, как окаменевшие черные змеи, темнели среди дымки молодой листвы извилистые суки ветел. По небу шли черные облака странных очертаний, а над ними светились от невидимого месяца другие облака, бледные и легкие. Облака все время шевелились, ворочались, куда-то двигались, а на земле было мертво и тихо, как в глубокой могиле. И тишина особенно чувствовалась оттого, что облака наверху непрерывно двигались.

Опять все кругом было необычно, опять

давно приглядевшееся выглядело новым и странным. От поля медленно шла по улице темная фигура, смутные тени скользили по земле, в теплом воздухе пахло распускавшимися березовыми листочками... Вот, — этот человек идет, охваченный думами, и не спрашивает себя, — его ли это думы в его голове? И тени сосредоточенно ползут и не подозревают, что они — только безвольное отражение облаков. Скромно-горделиво стоят березы, окутанные свежим и чистым ароматом молодости. Чего гордиться?.. И только в тишине кругом чуялось сознание миром безмерное, несвержимое рабство свое.

— Константин Сергеевич, вы? — нерешительно спросил из тишины женский голос.

Я вздрогнул. Посреди улицы неподвижно стояла Катра.

— Как вы здесь? Катерина Аркадьевна!

Она медленно подошла к окну. Лицо под широкими полями шляпки казалось бледным.

— Это от поля вы сейчас шли?

— Да, я в поле гуляла... За архиерейской дачей...

Катра облокотилась о подоконник, подперла щеку рукою в светлой перчатке. Она была сосредоточенно-задумчива, глаза светились.

Я пристально смотрел на нее.

— Вам странно? — Она равнодушно помолчала. — Я хотела после тогдашнего проверить, трусиха я или нет... Ничего. Только заблудилась... Ох, не люблю трусов!.. Ямы какие-то пошли, сваленные бревна. У меня револьвер с собою. Удивительно, тишина какая. Жутко, слышно, как тишина звенит в ушах. Иду я за казачьими казармами, — в полыни кто-то слабо и глухо ворчит, кто-то пищит жалобно. Остановилась. В темноте через дорогу проползло что-то черное, пушистое, длинное, и все ворчит, и ушло в крапиву. И там долго еще ворчало и жалобно пищало. Что это?

Она нервно повела плечами.

— Хорек, должно быть. Мышь поймал.

— Если уж правду говорить, я ужасно испугалась! — Она доверчиво улыбнулась и с детскою гордостью прибавила: — А все-таки овладела собою, даже шагу не ускорила...

— Вы знаете, Алешу поезд раздавил.

— Что-о?

Катра быстро подняла голову. Она молча смотрела на меня большими, спрашивающими глазами, и мои глаза ответили ее взгляду.

— Так, вот что...

Катра понурилась и стала ворошить концом зонтика осколок кирпича. Вдруг она решительно и взволнованно сказала:

— Константин Сергеевич, откройте мне дверь, я зайду.

Я отпер калитку. Освещая сенцы спичками, ввел Катру в комнату. Она нетерпеливо смотрела, как я зажигаю лампу.

— Расскажите, как случилось... Поподробней!..

— Что рассказывать? Я ничего не знаю. Позвали к куску растерзанного мяса, спросили: «Узнаете?» — «Узнаю...» Сказал: «Он поехал с пассажирским поездом номер восемь, любил стоять на площадке, должно быть, свалился...» И сошлись с ним ложью, — в жилетном кармане у него нашли билет. Маше он еще третьего дня сказал, что едет в Пыльск.

Катра, наклонившись вперед, в ужасе слушала.

Я сел на кровать и стиснул голову руками.

— О господи, пускай, пускай! Слава богу, наконец кончилось!.. Какая мука!..

Я замолчал. Катра не шевелилась и все как будто слушала.

— Вы знали его старшего брата? — спросил я. — Он тоже убил себя, отравился цианистым калием. Проповедовал мировую душу, трагическую радость познания этой души, великую красоту человеческого существования. Но глаза его были водянисто-светлые, двигались медленно и были как будто пусты. В них была та же жизненная пустота. И он умер, — должен был умереть. Доктор Розанов говорит, на всей их семье типическая печать вырождения... Встало Неведомое и ведет людей, куда хочет!.. Страшно, страшно!

Как будто в каком-то сне, Катра глухо отозвалась:

— Страшно!

Она подошла к окну. По серебристо-светящемуся небу по-прежнему ползли черные облака, и удивительна была эта сосредоточенная жизнь на небе над глухо молчащей землей.

— Забытая небом земля, — сказала Катра.

Мы долго молчали. Катра повернулась спиной к окну. От полей шляпки падала тень на ее лицо, но мне казалось: я вижу его с широко открытыми, светящимися глазами. Как будто она, насторожившись, жадно прислушивалась к чему-то внутри себя, чего не могла расслышать. Мне вдруг стало странно: зачем она здесь и зачем молчит?

Катра бессознательно застонала слабым, протяжным стоном — смутным и тоскливым, как стонут спящие люди. Она вздрогнула от своего стога, очнулась и презрительно повела плечами.

— Пойдемте в его комнату... Я хочу посмотреть, — коротко сказала она.

Мы вошли. Катра с острым любопытством медленно оглядывала кровать Алексея, печку с полуоткрытою заслонкою, за которою виднелись сор и бумага. На гвоздике у двери висел старый пиджак Алексея, теперь сиротливо-ненужный. Катра смотрела на дверь.

— А вокруг косяков вся штукатурка осыпалась... Так все и осталось, как вы тогда дверь выломали. Стоял синий угар...

Она говорила как в бреду. Она как будто

тянулась душою в этот воздух, насыщенный смертью, — тянулась жадно, извилисто-страстно. И замолчала.

И я замолчал. За окнами была та же тишина. До меня донесся странно-тихий шепот:

— Вам не кажется, что сейчас все кругом умерло?

Сердце стучало, в груди была дрожь. Я нахмурился и резко ответил:

— Не понимаю, что вы говорите.

Катра медленно подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— Как тихо! Как тихо! И ни одного огонька нигде... Смерть разлилась на все и все охватила, и только мы одни. Это удивительно... Можно кричать, вопить, стрелять, — никто не услышит... И умереть...

Она счастливо вздохнула. У меня сердце стучало все сильнее. Я смотрел на нее. На серебрястом фоне окна рисовались плечи, свет лампы играл искрами на серебряном поясе, и черная юбка облегалась бедра. Со смертью и тишиною мутно мешалось молодое, стройное тело. Оно дышит жизнью, а каждую минуту может перейти в смерть. И эта осененная

смертью жизнь сияла, как живая белизна тела в темном подземелье.

Мы молчали. Мы долго молчали, очень долго. И не было странно. Мы все время переговаривались, только не словами, а смутными пугавшими душу ощущениями, от которых занималось дыхание. Кругом становилось все тише и пустынное. Странно было подумать, что где-нибудь есть или когда-нибудь будут еще люди. У бледного окна стоит красавица смерть. Перед нею падают все обычные человеческие понимания. Нет преград. Все разрешающая, она несет безумное, небывалое в жизни счастье.

Душный туман поднимался и пьянил голову. Что-то в отчаянии погибало, и из отчаяния взвивалась дерзкая радость. Да, пускай. Если нет спасения от темных, непонятных сил души, то выход — броситься им навстречу, свиться, слиться с ними целиком — и в этой новой, небывало полной цельности закрутиться в сумасшедшем вихре.

Прерывисто дыша, я подошел к окну. Я близко подошел к ней и тяжело, решительно сказал:

— Катра! Сейчас же уходите отсюда! Слышите?

Катра повернулась ко мне. Она беззвучно смеялась, счастливо смотрела и качала головою. В тени шляпки глаза мерцали смутными, далекими огоньками, как светляки в лесном овраге.

Я быстро охватил ее плечи и крепким поцелуем приник к щеке. Катра слабо вскрикнула и рванулась.

— Константин Сергеевич, что это вы?

Я хищно целовал ее, я ломал ей руки и отводил их от тела.

— Константин Сергеевич!.. Боже мой!.. Конста...

Была немая борьба. Гибкое, сильное тело извивалось, пуговицы и застёжки трещали. Вдруг Катра перестала биться. Она слабо застонала — тем же тоскливым стоном бредящего человека. Жестоким поцелуем я припал к нагому плечу.

Катра рванулась.

Вихрем взвилась острая, безумная радость. Никогда нигде ничего не было, было только дерзкое, непозволенное, неслыханное в чело-

веческой жизни счастье.

— Погоди, что это... Ах да!

Катра вынула из кармана револьвер. Она обняла мою шею рукою, крепко прижала к себе. Другой рукой покрыла плоский, блестящий револьвер. Грозно-веселый свет безумно лился из ее глаз в мои.

— А если я сегодня же убью тебя и себя?

— Пускай!

В комнате еще чувствуется весенне-нежный запах ее духов. Воспоминание о безумной ночи мешается с мыслью о растерзанном трупe Алеши... Ну что ж! Ну и пускай!

У косяка двери с осыпавшеюся штукатуркою висит на гвозде старый пиджак Алеши. Заношенный, с отрепанными рукавами. Рыдания горькой жалости схватывают грудь.

Здесь стояла и она, прекрасная, охваченная смутным бредом смерти. Но она не вспомнила о револьвере. Ушла и даже забыла его на столике. Лежит он, тускло поблескивая, грозный и безвредный. Обманом была украдена радость, кончилась мелко и неполно.

А Алеша вчера утром стоял в кустах за са-

харным заводом. Чуть брезжила зеленоватая заря. Блестящие струи рельсов убегали в сумрак. Со впавшими решительными глазами он стоял и вслушивался, как рельсы тихо рокотали от далекого поезда, несшего ему смерть.

Тщательно и горячо они обсуждали содержание завтрашних речей. Наташа всю ночь с женою Дяди-Белого вышивала майские флаги. Ее бескровное лицо посерело, но глаза светились еще ярче. Я решительно отказался выступать завтра, — очень расстроен смертью Алексея, в голове каша, не сумею связать двух слов. И было мне безразлично, что Перевозчиков иронически улыбался и ясно выказывал подозрение, — не попусту ли я трушу.

Со смутною завистью я прислушивался. Что-то важное для них, огромное и серьезное. А у меня в душе все сохлось, и жизнь отлетела от того, о чем они говорили. Были только истрепанные слова, возбуждавшие тошнотную скуку.

Я увидел под сознанием непроглядную

темноту и увидел мои мысли — призраки, рожденные испарениями темноты. Некуда уйти от нее. И призраки меня не обманут — темные ли они, или светлые. Не обманут, а теперь уже не испугают.

Пускай мутный сумрак души, пускай ночные ужасы и денная тоска. Зато в полумертвом сумраке — слепяще-яркие, испепеляющие душу вспышки. Перенасыщенная мука, недозволенное счастье. Исчезает время и мир. И отлетают заслоняющие призраки. Смейся над ними и весело бросайся в темноту. Только там правда, неведомая и державная.

Часть вторая

За обедом, за чаем, за ужином, — все время Анна Петровна непрерывно кричит на скуластую Аксютку. Это здесь необходимая приправа к еде.

— Да где она опять, эта рыжая дурища?.. Аксютка! Поди сюда! Где ты была, — в риге, на скотном, что не слышишь, как зовут?

— Я в кухне была.

— А я тебе десять тысяч раз говорила: когда мы за столом, чтобы ты тут была... Где вилки?

— Вот, на столе лежат.

— Где вилки?.. Чем у тебя голова набита, — навозом? Поди сюда, считай, — сколько нас? Теперь сообрази, — сколько вилок надо?

Федор Федорович кряхтит и пьет много квасу.

Оба они то и дело шпыняют Борю за то, что ему назначена переэкзаменовка, — малый в пятом классе, а вот пришлось взять репетитора.

Анна Петровна приправляет салат и поучающе говорит:

— Ты должен хорошо учиться. Видишь, как хозяйство идет. Все ползет, все разваливается. Мы с отцом ничего в хозяйстве не понимаем...

Федор Федорович широко раскрывает глаза.

— Кто не понимает?.. Парлз пур ву!..[38] Зачем вы меня сюда припутали? Я отлично понимаю.

— «Отлично»... Почему же, у нас никакие машины не идут?

— Какие машины не идут?

— Все, какие есть. Сеялка, косилка, молотилка. Свицерский говорит, — сеялка у нас очень хорошая, только управлять не умеют.

— Глупости говорит Свицерский.

— Почему же у нас, как посеют овес просто, без сеялки...

— Почему... почему... Э... э... Почему у оленя во рту не растут лимоны?

Федор Федорович сопит и наливаются кровью, рачьи глаза смотрят злобно. Анна Петровна презрительно пожимает плечом.

— Это что значит?

— Почему этот стакан стеклянный, а не де-

ревянный? Почему сейчас дождь идет? Эти глупые вопросы, на них нельзя ответить. Почему не родилось? Урожаю не было!

— Почему же у нас урожай бывает там, где сеют без сеялки?

— Го-го!.. Уд-дивительно!

— Очень удивительно. Посеют просто, от руки, — и растет себе великолепно. А выедут с сеялкой — стучит, трещит, звенит, а толку нету!

— У-удивительно! Х-хе-хе-хе!.. Суперфлю! Суперфлю!..[39]

— И во всем так. Все дуром идет, через пень колоду.

Курсистка Наталья Федоровна, с темным, болезненным лицом, страдальчески морщится.

— Ну, мама, будет!

Но Анна Петровна безудержно сыплет:

— Вот, скотник Петр. Три недели лошадей не распутывал, лошади все ноги себе протерли. Скотину домой гонит за два часа до заката, кнутом хлещет. Стадо мчится, как с пожара, половина овец хромая — лошади подавили. А прогнать скотника нельзя, — «где я дру-

того найду?»

— Ну да, — где я другого найду? Нет народа!

— Свет не клином сошелся. Можно пока поденно взять.

Федор Федорович наливаётся темной кровью, на лбу вспухают синие жилы.

— Поденно!.. Умное слово услышал!.. Поденно!..

Он, шатаясь, поднимается и поспешно уходит в кабинет. Анна Петровна ему вслед:

— Вот, когда правду заговорят, — сейчас же бежит!

— Да будет тебе, мама! Ну что это! Противно слушать.

— Не слушай, пожалуйста!

— Ведь опять у него кровь прилила к голове.

Анна Петровна осекается. Она сидит молча, подергивает плечами, без нужды передвигает тарелки. Потом говорит:

— Пойди, Боря, посмотри, не нужно ли чего отцу... Да вот творожники отнеси ему — ушел от третьего.

— Сказал, — не хочет.

Изо дня в день так. О чем ни заговорят, — вдруг из разговора высовываются острые крючочки, цепляются, колются. Ссоры, дрязги, попреки. Мой ученик Боря — славный мальчик, наедине с ним приятно быть. Но когда они вместе, — все звучат в один раздраженно злой, осиный тон.

Весна в разгаре. Воздух поет, стрекочет, жужжит. Цветет сирень. И державно плывет над землею солнце.

Но душа на все смотрит как из глубокой черной дыры. Далеко где-то звенят ласточки. Равнодушно проходят цветы — распускаются, теряют уборы... И сирень уже закоричневела, сморщилась. А я все собирался почувствовать ее. Ну, все равно.

Я ничего не читаю и не хочу думать. Довольно играть мячиками-мыслями. Второстепенное мне теперь совсем не интересно — все эти параллаксы Сириусов и тактика кадетов. А в самом важном, что так необходимо для жизни, — тут цену исканиям мысли я знаю. Мячики, которые подсовывает Хозяин. Не хочу.

И странно мне смотреть на Наталью Федоровну. Сутулая, с желто-темным лицом. Через бегающие глаза из глубины смотрит растерянная, съежившаяся печаль, не ведающая своих истоков. И всегда под мышкой у нее огромная книга «Критика отвлеченных начал» Владимира Соловьева. Сидит у себя до двух, до трех часов ночи; согнувшись крючком, впивается в книгу. Часто лежит с мигренями. Отдышится — и опять в книгу. Сосет, сосет, и думает — что-нибудь высосет.

Живет здесь еще жена старшего их сына-чиновника, Агриппина Алексеевна. Молодая, очень полная, всегда в тугом корсете; сильно скучает в деревне. У нее мальчик Воля. Вечно он ноет и капризничает; с воскового, спавшегося личика смотрят алые глаза. Какой-то кишечный катар у него. Агриппина Алексеевна ставит ему клизмочки и готовит каши.

Кругом все разрушается. Амбары покосились, крыша риги провисла. Старенький старичок Степан Рытов ведет на поводу слепого мерина, запряженного в бочку, и шамкающим голосом повторяет:

— Тпру!.. Тпру!..

По запущенному саду ходит, еле двигая ногами, дряхлый жеребец. Вокруг глаз большие седые круги, как будто очки. На ночь его часто оставляют в саду. Он неподвижно стоит, широко расставив ноги, с бессильно-отвисшей губой. И в лунные ночи кажется, — вот призрак умирающей здесь жизни.

А иногда другой является призрак. Приходит из деревни пьяный Гаврила Мохначев. Огромный, лохматый и оборванный, он бродит по саду, шагая через кусты и грядки, бродит под балконом. Грозит кулаком на окна и зловеще трясет головой.

— У-у, дармоеды проклятые! Настроили хором... Погодите, дайте срок!..

Зато сегодня вечером увижу Катру.

Имение ее матери в пяти верстах от Сеянова, где я. Мать — сухая, энергичная дама с хищными, торгашескими глазами. Она сама управляет имениями, носится в платочке по амбарам и скотным дворам. Копит, копит для Катры и совсем не интересуется, как и чем она живет.

Катра властвует. Ее три комнаты — изящная сказка, перенесенная в старинный помещичий дом. Под окнами огромные цветники, как будто эскадроны цветов внезапно остановились в стремительном беге и вспыхнули цветными, душистыми огнями. Бельведер на крыше как башня, с винтовой лестничкой. Там мы скрыты от всего мира.

Среди ароматов и цветов — она, прекрасная, хищная. И она моя. Буйно-грешный сон любви и красоты, вечной борьбы и торжествующего покорения. Все время мы друг против друга, как насторожившиеся враги. Мне кажется, мы больше друг друга презираем и ненавидим, чем любим. Смешно представить себе, чтоб сесть с нею рядом, как с подругою, взять ее руку и легко говорить о том, что в душе. Я смотрю, — и победно-хищно горят глаза:

«Да! Ты — гордая, недоступная, всем желанная, ты моя, с твоими презрительными глазами и руками Дианы».

А она смотрит:

«Ты, с твоими звонкими словами о широком и большом, — ты увидел в этом пустоту. Я буду при тебе смеяться надо всем, ты мо-

жешь беситься, а я знаю: встану, подниму из широких рукавов нагие руки, потянусь к тебе, — и пусть ты не говоришь, а пьянящая тайна моих объятий для тебя глубже и прекраснее скучных дел мира».

Ну да, глубже и прекраснее. Она торжествует. А я злорадно смеюсь в душе. С предательски-внимательным взглядом она подносит мне пьяный напиток, кажется, вся страсть и острая радость ее в том, что я хватаюсь за него. А мне его-то и нужно.

Кружится голова. Как темно, как жарко! Гибкая змея вьется в темноте. Яд сочится из скрытых зубов, и смотрят в душу мерцающие, зеленые глаза. Темнота рассеивается, глубоко внизу мелькает таинственный свет. Все кругом изменяется в жутком преображении. Грозное веселье загорается в ее глазах, как в первый раз, когда она ласкала рукою сталь револьвера. И вдруг мы становимся неожиданно близкими. И идет безмолвный разговор.

«Ты помнишь, — помнишь, что смерть нас венчала?»

И безумные глаза отвечают:

«Помню!»

Шевелятся волосы от близкого дыхания божественной венчательницы. Вот она. Какая великая власть у нас! Только шаг шагнуть и ух! Оборваться и полететь и забиться в безумно сладких судорогах. Светлый смех над темной жизнью. И молния. И светлый, торжествующий конец.

Это писалось всего несколько часов назад? Читаю, перечитываю, — как будто писано на незнакомом языке. Свет какой-то, пьянящая тайна объятий... Какого тут черта «тайна»?.. Бррр...

В душе смрад. Противны воспоминания. Все так плоско и убого. Как будто вышел я из спальни проститутки. «Бездна»? Грязное болото в ней, а не бездна... Ко всему она спускается сверху, из головы, с холодом ставит опыты там, где ждешь всежигающего огня. И никакой нет над нами «венчательницы». Не ужас между нами, а развратно-холодная забава.

Хозяин слепыми глазами смотрит на меня из моей глубины. И я твержу себе:

— Помни, помни, что ты теперь испытываешь!

Но со злобою я чую: захочет он, слепой мой владыка, и опять затрепещет душа страстно-горячею жаждою, и опять увижу я освещающую мир тайну в том, от чего сейчас в душе только гадливый трепет.

Идут дни, как медленные капли падают. С тупым отвращением я наблюдаю моего Хозяина. Он, этот слепой и переметчивый тупица, — он должен решать для меня загадку жизни! Какое унижение! И какая глупость ждать чего-нибудь!

Конечно, я болен. Слишком много всего пришлось пережить за этот год. Истрепались нервы, закачались настроения, душа наполнилась дрожащею серою мутью. Но этому я рад. Именно текучая изменчивость настроений и открыла мне моего Хозяина. Как беспокойный клещ, он ворочается в душе, ползает, то там вопьется, то здесь, — и его все время ощущаешь. А кругом ходят люди. Хозяева-клещи впились в них неподвижною, мертвою хваткою, а люди их не замечают; уверен-

но ходят — и думают, что сами они себе причина.

А сегодня я посмеялся.

Лежал после обеда под кленом в конце сада, читал газету. Часа через два после обеда меня часто охватывает тупая, мутящая тоска. Причину я знаю. Не осиянное проникновение духа сквозь покров Майи, — о нет! Обычный студенческий катар желудка.

Я лежал, смотрел, как светило солнце сквозь сетку трав на валу канавы. Душа незаметно заполнялась тяжелым, душным чадом. Что-то приближалось к ней, — медленно приближалось что-то небывало ужасное. Сердце то вздрагивало резко, то замирало. И вдруг я почувствовал — смерть.

Я почувствовал — она здесь. Подползла откуда-то — унылая, тусклая, — обвилась, сунула нос в мою душу и нюхает. Она не собиралась сейчас взять меня, только приползла взглянуть на будущую добычу. И все внутри затрепетало в понятой вдруг обреченности своей на уничтожение.

Не умом я понял. Всем телом, каждую его клеточкою я в мятущемся ужасе чувствовал

свою обреченность. И напрасно ум противился, упирался, смотря в сторону. Мутный ужас смял его и втянул в себя. И все вокруг втянул. Бессмысленна стала жизнь в ее красках, борьбе и исканиях. Я уничтожусь, и это неизбежно. Не через неделю, так через двадцать лет. Рассклизну, начну мешаться с землей, все во мне начнет сквозить, пусто станет меж ребрами, на дне пустого черепа мозг ляжет горсточкою черного перегноя...

Несколько раз за этот год я лицом к лицу сталкивался со смертью. Конечно, было очень страшно. Но совсем было не то, и не мог я понять, что это за ужас смерти. А теперь, в полной безопасности, на мягкой траве под кленом, — я вдруг заметался под негрозящим взглядом смерти, как загнанная в угол собачонка.

Хотелось перестать метаться, свиться душою в клубок, покорно лечь и в неподвижном ужасе чувствовать, что вот она, вот она над тобою, несвержимая владычица...

Но я вскочил на ноги.

С разбегу перепрыгнул через канаву и побежал навстречу ветру к лощине. Продираясь

сквозь кусты, обрываясь и цепляясь за ветки, я скатился по откосу к ручью, перескочил его, полез на обрыв. Осыпалась земля, обвисали ветви под хватающимися руками. Я представлял себе, — иду в атаку во главе революционных войск. Выкарабкался на ту сторону, вско-чил на ноги.

Морем лился свет на широкие луга. Весело билось сердце, грудь, задыхаясь, алчно вбирала свежий воздух, насытившиеся мускулы играли.

Где, где — то, что сейчас клубком обвивалось вокруг души? Там осталось, внизу. Вон за канавой, под кленом.

А, подлый раб! Ты думал — ты мой Хозяин, и я все приму, что ты в меня вкладываешь? А я вот стою, дышу радостно и смеюсь над тобою. Стараюсь, добросовестно стараюсь — и не могу понять, — да что же такого ужасного было в том, что думалось под кленом? Я когда-нибудь умру. Вот так новость ты мне раскрыл!

— Воля, пойдика сюда! Пойди, пойдика сюда! — Агриппина Алексеевна сердито ждала,

пока он не подошел. — Скажи, пожалуйста, кто это у тети Наташи в комнате разбил синий кувшинчик из-под цветов?

Воля насупился, поджал губы и вызывающе уставился на нее.

— Ты это разбил, да?

Он, не спуская с нее взгляда, кивнул головой.

— Сколько же раз я тебе говорила: не смей никогда трогать ничего без спросу! Тетя Наташа так любит синий кувшинчик, а ты разбил. Никогда больше не ходи один в комнату тети Наташи, понял?

Воля робко взглянул исподлобья и неожиданно ответил:

— Нет.

— Не понял? Я тебе говорю: ты все трогаешь без спросу, все портишь. И не смей ходить, куда тебя не зовут. Понял теперь?

Робко, жалобно и настойчиво Воля повторил:

— Нет.

— Ну, голубчик мой, если не понимаешь, то тебя никуда нельзя выпускать. Пойдем, я тебя запру наверху.

Она взяла Волю за руку. Он сморщился и судорожно стал всхлипывать.

— А-а! Видишь? Не хочется наверх? Понял теперь, что нельзя трогать чужих вещей?

Крупные слезы прыгали по желтовато-прозрачным щекам. Воля вызывающе взглянул и жалобно дрожащим, упрямым голосом опять ответил:

— Нет.

— Ах, дрянной мальчишка!.. Ну, посиди наверху, тогда поймешь!

Она потащила его из столовой. Воля вдруг закатился голосистым ревом, как будто плач долго накоплялся в нем и теперь упоенно вырвался наружу. Анна Петровна сказала:

— Вот характерец!.. Какой упрямый мальчишка!

— Болен он.

— И в кого он такой уродился? Отец здоровый, мать вон какая! — Анна Петровна улыбнулась. — Сегодня утром Фекла мне говорит: удача нашему молодому барину — такая тельная жена попалась.

Боря лениво возразил:

— Она сказала: «тельная»!

— Ну что ты! «Тельная»! Тельною корова называется, когда ждет теленка.

— «Тельная» черев ять от «тело».

— Я сама слышала, она сказала — телистая.

— А я слышал, сказала — тельная.

— Ну не ври, пожалуйста!

Раздражаясь, вмешалась Наталья Федоровна:

— Отчего он должен врать? Ты так слышала, он так.

— Ничего он не слышал. Всегда врет.

— Никогда не вру! По себе судишь.

Федор Федорович крикнул:

— Как ты смеешь говорить так матери?!

Заварилась каша.

— Сейчас же проси у матери прощения.

— Не стану просить. Пусть она раньше меня попросит!

— Она — у тебя?!

Федор Федорович поспешно ушел в кабинет. Когда он волнуется, у него приливы крови к голове, и он страшно боится удара.

Приказ из кабинета через Аксютку:

— Пусть Борис Федорович не попадается

барину на глаза.

Раньше, чем выйти к обеду или ужину, Федор Федорович вызывает теперь Аксютку справиться, в столовой ли Боря. Кормят Борю отдельно.

— Тпру!.. Тпру!..

Чалый, слепой мерин, спокойно шагает. Заложив руки за спину и держа в них повод, впереди идет дедушка Степан. Старая гимназическая фуражка на голове. Маленький, сторбленный, с мертвенно-старческим лицом, он идет как будто падает вперед, и машинально, сам не замечая, повторяет:

— Тпру!.. Тпру!..

Мерин возит воду из колодца, траву для конюшенных лошадей. И круглый день на дворе или в саду слышится отрывистое, сурово-деловитое:

— Тпру!.. Тпру!..

Тяжело и жалко смотреть на старика. Такой он маленький, дряхлый, сторбленный. Ему бы давно лежать на печи и греться на солнышке. А он убирает пять лошадей на конюшне, обслуживает двор и кухню.

На днях косил он в саду траву для конюшенных лошадей. Коса резала медленно и уверенно, казалось, она движется сама собой, а дедка Степан бессильными руками прилип к косью и тянется следом. Лицо его было совсем как у трупа.

— Дай-ка, дедка, я покошу.

Он остановился, — скрывая тяжелую одышку, оглядел меня.

— С чего это? Ну, ну, побалуйся. Дай поточу тебе.

Я косил. Степан с добродушно-снисходительною усмешкою смотрел и учил:

— Пяткой больше налегай!.. Та-ак!.. Много концом забираешь, ты помаленечку. Она ровней пойдет...

Я докосил до канавки. Степан подошел.

— Будя, мальй! Уморился.

— Нет, я на весь воз накошу.

— О-о?.. Ну, покоси еще.

Я ряд за рядом продвигался мимо. Степан стоял, расставив ноги в огромных лаптях; с узких, сгорбленных плеч руки прямо свешивались вперед, как узловатые палки. А глаза следили за мной и в глубине своей мягко сме-

ялись чему-то.

— Ну, я, значит, за телегой побегу... А ты еще рядочка два пройди — и ладно.

Теперь я каждый день кошу для него траву.

— Дедушка Степан, где косить сегодня?

— Ай опять охота нашла?.. Ну-ну! Низком нынче коси, за малиной. Где кленочки-то насажены-ы? Пройди рядок-другой, а там я подъеду, подсоблю тебе.

Я кошу. Он подъезжает. Каждый раз пытается взять косу и продолжать сам. Но я не даю. И он вилами начинает накладывать траву в телегу.

Слепой мерин с таинственными, мутно-синеватыми зрачками ест с рядов траву, медленно подвигаясь вперед. Степан свирепо кричит:

— Ну, ну, куда прешь?.. Тпру-у!.. Ходит кругом, полверсты бежать за ним с вилами... Стой ты, дьявол нехороший!.. Тпру!..

И все время слышатся его шамкающие, грозные окрики. Но сморщенная рука тянет за узду, не дергая. Но лошадь не вздрагивает при его приближении.

Накосили травы, навили воз. Степан стоит с тавлинкою из бересты и медленно нюхает табачок. Украдкою он кивает мне на Слепого и вполголоса говорит:

— Эх, малый, хорош конек! Кабы еще зрячий был, цены бы ему не было.

Слепой смотрит невидящими глазами и притворяется, что не слышит. Степан подтягивает чересседельник, вздохнув, взглядывает на Слепого.

— Ну что ж? Трогай, что ли!

Руки за спину, повод в руках — и идет впереди дряхлым, падающим шагом, и опять слышится:

— Тпру!.. Тпру!..

Жалко Степана.

Он из Щепотьева, верст за пять отсюда. Хозяйство ведет его сын Алексей, большой, вялый мужик с рыжею бородою. Горе их дома, что жена Алексея родит ему все одних девок. Семь девок в семье, а желанного мальчика все нет. Нужда у них жестокая.

Степан получает жалованья три рубля и целиком отдает их сыну. Отдает и свою месячину, — два пуда муки. А сам подбирает со

стола за работниками обгрызанные корочки и мочит их в воде. Работники за обедом смеются:

— Ну, дядя Степан, до смерти теперь мягкого хлеба не видать тебе!

Степан тискает беззубыми деснами размоченные корочки и тихо улыбается.

Ужасно его жалко. Хочется сделать ему что-нибудь приятное. Я подарил ему свои большие сапоги. Дедка был очень доволен, осматривал сапоги, щелкал по ним пальцами. Приглядываюсь, — Степан все в лаптях, как ни мокро на дворе.

— Что же ты, дедка, сапог не носишь?

Он хитро улыбнулся.

— Да их, малый, уж давно Алеха трепле!

Боря привез ему из города четвертку чаю и два фунта сахара. Степан сейчас же переслал их своим.

Удивительное дело — самому ему ничего не нужно. И все время мягко и радостно смеются чему-то тусклые глаза. Сгорбившись дугою, он стоит у конюшни, с наслаждением поглядывает на далекие луга.

— Эх, парень, росы ноне больно хороши!

На зорьке два шага по траве пройдешь — весь мокрый. На большом лугу, чай, стогов шесть смечут.

К себе домой его совсем не тянет. Он сжил-ся с сеяновской усадьбой, с конюшней, с лошадьми, болеет душою за разрушающуюся хозяйственную жизнь. Домой же ходит только по очень большим праздникам, из вежливости. И скучает там.

Изредка придет к нему сын Алексей, принесет осьмушку табачку или лычка на лапти. В окно увидит это Анна Петровна и раскудахнется:

— Зачем ты ему, Алексей, лыка принес? И так он весь день ничего не делает. А теперь и вовсе, — знай, сиди себе на солнышке да плети лапти!

Степан равнодушно уходит с Алексеем в конюшню. Там он ворчит:

— Раскричалась!.. Небось, не на работе, а на полднях урвешь времечко лапти поковырять. Али после ужина. На твое жалованье сапоги нешто купишь? «Не делаешь ничего!»... Одних лошадей сколько в конюшне! На эту-кую артель отдельного бы человека нужно.

Всех почистить, навоз выгрести, травы нако-
сить лошадем... Бра-ат!

Но чувствует Степан, что силы у него мало и что его скоро прогонят. Он самому себе старается доказать, что не хуже других, и надсаживается без отдыха.

Мужики при встречах смотрят угрюмыми, презиращими глазами и отворачиваются. Каждый вечер за ужином идут ярые споры, убирать ли дальние покосы. Возить оттуда — перевозка станет дороже сена; там метать стога — мужики их растащат или подожгут.

По вечерам то здесь, то там дрожат на горизонте зарева горящих усадеб. Дедушка Степан нюхает табачок и с лукавою усмешкою говорит:

— Ребята самовары ставят!

Недавно под вечер Степана нашли за конюшней на навозной куче, а рядом валялись вилы. Он лежал и не мог встать. Правая рука и нога отнялись, лицо дергалось. Он ворочал глазами и говорил непонятные слова:

— Марый! овса запусай кленочку... Овса,

говорю... запусти!

Его перенесли в рабочую избу.

А через два дня слышу на дворе:

— Тпру!.. Тпру!..

И опять падающим своим шагом Степан идет перед бочкою, волоча правую ногу.

За ужином он жевал деснами размоченную в щах хлебную корку и хвастливо говорил:

— Я почему держусь? Другой в мои годы на печи лежит, а я все работаю. Почему? Потому что за меня семь душ богу молятся. Бог мне здоровья и дает. Я всегда работать буду. Здесь прогонят, в пастухи пойду, а на печь не лягу!

По винтовой лестничке спускалась мать Катры, расстроенная, раздраженная. Катра стояла у окна бельведера и сумасшедшими глазами смотрела перед собой. Она с отвращением пробормотала:

— Броситься сейчас в окно!

Вдруг вздрогнула и очнулась. Оглядела меня не узнающими глазами.

— Кто тут?.. Это вы... Ты?

— Я стучался, ты сказала — войдите.

— Я не слыхала, как сказала...

Она медленно села на кушетку и из всех сил сдерживала порывистые вздрагивания тела. Пересиливая себя, задала нарочно банальный вопрос:

— Ну, как поживаешь?

Вдруг она испуганно вздрогнула и быстро провела руками по плечам и груди.

— Что с тобой?

— Мне кажется, по всему телу у меня ползают пауки... Щекочут. Бегают... Это ничего...

Ее взгляд двигался, ни на чем не останавливаясь. Она тяжело дышала. Подошла к окну и жадно стала вслушиваться. С заднего крыльца доносился грубоватый голос ее матери и галденье мужиков.

Катра повела плечами и снова села на кушетку.

— Э, наплевать!.. Не все мне равно!

С выжидающим, злым вызовом она поглядела на меня.

— Сейчас побранилась с мамой... Зимой мужики взяли у нас хлеба под отработку, вязать рожь. По два рубля считая за десятину. А теперь объявили, что за десятину они кладут

по два с полтиной: пусть им доплатит мама, а то не вышлют баб вязать. Почувствовали свою силу. Мама хочет уступить, находит, что выгоднее. А по-моему, это трусость. Скверная, поганая трусость!.. Как и в этом тоже: мама потихоньку продает имение и боится сказать об этом мужикам.

Я молча ходил по комнате. Катра следила за мною.

— Что же ты не возмущаешься?.. Бедные мужички, помещичья дочка-эксплуататорша...

— Вот что, Катра. Я уйду. Я не вовремя пришел.

Катра встрепенулась:

— Костя!.. Не уходи.

Она вдруг всхлипнула и прижалась к моему плечу. Жалкое что-то и беспомощное было в ней.

— Господи! Как все тяжело, как противно! Все эти мелочи, эти дрызги мещанские, — как они отравляют жизнь! И солнца давно уже нету, опять лето будет холодное, мокрое... Посмотри. Ты только взглядишь в эту тусклость...

Цветы бились под холодным ветром, текла

вода с деревьев. Катра села в угол и все вздрагивала резкими, короткими вздрагиваниями. Как будто каждый нерв в ней был насыщен электричеством и происходили непрерывные разряды. Лицо было серое, некрасивое. И серо смотрели из-за нее золотистые японские ширмы с волшебно вышитыми орлами и змеями.

— И потом — слова. Они надо мною имеют какую-то странную власть. Я скажу слово — так себе, без всякого соответственного настроения, — и слово уже овладевает мною и создает свое настроение. И я злюсь, для меня вся жизнь в том, чтоб отстоять это наносное... Вот так и с мужиками этими. Я мельком сказала, мама стала возражать...

И вдруг глаза ее сверкнули.

— А все-таки я маме не позволю уступить им!

Скорчившись, она с ногами сидела на кушетке, охватив колени, и злыми, задирающими глазами смотрела на меня.

— Костя!.. Да что же ты все молчишь?.. Научи меня, как мне жить. Спаси меня, ведь я гибну!.. Да где тебе!.. Ты не знаешь, сам ничего не знаешь и не умеешь! Ты даже Алексея

Васильевича не сумел удержать от смерти. На твоей совести лежит его смерть!..

— Ого!..

Начинало вскипать в ответ злое, враждебное нетерпение. Прижавшись подбородком к коленям, Катра ненавидящими глазами впи- лась в меня и выискивала, где бы побольнее уколоть.

— Да! Это правда! Его нужно было лечить, куда-нибудь в санаторию отправить в Швейцарию. А ты книжками его отчитывал да разных Хозяев каких-то открывал... Деньги бы всегда нашлись. Ты отлично знаешь, я с удовольствием дала бы тебе, сколько бы ты ни попросил...

Сдержанность меня покидала. Глаза загорались. И в наступавших сумерках как будто два отравленных клинка скрещивались. Или, — что там! — вернее, — как будто Федор Федорович и Анна Петровна злобно шпыняли друг друга.

— ...Только два мгновения в жизни я была счастлива, и оба эти мгновения я пережила с тобою. И вот я не могу оторвать себя от тебя. А ты так противно элементарен душою, ты ме-

щанин до мозга костей!

— А скажи ты мне, сложная, немецкая душа. Я давно хотел тебя спросить. Почему, — помнишь, в одно из этих двух твоих «мгновений» — почему ты... забыла о револьвере? Это у тебя только красивая фраза была для украшения мгновения?

Катра вздрогнула и побледнела. И еще пристальнее впились в меня ненавидящие, сумасшедшие глаза.

Крики были. И плач. И эфирно-валериановые капли.

Потом — тихие, всхлипывающие речи. Горячно-быстрый шепот, поцелуи и проникающая близость. Ласки, пьяные от пронесенного мучительства. Огромные, грозные, полубезумные глаза. И все кругом зажигалось странною, безумною красотою.

Степан, в рваном зипуне, стоял, сторбленную спиною прислонясь к стене конюшни. Он смотрел довольными глазами, как нависали с неба мутно-шевелившиеся тучи, как везде струилась и капала вода.

— Благодать господь посылает... Гляди-ка,

парень, как теперь трава подыметя, как овсы пойдут... Ко времени дождик пришелся!

Он медленно поднес к носу щепоть табаку и нюхал и вбирал глазами насыщенные влагою дали полей.

— Теперь бы недельки на две такой погоды — лучше не надо.

Из конюшни пахнуло влажным теплом лошадей и навоза. Степан вздохнул.

— Пойти овса засыпать лошадем...

Он вошел в сумрачную конюшню, подошел к ящику с овсом. Лошади насторожились и радостно заволновались.

— Тпру!.. Тпру!.. Стой ты, дьявол! И-ишь! Не дождется!

С нетерпеливым, взволнованным ржанием Нежданчик повернул к Степану голову. Сверкали в сумерках прекрасные глаза. Он хватал овес из мерки, не дожидаясь, чтоб Степан высыпал в кормушку. Степан с упреком смотрел и не высыпал мерки.

— Уж утром мерку засыпал, — съел... А засыпать все не даешь. Чего жадобишься?.. Вот уж свинья!

В заднем стойле, незагороженный и

непривязанный, стоял, расставив ноги, дряхлый гнедой жеребец. Мягкая губа отвисла, глаза в очках из седины грустно думали о чем-то своем, в терпеливом ожидании забывчивой смерти.

— У-у, костяк старый! Зажился!.. Поглядывай у меня!.. В кормушку стал гадить, старый черт! Вчера весь вечер выгребал.

И всыпал ему овса. Федор Федорович запретил тратить овес на гнедого жеребца, но Степан всегда дает и ему.

Весело и мерно хрустело в сумраке от дружного жевания пяти лошадей. В пустом стойле поблескивала золотистая солома. В соломе пищали и шевелились розовые мышата, захваченные с омета вместе с соломою. Степан стоял в проходе — сторбленный, с висящими вниз руками. Он слушал, как дружно жевали лошади, и скрытая улыбка светилась в глазах. Вместе с радостно топотающими лошадьми он, тайно от меня, как будто тоже радостно переживал что-то.

Была старая, низкая конюшня. С темного потолка свешивались пыльные лохмотья паутины, пахло навозом. Но стоял здесь этот обо-

рванный старик, — и все странно просветливалось. Все становилось таинственно радостным — какою-то особенною, тихою и крепкою радостью. Что-то поднималось отовсюду, сливалось в одно живое и общее.

Все еще хотелось жалеть его, этого дряхлого, нищего старика. Но в душе не жалость шевелилась, а какая-то светлая ответная радость. И жалость вдруг поднялась, презрительная и насмешливая, когда мне вспомнились японские ширмы и пряные запахи никтериний и тубероз. Ходит там и тоскует мутная душа, как пластырями облепляет себя красотами жизни. Но серым пеплом осыпано все вокруг. И только судорожными вспышками мгновений освещается мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокруг утонченнейшие красоты мира, — это будет только вареньем к чаю для человека, осужденного на казнь.

Здесь же вот — теплый запах навоза, хрустение жующих лошадей, пыльная паутина и писк мышат. А все претворяется в такую красоту, перед которой тусклы и смешны бесценные японские ширмы. Ясным, идущим изнут-

ри светом озаряется вся жизнь сплошь, — радостная и неожиданно значительная.

Степан задумчиво смотрел на черного, блестящего меринка и скорбно качал головою.

— Эх, малый! Не «„Мальчиком“ бы коня этого звать, а Грачиком». Говорил я барину сколько раз. Не слушает...

Я случайно открыл ее, эту лоцинку.

Вчера днем шел по тропинке среди полей и справа над матово-зеленою рожью увидел темно-кудрявые дубовые кусты. Пробрался по меже. Среди светлой ржи лоцинка тянулась к речке темно-зеленым извилистым провалом. Чувствовалось, давно сюда не заглядывал человек.

Был полдень, стояла огромная тишина, когда земля замолкает и только в просторном небе безмолвно поет жгучий свет. И тихо сам я шел поверху мимо нависавшей ржи, по пояс в буйной, нетоптанной траве. На повороте мелькнула вдали полоса речки. Зелен был луг на том берегу, зелен был лес над ним, все было зелено и тихо. И синяя речка под синим небом была как скважина в небе сквозь зеле-

ную землю.

Тишина жила. Я тихо выкупался в речке, и вода мягко сдерживала всплески. Не одеваюсь, я сел на берегу. Сидел долго.

Свет горячо проникал к коже, пробираясь сквозь нее глубоко внутрь, и там, внутри, радостно смеялся чему-то, чего я не понимал. Шаловливым порывом вылетал из тишины ветерок, ласково задевал меня теплым, воздушно-прозрачным своим телом, легко обвинялся и уносился прочь. Ясноло в темной глубине души. Слепой Хозяин вбирал в себя щупальца и, ковыляя, уползал куда-то в угол.

Я оделся. Средь той же большой тишины медленно пошел вверх по дну лощины, вдоль ручейка.

Маленькая бурая лягушка бултыхнулась из осоки в ручей и прижалась ко дну. Я видел ее сквозь струисто-прозрачную воду. Она полежала, прижавшись, потом завозилась, ухватила переднюю лапкою за стебель и высунула нос из воды. Я неподвижно стоял. Неподвижна была и лягушка. Выпуклыми шариками глаз над вдавленным черепом она молча и пристально смотрела, всего меня за-

хватывая в свой взгляд. Я смотрел на нее.

Все тише становилось кругом. И мы всё смотрели.

И вдруг из немигающих, вытаращенных глаз зверушки медленно глянула на меня вся жизнь кругом — вся таинственная жизнь притихшей в прохладе лощины. Я оглянулся.

Средь темной осоки значительно и одухотворенно чуть шевелилась кудряво-розовая дрема. И все в ней было жизнь. И всюду была жизнь в свежей тишине, пропитанной серьезным запахом дуба и ароматами трав. Как будто лощинка не заметила, как я вошел в нее, не успела притвориться безжизненной и — все равно уж — зажила на моих глазах, не скрываясь. Всем нутром я почувал вдруг эту чуждую, таинственно молчащую жизнь. Жутко становилось. И что-то радостное дрогнуло внутри и жадно потянулось навстречу. В запахе клевера и зацветающей ржи я пошел вдоль откоса. Сапоги путались в густой траве. Захотелось ближе быть к этой душистой жизни. Я разулся, засучил брюки выше колен и пошел. Мягко обнимала и обвивала ноги трепетно-живая, млеющая жизнью трава. За

пригорком мелькнул золотисто-огненный хвост лисицы. Цеплялись за дубовые кусты лесные горошки с матовыми, плоскими стеблями.

Разбегались глаза. Хотелось искать путей, чтоб добраться до вскипавшей кругом жизни. Отыскать у нее глаза и смотреть, смотреть в них и безмолвно переговариваться тем могучим и огромным, чему путь только через глаза. Но не было глаз. И слепо смотрела трепетавшая кругом жизнь, неуловимая и вездесущая.

Я прилег под колебавшуюся рожь. Меж рыхлых сухих калмыжек шевелился цветущий кустик; продолговатые, густо посаженные цветочки, как будто тонко вырезанные из розового коралла, в матово-зеленой дымке кружевных листьев.

Ну!.. Ну!.. И радостно, призывно что-то смеялось в душе.

Но слепо качались кружевные листья, налитые зеленым светом, и жадно пили солнце, и не чувствовали моего взгляда. Но было в них что-то единое со всем, что кругом.

С тем же радостно-недоумевающим сме-

хом в душе я воротился домой. Шел мимо террасы. Там пили чай. Сидел в гостях земский начальник. И медленно ворочались сухие, как пустышки, слова для разговора. Федор Федорович пил холодный квас, кряхтел и говорил:

— Даже на мертвые существа жара действует... Возьмите дерево, цветок, траву — и те вянут от жары.

И еще несколько раз издали я слышал: «мертвые существа».

Мертвые существа!.. Мелькнула над террасой ласточка, с радостно звенящим смехом вильнула в воздухе и понеслась прочь от жирно потевших на террасе живых существ.

В кухне ставили хлеба. И с ранней зари на весь дом звучал пронзительный, ругающийся голос Анны Петровны.

Невозможно было спать. Потом стали подавать чай. Хлынули крики на горничную:

— Аксютка, да где же ложки? Зачем я тебе их отдала, — для потехи? Для удовольствия? Поиграть ими? Я тебе их вымыть дала!.. Куда ты идешь?

— Я через кухню иду.

— И тут широкая дорога... Аксютка!.. Ульяна, скажи ты этой рыжей дряни, чтоб сейчас же шла сюда!

Угрюмый, невыспавшийся, я сидел на постели. Жарко было в комнате и душно. Из за-
лы, из кухни, из коридора непрерывно несея захлебывающийся криками голос Анны Петровны. В тон ему истерично заливались-кудахтали куры в курятнике.

Что это вчера со мною было? Вспоминалась идиотская радость в лощине... С чего она? Жизнь какая-то в лягушке и в траве! Ну да — жизнь. А раньше не знал я, что в них жизнь и свои физиологические процессы? Что же меня привело в восторг?

Под одичавшими кустами смородины бродили среди лопухов куры. Шевелились налитые солнечным светом листья бузины. Вот и здесь везде жизнь. Что же дальше?..

Я чуждо смотрел в окно.

— Ты не кричи так, не кричи, как пьяная баба! Тебе колом в голову не вдолбишь, все на своем будешь стоять! Я тебе десять тысяч раз говорила, чтоб ты в кухню не брала серебря-

ных ложек... Ах, «я-а», «я-а»... Поменьше бы языком молола. Корова рыжая!

Хотелось бешено выскочить и стукнуть старуху по шее. И все как скверно, как противно!.. И этот нелепый роман с Катрой. Непрерывный от него чад в душе. Неужели нехватит воли разорвать с нею? Два болота, разделенные высокой горою, соединились на вершине гнилыми испарениями... Гадость, гадость!

Мутно вздрагивало в душе угрюмое, брезгливое отвращение и выскивало, к чему бы прицепиться. Я сидел и вслушивался в себя.

Вот он, в темной глубине, — лежит, распластавшись, слепой Хозяин. Серый, плоский, как клещ, только огромный и мягкий. Он лежит на спине, тянется вверх цепкими щупальцами и смотрит тупыми, незрячими глазами, как двумя большими мокрицами. И пусть из чащи сада несет росистой свежестью, пусть в небе звенят ласточки. Он лежит и погаными своими щупальцами скользит по мне, охватывает, присасывается.

Погоди ты, подлый раб!

Сверкал солнцем тихий пруд. Сверкали ли-

стья мать-мачехи. В траве пряталась прохлада утра. Бух! Брызги. Вода с стремительной ласкою охватывает тело, занимается дыхание.

Медленно плыву на спине, чуть двигая руками. Холодные струйки пробегают по коже, радостно вздрагивает тело. Синее-синее небо, в него уносятся верхушки берез, все улыбается. Тает и рассеивается в душе мутная темнота.

Я вытирался на берегу. Солнце ласково грело кожу, мускулы напрягались. Глубоко в теле вздрагивал смех.

— Ну, Хозяин, что? Непрерывно и упорно я тебе буду доказывать на деле, что ты подлый раб. Ты хозяин мой, — знаю. Но вот я тебя заставил, и ты уже радостно трепещешь жизнью и светом. И это я тебя заставил. Потому что ты мой хозяин, но я свободен, а ты раб.

Стрекотали о чем-то дрозды в березах, качалась осока на верховьях пруда. Как на проявляемой фотографической пластинке, из всего кругом медленно опять выявлялась жизнь, которую я вчера почувал. И опять ей на встречу радостно забилося сердце. И ощути-

лась важность того, что открывалось.

Тихо звеня, пролетел зеленоватый комар, с пушистыми сяжками. Вчерашний радостно недоумевающий смех охватил душу. И звучало комару из глубины:

— И ты живешь?.. Э, брат, как нас много!

Когда я возвратился домой, завтракали. Воля сидел за манной кашей, около стояла няня Матрена Михайловна.

— Хо-хо-хо!

Воля держал в руке ложку с кашей, поглядывал кругом и бессмысленно-радостно смеялся.

— Воля, чего это ты?

— Хохо!.. Хо-хо-хо!..

Глазенки блестели. И он все смеялся беспричинным, идущим из нутра, заражающим смехом. И все засмеялись, глядя на него.

— Ну, смотрите, дурень какой. Чего смеется?

Сила жизни безудержно вскипала в нем, радуясь на себя и играя.

Где, где эти робко-злые, упрямые глаза, этот ноющий голос? Животик поправился у мальчика. Клизмочки помогли и манные

кашки. И вот переметнулся его маленький Хозяин. Бессмысленной радостью заливаешься тельце, ясным светом зажег глазенки, неузнаваемо перестроил всю душу...

О раб! О подлый, переметчивый раб!

Гнедой жеребец издох. Вечером Степан пошел за ним в сад, а он лежит на боку мертвый.

За ужином работники смеялись и говорили:

— Ну, дедушка Степан, теперь твой черед помирать. Самый ты теперь старый остался.

— А неужто в холщовой рубахе и в гроб ляжешь? Ты бы на это дело ситцевую завел.

Степан тихо, про себя, улыбнулся.

— У меня есть. Сшита. Синяя с крапушками, молодая барыня подарила. Как помру, наказал Алехе в нее одеть.

— А небось ждешь смерти? Ишь старый какой! Болезнь какая, али убьешься, — молодой переможет, а тебе где уж! Сразу свернет.

— Ты, дедушка Степан, вели табачку себе побольше в гроб положить. Да тавлинок. Сломается ай потеряешь — новой там не купишь.

Весь табак растрясешь.

Степан открыл тавлинку, с хитрою улыбкою заглянул в нее, встряхнул.

— Там даду-ут...

— Деньжат с собой захвати, — может, даром-то не дадут... Хо-хо-хо!..

Слава богу, наконец-то! Так, иначе, — но это должно было случиться. И по той радости освобождения, которая вдруг охватила душу, я чувствую, — возврата быть не может. Произошло это вчера, в воскресенье. Мы с Катрою собрались кататься.

Вышли на крыльцо, а шарабана еще не подали. На ступеньке, повязанная ситцевым платочком, сидела мать Катры, Любовь Александровна, а кругом стояли и сидели мужики, бабы. Многие были подвыпивши. Деловые разговоры кончились, и шла просто беседа, добродушная и задушевная.

Бородатый мужик, скрывая усмешку под нависшими усами, спрашивал:

— Ты, барыня, вот что нам объясни. Как это так? Вон ты какая — маленькая, сухонькая, вроде как куличок на болоте. А у тебя две

тысячи десятин. А нас эва сколько, — а земли по полсажени, всю на одном возу можно увезть.

— Отчего? Я тебе прямо скажу, — сила моя.

— Сила? Правильно. Ну, а как сговоримся мы, как пойдем всем российским миром, то сила наша будет. Где ж вам против нас!

Другой мужик прибавил:

— Как наседок, с гнезд сымем.

— А правду, скажи, болтают, — продаешь ты землю?

Любовь Александровна посмеивалась.

— Слыхал, как говорится? Не всякому слуху верь. А дело это мое: захочу — продам, не захочу — не продам.

— Нет, барыня, ты жди, не продавай, — решительно сказал бородатый мужик.

— У тебя тогда спроситься?

— Не позволим тебе. Нам она определёна.

— Вот как!

— Да... Сколько лет на тебя работали, всю ее потом нашим полили.

— Как же это вы мне не позволите?

— Окончательный тогда сделаем тебе конец.

Любовь Александровна засмеялась.

— Убьете? Ну, брат, за это тоже по голове тебя не погладят.

— Знаю. Что ж, на каторгу пойду. А сколько за меня народу положит поклон.

Баба в задних рядах подперла щеку рукою и глубоко вздохнула:

— Да какой еще поклон положишь!

— Э, батюшка! Такие поклоны там не принимаются!.. Они в зачет не идут.

— Ваш бог не зачтет, а наш зачтет.

Катра, потемнев, пристально смотрела на мужика. Она резко спросила:

— Как тебя звать?

— Ай, барышня, не знаешь? — Мужик посмеивался. — Арсентием звать меня, Арсентий Поддугин, потомственный почетный земледелец. Запиши в книжку.

В толпе засмеялись. Любовь Александровна поспешно сказала:

— Погоди, хорошо. Говоришь, пойдете вы на нас всем российским миром. Ну, поделили вы землю нашу. Сколько на душу придется?

— Расчеты нам, барыня, известны. По четыре десятины.

— Нет, погоди! А из города, ты думаешь, на даровую-то землю не налетят? Себе не потребуют? Давать так уж всем давать, почему вам одним?.. А что тогда по России пойдет?

— Э, что ни пойдет! А вас снять нужно первым долгом. Тогда дело увидится.

Мы ехали с Катрой. Противна она мне была. А она смотрела на меня со злым вызовом.

— Эти самые мужики пожгли у нас зимою все стога в Антоновской даче. А мама перед ними пляшет, увивается... У-у, интеллигенты мягкие!.. Вот мне рассказывали: в Екатеринославской губернии молодые помещики образовали летучие дружины. Сгорело что у помещика, — сейчас же загорается и эта деревня.

— Ого!

— Да. Это честно, смело и красиво... Пожимай плечами, иронизируй... «Обездоленные», «страдающие»... Эти самые ушаковцы, которые сейчас с мамой говорили, — вся земля, по их мнению, обязательно должна перейти к ним одним. Как же, ведь ихняя барыня! А соседним деревням они уж от себя собираются перепродавать. Из-за журавля в небе теперь уже у них идут бои с опасовскими и архан-

гельскими. Жадные, наглые кулаки, больше ничего. Разгорелись глаза.

Мы проехали большое торговое село. Девки водили хороводы. У казенки сидели на травке пьяные мужики.

Свернули в боковой переулок. Навстречу шли три парня и пьяными голосами нестройно пели:

*Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...*

Заметив нас, они замолчали. Насмешливо глядя, сняли шапки и поклонились. Я ответил. Мы медленно проехали.

— Ишь, с пици барской, — гладкие какие да румяные! Знай гуляй и в будни и в праздник!

— Сейчас вот в лесок заедут, завалятся под кустик... Эй, барин, хороша у твоей девочки...?

Долетел грязный, похабный вопрос, и все трое нарочно громко засмеялись.

Мы медленно продолжали ехать. Катра — бледная, с горящими глазами — в упор смотрела на меня.

— И ты за меня не заступишься?

— Стрелять в них прикажешь?

— Да! Стрелять!

Я растерянно усмехнулся и пожал плечами. Сзади доносилось:

Голодай, чтобы они пировали...

— Ну, хорошо!.. — Она с ненавистью и грозным ожиданием все смотрела на меня. — А если бы они остановили нас, стащили меня с шарабана, стали насиловать? Тогда что бы ты делал?

— Не знаю я... Катра, довольно об этом.

— Тоже нашел бы вполне естественным?

Ну конечно! Законная ненависть к барам, дикость, в которой мы же виноваты... У-у, доктринер! Обкусок поганый!.. Я не хочу с тобой ехать, слезай!

— Тпру!

Я остановил лошадь, передал вожжи Катре и сошел с шарабана.

— До свидания, — сказал я.

— Не до свидания, а прощайте!

Она хлестнула лошадь вожжей и быстро покатила.

Покос кипит. На большом лугу косят щепотьевские мужики, из Песочных Вершинок возят сено наши, сеяновские. За садом сегодня сметали четыре стога.

Подъезжали скрипящие возы. Федор Федорович сидел в тенечке на складном стуле и записывал имена подъезжавших мужиков. Около стоял десятский Капитон — высокий, с выступающими под рубахой лопатками. Плутовато смеясь глазами, он говорил Федору Федоровичу тоном, каким говорят с малыми ребятами:

— Пишите в книжку себе: Иван Колесов, в третий раз.

— Погоди, любезный! А где же во второй было?

— Второй воз он уж, значит, склал, у вас прописано... Лизар Пененков. Алексей Косаев...

Федор Федорович подозрительно оглядывал возы, но ничего не видел близорукими глазами. Постепенно он все больше входил во вкус записывания, все реже глядел кругом и только старательно писал, что ему выкрики-

вал в ухо Капитон. Ждавший очереди Гаврила Мохначев с угрюмым любопытством смотрел через плечо Федора Федоровича на его письменные упражнения.

— Пишите теперь в книжку, — Петр Караваев, в четвертый раз.

— Где же он? Петр Караваев!

— А он, значит, сейчас подъедет... Вон он, воз, под яром!

Федор Федорович строго сказал:

— Так, брат, нельзя. Когда приедет, тогда нужно записывать.

Капитон смеялся глазами.

— Так, так!.. Понимаю-с!.. Когда, значит, приедет, вы в книжку и запишете его.

Кипела работа. Охапки сена обвисали на длинных вилах, дрожа, плыли вверх и, вдруг растрепавшись, летели на стог. Пахло сеном, человеческим и конским потом. От крепко сокращавшихся мускулов бодрящею силою насыщался воздух, и весело было. И раздражительное пренебрежение будил сидевший с тетрадкою Федор Федорович — бездеятельный, с жирною, сутулою спиною.

Авторитетным тоном, щеголяя знанием

нужных слов, он делал замечания:

— Послушай, Тимофей! Вы рано стог начали заklubничивать.

— Рано! И то еле вилами достанешь!

— Есть вилы длинные.

— И то не короткими подаем... Эй, дядя Степан, принимай!

Солнце садилось. Нежно и сухо все золотилось кругом. Не было хмурых лиц. Светлая, пьяная радость шла от красивой работы. И пьянела голова от запаха сена. Оно завоевало все, — сено на укатанной дороге, сено на ветвях берез, сено в волосах мужчин и на платках баб. Федор Федорович смотрел близорукими глазами и улыбался.

— Сенная вакханалия... Ххе-хе!

Довершили последний стог. Мужики связывали веревки, курили. Дедка Степан очесывал граблями серо-зеленый стог. Старик был бледнее обычного и больше горбился. Глаза скорбно превозмогали усталость, но все-таки, щурясь, радостно светились, глядя, как закат нежно-золотым сиянием возвещал прочное ведро.

Село солнце.

На Большом лугу в таборе щепотьевцев задымились костры. Мы шли с Борей по скошенным рядам. Серые мотыльки мелькающими облаками вздымались перед нами и сзади опять садились на ряды. Жужжали в воздухе рыжие июньские жуки. Легавый Аякс очумело-радостно носился по лугу.

По дороге среди желтеющей ржи яркими красками запестрела толпа девок с граблями. Неслась песня.

Они приближались в пьяно-веселом урагане песен и пляски. Часто и дробно звучал припев:

*В саду мято, рожь не жата.
Некошёная трава!..*

Высокая девка, подпоясанная жгутом из сена, плясала впереди идущей толпы. Склонив голову, со строгим, прекрасным профилем, она вздрагивала плечами, кружилась, при-топтывала. И странно-красивое несоответствие было между ее не улыбавшимся лицом и разудалыми движениями.

Выдвинулась из ало колыхавшейся толпы другая девка, приземистая и скуластая. Широ-

ко улыбаясь, она заплясала рядом с высокою девкою. Они плясали, подталкивали друг друга плечами и кольцом сгибали руки.

*В саду мято, рожь не жата.
Некошёная трава!..*

— Эй, барчуки! Идите к нам!.. Зацелуем!

Румяные женские лица маняще улыбались. Неслись шутливо-бесстыдные призывы. И не было от них противно, хотелось улыбаться в ответ светло и пьяно.

Они прошли мимо. Следом проплыл запах кумача и горячего человеческого тела.

Аякс издалека залаял на толпу. Высокая девка с гиком побежала ему навстречу. Аякс удивленно замолк и с испуганным лаем бросился прочь. Она за ним, по буйным рядам скошенной травы. Аякс убегал и лаял. В толпе девок хохотали.

Вдруг высокая девка бросилась головою в сено и перекувыркнулась. Ноги высоко дрыгнули в воздухе над рядами. Аякс удивленно сел и поднял уши.

— Хо-хо-хо! — загрохотали в таборе мужские голоса.

Боря покраснел и отвернулся.

Темнело. Перепела перекликались в теплой ржи. Громче неслись из росистых лощин дергающие звуки коростелей. В герой, душистой тьме с барского двора шли мужики, выпившие водки.

После ужина я сидел на ступеньках крыльца. Была глубокая ночь. Все спали. Но я не мог. Чистые, светлые струи звенели в душе, свивались и пели, радостно пели все об одном и том же.

Поднялся поздний месяц.

У конюшни чернела телега, фыркала жевавшая лошадь. Щепотьевцы кончили отработку и уехали; Алексей Рытов заехал на двор проститься с отцом, и они заговорились. Большой, плечистый Алексей сидел, понурившись, на чеке телеги и курил. Степан радостно и любовно смотрел на него.

— Эх, Алеха, пора тебе, малый! Поезжай. Ребята вон уж когда уехали. Завтра-то на зорьке вставать тебе, а ночи ноне короткие.

И опять они медленно говорили. Степан трогал руками телегу, гладил лошадь.

— Хорош меринок!.. Его бы, малый, овсе-

цом кормить, — еще бы стал глаже.

— Да... Гнедчик был, — не прохлестнешь! А этот идет все равно что играет... — Алексей устало зевнул и, зевая, кивнул на конюшню. — В конюшне спишь?

— А то где же?

— Вот тут бы тебе спать, на вольном воздухе. Жарко, чай, в конюшне.

— Ну... В конюшне надо спать. Ночью, бывает, заболтают лошади. Крикнешь — стихнут.

Месяц светил из-за лип. За углом дома, в саду, одиноко и тоскующе завыл Аякс.

— А со своим покосом все еще не убрались?

— Нет, не косил еще. Завтра на уборку к нашему барину выезжать.

Степан вздохнул.

— Вот, парень, горе твое, — все девки у тебя. Мальчонка был бы, — вон еще какой, а по нынешнему времени и за такого тридцать рублей дают. А от девок какой прок?.. Тоже про себя скажу, — помру я скоро, Алеха. Ослаб! Намедни вон какое кружение сделалось, — два дня без языка лежал. А нынче на

стогу стоял, вдруг опять в голове пошло, как колеса какие... Не продержусь долго. А еще бы годочка два протянуть, — тебе за моей спиной вот бы как было хорошо!

Алексей молчал.

Дул легкий ветерок. Широким, прочным теплом несло с полей. Степан стоял, свесив руки, и смотрел в теплый сумрак.

— Погодка-то, малый! Погодка! Весь покос теперь простоит. Гляди и рожь захватит.

И как будто что-то неслышно говорил ему этот мягкий сумрак, пропитанный призрачным, все слившим лунным светом. И как будто он радостно прислушивался к этой тайной речи. Подумал, медленно поднес к носу щепоть табаку.

— А что, малый... Ничего там не будет, как помрешь. Вот как жеребец гнедой сдох, — тоже и мы.

Сливалась со светящимся сумраком сторбленная фигурка с дрожащей головою. Кто это? Человек? Или что-то другое, не такое отделенное от всего кругом? Казалось, — вот только пошевелинься, моргни, — и расплывется в лунном свете этот маленький старик;

и уж будет он не отдельно, а везде кругом в воздухе, и благодатною росой тихо опустится на серую от месяца траву.

Уехал Алексей. Степан постоял, поглядел ему вслед и ушел в конюшню.

Аякс за углом все выл. Переставал на минуту, прислушивался, начинал лаять и кончал жалующимся воем.

В доме звякнуло окно, раскрылось. Высунулась всклокоченная голова Федора Федоровича. Хрипло и сердито он крикнул:

— Пошел ты!.. Аякс!

Вой замолк.

— А-аякс!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Аякс в саду вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

За темными окнами засветился огонек. В халате, со свечкою в руках, Федор Федорович вошел в залу. Он раскрыл окно и злобно крикнул в росистую темноту сада:

— Аякс! Пошел!.. Вот я тебя!

Аякс на минуту смолк и завыл снова.

Тускло горела свечка на обеденном столе. Федор Федорович, взлохмаченный и сгорбленный, медленно ходил по темной зале, останавливался у закрытых окон, опять ходил.

Из того светлого, что было во мне, в том светлом, что было кругом, темным жителем чужого мира казался этот человек. Он все ходил, потом сел к столу. Закутался в халат, сгорбился и тоскливо замер под звучащими из мрака напоминаниями о смерти. Видел я его взъерошенного, оторванного от жизни Хозяина, видел, как в одиноком ужасе ворочается он на дне души и ничего, ничего не чувствует вокруг.

Пьянеет голова. Пронизывается все существо крепкою, радостною силою. Все вокруг скрытно светится.

А на берегу речки, в моей лощинке, — там творится и тонко мною воспринимается огромное таинство жизни. Колдовскими чарами полна лощина. Там я ощущаю все каким-то особенным чувством, — о нем не пишут в психологиях, мыслю каким-то особен-

ным способом, — его нет в логиках. И мне не нужны теперь звериные глаза, я не томлюсь тем, что полуоткрывается в них, загадочно маня и скрываясь. Не через глаза я теперь говорю со всем, что кругом. Как будто тело само перестраивается и вырабатывает способность к неведомому людям разговору, без слов и без мыслей, — таинственному, но внятному.

Садилось солнце. Неподвижно стояла на юге синеватая муть, слабо мигали далекие отсветы. Трава в лощине начинала роситься. Мягким теплом томил воздух, и раздражала одежда на теле. Буйными, кипучими ключами била кругом жизнь. Носились птички, жужжали мошки. Травы выставляли свои цветы и запахами, красками звали насекомых. Чувалась чистая, бессознательная душа деревьев и кустов.

Я разделся и с одеждой на руке пошел. Тепло-влажная трава ласкалась ко мне, пахуче обнимала тело, — такое противно-нежное, всему чуждое, забывшее и свет и воздух. Обнимала, звала куда-то. Настойчиво говорила что-то, чего недостойно вместить человеческое слово, чего не понять мозгу, сдавленно-

му костяными покрывками.

На юге росли черно-синие тучи. С трепетом перебегали красноватые взблески. Я выкупался и остался сидеть на берегу.

Все кругом жило сосредоточенно и быстро. Стрекоза торопливыми кругами носилась над гладью речки и хватала мошек. Мошки весело реяли над рекою, ползали, щекоча кожу, по моим голым ногам. И они не думали, что я сейчас могу прихлопнуть их рукою, что сейчас их схватит стрекоза.

Ух, как все жило кругом! Любило, боролось, отдыхало, помогало друг другу, губило друг друга, — и жило, жило, жило!

И захотелось мне вскочить, изумленно засмеяться своему калечеству и, выставляя его на позор, крикнуть человечески-нелепый вопрос:

— Зачем жить?..

Гордым франтом, грудью вперед, летел над осокою комар с тремя длинными ниточками от брюшка. Это, кажется, поденка... Эфемерида! Она живет всего один день и нынче с закатом солнца умрет. Жалкий комар. Всех он ничтожнее и слабее, смерть на носу. А он, тан-

дуя, плывет в воздухе, — такой гордый жизнью, как будто перед ним преклонился мир и вечность.

Розово-желтый закат помутнел. Я шел домой по тропинке среди гибко-живых стен цветущей ржи. Под босыми ногами утоптанная тропинка была гладкая и влажно-теплая, как разомлевшееся от сна человеческое тело.

Не хотелось уходить, я все останавливался. Из ржи тянуло широким теплом, в чаще зеленовато-бледных стеблей непрерывно звучал тонкий звон мошкары. Через голые ноги от теплой земли шла какая-то чистая ласка, и все было близко, близко...

Где был я? Где было что кругом? Повсюду широкими волнами необозримо колебалась огромная, бессознательная жизнь. И из темной глубины моей, где хаос и слепой Хозяин, — я чувствовал, как оттуда во все стороны жадно тянулись щупальца и пили, пили из напиравшей кругом жизни ее торжествующую, несознанную правду.

И как вся жизнь вокруг томилась этою несознанностью! Она тянулась и проникала ко мне, через меня хотела осознать тебя, пол-

зала по раскинутым щупальцам. И чувствовалось, тесны были пути и прерывисты, как завядшие, подгнившие корни. Только малые капли доходили до меня.

Но пусть! И этих капель было довольно.

Хотелось упасть коленями на гладко-теплую землю, и воздеть руки, и в восторге молиться... Кому? Как будто солнечно-горячий и яркий свет хлынул в душу, прорвал окутывавший ее туман... Жизнь! Жизнь!

Сила великая. Сила всесвятая и благая. Все, что пропитывалось ею, освещалось изнутри и возвеличивалось, все начинало трепетать какими-то быстрыми внутренними биениями. Темнел вдали огромный дуб, серел на тропинке пыльный дорожник, высоко в небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал, сколько искал — и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыслями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так неожиданно-понятно. И если бы Алеша понял хоть на миг...

Понял... Что-то больно кольнуло в душу.

Этого понять нельзя. Может понять только просветлевший Хозяин, а он предатель и раб, ему нельзя доверять. И по-обычному я враждебно насторожился. Я искал, — где он, вечный клещ души? Но не было его. Он исчез, слился со мною, слился со всем вокруг. Не было разъединения, не было рабства, — была одна только безмерная радость. Радость понимания, радость освобождения.

Я вышел на дорогу к усадьбе. Там, где была на небе муть, теперь шевелились и быстро росли лохматые тучи. Непрерывно трепетали красноватые взблески, сдержанно рокотал гром.

На краю дороги шевелился под налетевшим ветерком куст полыни. Был он весь покрыт седою пылью, среди желтоватых цветков ползали остренькие черные козявки. Со смехом в душе я остановился, долго смотрел на куст.

— Ты! Сбрось свою бессознательную мудрость. Думай! Ответь, — для чего ты живешь? Осыпает тебя придорожная пыль, ползают по тебе козявки. Сосешь ты соки из земли, лелеешь свою жизнь, — для чего? Подумай, — для

чего?

И сразу обмякла душа куста, как будто смрадом его обвеяло. Стал он жалок и ничтожен. Задумался скорбно, наконец ответил:

— Да, такая жизнь бессмысленна... А вот что, — нужно жить для всех этих других полынных кустов. Прикрывать их от пыли, переманивать на себя вредных козявок...

— Ну, а им что от того, что меньше их будет осыпать пыль и меньше будут точить козявки?

Все шире растекался смрад. Серый, вялый сумрак вставал из земли. Все вокруг — все делалось ничтожным и презренным. Ласточки остановили свой лет в воздухе, растерянно и недоумело трепыхали крылышками.

— Для чего наша жизнь? Ну, будем ловить мошек, выведем птенцов. Осенью лететь за море, потом возвращаться. Опять лепить гнездо, опять выводить птенцов, и так каждый год. А потом — смерть.

И повсюду кругом зашелестело, заныло, зашипело, застонало. Дождевые черви беспокойно выползали из своих ходов, никла колосьями рожь, очумело метались мошки.

— Зачем жизнь?

Нетерпеливо вдруг сверкнул воздух, и гневный негодующий грохот покатился по небу. Бешено рванулся ветер. Черное и грозное быстро мчалось поверху.

Хотелось смеяться, хотелось протягивать руки.

— Не гневись, великая! Я только шутил, — шутил пошлою человеческою шуткою... Жизнь! Жизнь! Не оскорблю я тебя, не вложу в тебя вопросов подгнивающей собственной души. Я далек от тебя, трудно различаю тебя сквозь мутный туман, но я теперь знаю! Я знаю!

Перекатывался гром. Выл сухой ветер, захватывал дыхание, трепал одежду. И вся жизнь вокруг завилась вольным, радостно-пьяным ураганом.

1908

В тупике

*И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел господь со князем скверны,
Они остались — сами по себе.
На бога не восстали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отринуло, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких.
Данте. «Ад», III. 37–42.*

Часть первая

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавя-

цеюся бороною, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня» и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бежал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

Бешено дул февральский норд-ост, потому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

— Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя

стирает белье. Брось рубить, пойдя, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, — холодной только, не горячей! — потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

— Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

— Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

— Да не убежит. Посмотри! — Она развернула перед ним простыню. — Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, — правда, хорошо?

— Ну, хорошо, конечно!

— Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

— Охота класть на это столько сил. Побелее, посерее, — не все равно!

— Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

— Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

— Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтоб вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промыть хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

— Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

— И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные,

размах руки слабый. Расколет полено-другое, — и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

— Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

— Ну, что, достала керосину?

— Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

— Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

— Как чего? Муки, как ты сказала.

— Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. — Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. — Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему

доверить.

— Да что ты? Неужто картофельной? — Иван Ильич сконфузился.

— Как же ты не видел, что картофельная мука?

— Я вижу, белая мука, а какая, — кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

— Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь, сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай, — отвар головок шиповника; пили без сахара. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

— А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

— Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

— Или, помните, калоши студенческие? Тусклые потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом

платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

— Добрый день!

— А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухоньке, спросил:

— Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

— Вы, чай, лучше знаете.

— Откуда же нам знать?

— Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, — в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

— Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша промолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

— Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

— Кто ж их знает... — Она застенчиво улыбнулась и вдруг: — Да все большевики!

— Вот как?

— И папаша большевик, и все наши большевики.

— И вы тоже?

— Ну, да.

— А что такое большевизм?

— Сами знаете.

— Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

— Представляетесь.

— Ну, все-таки, — что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

— Дачи грабить.

— Что?!

— Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

— Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

— Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

— Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

— Почему же именно дачников грабить?

— Они богатые.

— А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать — тридцать тысяч. И все у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

— Нет, мужики не считаются богатыми.

— Да почему же? Вон, у вашего отца — две лошади, две коровы, гуси, свинья, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

— Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые, да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

— Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Советской России?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

— Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

— Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

— И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

— Ну, нечего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

— Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

— Молоко пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

— В город будем возить сметану, творог.

— Ну, и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

— До свиданья вам!

— До свиданья.

Катя протянула печально:

— Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

— Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

— Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

— «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов — и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что

Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила к истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

— Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках.

Катя спросила:

— Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

— Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге!

— Нет, серьезно, — сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

— Три рубля.

Катя ахнула.

— А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

— Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

— Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

— Марфа, Марфа! О многом печешься! — вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но дав-

но уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипя от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую комнату для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

— А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, — знаменитый академик Дмитриевский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он

второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

— Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland! [Привет из России! (нем.)]

Он счищал ледяшки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

— Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

— Садитесь, сейчас самовар подогрею.

— Не надо, мы уж пили.

— Все равно, мне нужен кипяток, отрубите заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

— А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с бриллиантом, свадебный подарок мужа, — пропало сегодня.

— Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

— Да... Так странно! — Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос. — Вы знаете княгиню Андожскую?

— Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

— Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке паровозного котла, все их имущества конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как, — говорит, — можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» — «Боюсь, — говорю, — потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-

таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца — нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, — нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! — испугалась Наталья Сергеевна.

— Может быть, кто другой взял?

— Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтоб напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили, и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

— Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

— Тяжелое происшествие! — поморщился профессор.

— Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула.

ла и, занятая своими заботами, продолжала:

— А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни, он — старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусила губу и стала подкладывать в самовар угля. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессора, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

— Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это — ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

— Это — добровольческая армия!

— Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили,

чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: пароходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

— Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

— Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

— Господи, что это творится в мире! — с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. — Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, — что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

— Охота ему была идти в добровольцы!

— Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабиры какие-то. Объявили призыв, — что же мне, говорит, — скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

— Давно он вам не писал?

— Давно. И все в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

— Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

— Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадною радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он

обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

— Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

— А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел — дольше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в нем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

— Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

— Как дела у вас в армии?

— Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

— Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

— Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое — например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

— И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

— Что это вы, Катя, мастерите?

— Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. — Она надела пальто, повязалась платком. — Хотите посмотреть поросенка моего?

— Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Ма-

ма, мы сейчас.

— Только оденься, холодно.

Ветер шумно проносился сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

— Давайте миску. — Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: — Погоди, дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

— Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

— Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

— Как живу. Я всегда хорошо живу. Может,

надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, — сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, — если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипенье и клокотанье ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся — жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

— Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, — только все надеемся жить... А вот вы это умеете, — из всего извлекать настоящее. Как это редко!

— Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

— Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, — только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, — лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется, — никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки — публицистика «Правды», вместо поэзии — Демьян Бедный, вместо живописи — толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

— Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

— Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская — без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Са-

фо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик, — тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, — в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и луцит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

— Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

— Ничего, пусть холодно.

— Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под

студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы выростали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

— Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

— За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, — прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... — Он взволнованно замолчал. — Я никому не хотел рассказывать, — ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, — сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, — как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

— Это что такое?

— Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

— Вот вы еще чем можете возмущаться! — улыбнулся Дмитрий. — Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, — я бы подмышку подошел ему, — подходит ко мне: «Кто такой?» — Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. — «А-а, — говорит, — ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

— Раненого?

— Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука

мотается, вопль, — понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

— Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

— Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нащупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, — поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. — «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг — «ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнат-

ку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, — череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. — «Господа! Тут еще товарищи!» Я собрал все силы, крикнул: «свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

— И вот теперь, Катя, подумайте...

— Не надо говорить... — Катя блуждала вокруг глазами. — Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

— Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала.

— Нет, другой какой-то звон. Стеклянный, особенный.

— А ведь правда.

— Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

— Пойдем, — сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

— Дмитрий! — Она, задыхаясь, смотрела на него. — Митя! Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

— Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало-прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно, и сверкало под солнцем. Только

в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

— Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

— И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

— Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

— Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, — слава богу, нагляделись на них.

— А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

— Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы — на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о

карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

— Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитриевским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

— А где Дмитрий?

— Дрова колет в сарае, сейчас придет. — Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. — А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

— Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

— Княгиня. Вы знаете, я ей утром пись-

мо-таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, — с огромными, широко открытыми глазами, с не улыбающимся лицом.

— Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

— Кажется, все переглядела.

— Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

— Нет.

— Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

— Ну, так и есть! Вот же оно! У плинтуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

— Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смот-

рела. И говорила облегченно:

— Ну вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! — весело засмеялась она.

— Что вы, княгиня! — всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

— А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

— Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уж не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

— Ну, мама, дров наколот тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

— Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

— Забыл я топор в деревянном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

— Не надо!

— Ну, Катя...

— Вот сколько ты дров наколот!.. Где же топор?

— Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

— Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

— Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, — это что-то такое огромное, — как будто все эти горы вдруг сдвину-

лись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, — это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, улыбающимся для себя тонкими губами.

— Это оригинально.

— Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, — они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы — «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты,

Митя, — скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

— Это, Катя, сложный вопрос.

— Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

— Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, — давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего все равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

— Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

— Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

— Пьянчужка несчастный! Тут тебе не ка-

бак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

— Чего это она?

— Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на берегу сижу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сижу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,

Рюмки гаснут на носу,

Ночью нас никто не встретит,

Мы проспимся на мосту... Ты, говорит, большевик! Нет, говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, — ей-богу, голову тебе проломлю!

— А вы не большевик?

— Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, — неизвестно. Тацит каждый, что по-

пало, — кто плут, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, — очень опохмелиться хочется. «Ишь, — говорят, — какой смирный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали, — как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «кажрый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

— Ах, Капралов, зачем вы пьете!

— Гм! Как пью, — все видят. А как работаю — никто не замечает!

— Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

— Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, —

глазами, улыбкою, открытою шею. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капранов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

— А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, — ее много. А буржуазии — горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

— Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалою грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

— Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

— Екатерина Ивановна, садитесь кофе пить, — позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала, — всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

— До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

— Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? — допрашивала Агапова. — Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

— Сумеем!

Чахоточный адвокат Мириманов, — у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, — покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

— Скоро уж не будет надобности вас защищать.

— Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

— Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. — Он помолчал. — Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идеиные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

— Дай-то бог! — вздохнула Агапова. — Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асей. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии

молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно-скупающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе, — потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно-дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упитительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе-призывен был припев:

Мадам Люлю,
Я вас люблю!

Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно-ластящая красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика и его чахоточный, как будто намеренно-громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом:

— Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

— Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик, Мой смуглый принц с Антильских остро-

ВОВ.

Мой маленький китайский колокольчик,
Изящный, как духи, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно-громким, ни с чем не считающимся голосом:

— Хозяин, эти стекла коротки, — наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

— Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,

Я трагедию жизни претворю в грезе-фарс.

Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на ме-

лодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно-красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

— Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

— Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

— Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

— Что гадость?

— Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг — солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про се-

бя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

— И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

— Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые...

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

— Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

— Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впиалась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

— За что я полюбила тебя? — спросила она, как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно-усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски-беспомощное во всей фигуре, — и горячий, матерински-нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душою, говорил:

— ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

— Что же это такое?

— Как, что такое?

— Вы же ничего не сделали. Как было, так

и есть.

— А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

— Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

— Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

— Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

— Ах-х ты господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

— Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

— Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а вместо того десять подавишь.

— Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплуататоры!

— Ваших мне пятидесяти рублей не нуж-

НО...

Катя прервала отца.

— И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

— Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

— Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, — стоит эта работа пятьдесят рублей?

— Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

— Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

— Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

— Ах, эти интеллигенты наши мяклые! На казнь пойдет — не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, — нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было вволю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немытыми овцами. Стояло десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

— Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай — настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попировать, как следует, всюю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре — вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

— Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброда, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жалованье работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

— Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

— Да. В чем тут дело?

— Я хотел об этом стовориться с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и закупают только то, что нужно им самим.

— И верно! — подтвердила Катя. — Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

— Можно их убеждать. Но отделиться — значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

— Не годится!

— И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления — Белозеров.

— Ах, Белозеров ваш, — воскликнула Катя. — Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему-то всегда все есть, — и мука, и сахар, и ке-

росин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

— По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О.Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

— Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

— Вы при нем поосторожнее. Он — «даро-

вой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О.Златоверховников продолжал рассказывать.

— Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь

мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

— Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

— Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О.Златоверховников сказал веско:

— Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это — Фермопилы, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О.Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

— Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

— То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

— Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревско-

му.

— Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». — Прекрасно! — говорю. — А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

— И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

— Это верно, — подтвердил Заброда.

— Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

— Да. Другие вот уезжают. А нам придется тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

— Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истин-

но народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

— Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

— Какой миллион? — Агапов весело засмеялся про себя. — Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

— Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, — это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

— Та-ак-с!.. И отсюда выходит, — идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ни-

ми, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

— Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забежали недобрые огоньки, профессор искусно за-

мья разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

— Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, — изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, — и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно пригляды-

вающимися исподтишка глазами, — такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: бриллианты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, — они тоже уже назад? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными крестильчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новой, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne* [Долгие рыдания осенних скрипок (франц.)]. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

— Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, — они были едва знакомы, — и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья — запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгинею. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уж не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с включенными

ми волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

— Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади — Иван Ильич, Белозеров и Заброда. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкой сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя вгляделась и удивилась.

— Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

— Дикая орда идет из города.

— Какая дикая орда?

— Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

— Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

— Не понимаешь! погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

— Ну, да.

— Вы-то чего же, красавицы, испугались?

— Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

— Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

— Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

— Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

— Выпить сейчас хорошо, — согласился Белозеров. — Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

— Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! — закричал он. — Вы

дойдите одни до дому, — ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

— Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

— В Петрограде еще запасаю, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что перед отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

— Ловко! — расхохотался Иван Ильич. — Слышишь, хохол? — обратился он к Заброде. — Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! — угрозил он Белозерову пальцем. — Певец ты

божественный, но душа у тебя... по-до-зри-
тельная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за ви-
ном.

Уж несколько опорожненных бутылок сто-
яло на столе. Свет месяца передвинулся с ва-
лика турецкого дивана на паркет. Иван
Ильич говорил. Он рассказывал о бурной сво-
ей молодости, о Желябове и Александре Ми-
хайловне, о Вере Фигнер, об огромном идеа-
листическом подъеме, который тогда был в
революционной интеллигенции.

— И вот теперь все разбито, все затоптано!
Что пред этим прежние поражения! За самы-
ми черными тучами, за самыми слякотными
туманами чувствовалось вечно живое, жар-
кое солнце революции. А теперь замутилось
солнце и гаснет, мы морально разбиты, рево-
люция заплевана, стала прибыльным ре-
меслом хама, сладострастной утехой садиста.
И на это все смотреть, это все видеть — и сто-
ять, сложив руки на груди, и сознавать, что
нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина
и жадно отхлебнул.

— А что они с народом сделали, — с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

— Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху — равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи, — говорю, — сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду»... Молчат, луцат семечки. Кажется, начни кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху вы-

плевать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станowych и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться, — один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, — и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, — и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!

Течешь ты в Каспий, горюшка не зная.

Иван Ильич изумленно поднял голову.

— Что это? Это наша старая волжская пес-

ня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

— С Волги. Не мешайте, — строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!

Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,
А за волной, волной твоей свободной,
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.

Что ж не несешь сынам своим свободы?

Тебе простор, тебе гулять приволье,
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

— Да! И все-таки... Все-таки, — верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, — вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель

наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, — шапку он забыл у Белозерова, — грезил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучащим на весь поселок:

— Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, — кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

— Папа, это я.

— Чего ты тут улеглась?

— Леонид у нас.

— Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

— Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, поведать, отдохнуть.

— Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго каш-

лял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

— Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич, — мрачный, с измятой бородой, — пил чай в молчал.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

— Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

— Ты из Совдепии?

— Да.

— Зачем приехал?

— Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах — ярко-седой

клок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

— Вчера вылупились. Посмотри, какие.

— Прелесть!

— Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

— Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, — стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8 — 10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу че-

ловека. Он видел, с какою открытою усмешкою слушает Леонид, — с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

— Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, — на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

— Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

— И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей

поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

— Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи — очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь задохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол, — и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

— Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

— Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкানে... Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

— Отчего ты хромаешь?

— Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

— А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленька, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

— Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убежавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

— Славная дачка! — В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. — Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

— А вы скоро будете здесь?

— Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

— Встречал ты за это время Веру?

— Встречал много раз. Она в Петрограде

работает, в женотделе. Чудесная работница. — Он насмешливо улыбнулся. — А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

— По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно, — что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

— Ну, что? Как дела у вас? По-старому, — арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

— Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

— А многих нужно?

— Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

— Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

— Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, — да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

— Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, — физически уничтожать?

— Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, — уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

— Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

— Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего — диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы дей-

ствия.

— Но погоди, — сказал Иван Ильич. — Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

— Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

— Но ведь ты говорил — пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

— Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и,

закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

— Предали революцию! — с тоской воскликнул он. — Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

— Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция — не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слыхали про ее великанов, — Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, — вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, — сколько вас?

— Вас много, потому что хамов много.

— Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, — что вы делаете в это великое время? Вы, — я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

— Нет, брат, избавь от этой чести!

— А тогда что же? Кто с вами? И что вы хо-

тите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь, — да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

— Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

— Я уже вам говорил: отдохнуть.

— Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы — и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций, — набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал.

вал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

— А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто, — ты верно знаешь, — всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них, — что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

— Странный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

— Донес бы, значит?

— И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

— Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел.

Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

— До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

— Нет!! — бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун. — Сейчас же вон! Доносчик, палач, — не позволю погнать нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

— Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

— Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней

сжалось сердце.

— Куда ты пойдешь?

— Наших тут везде много, приют найду где угодно. До свидания! — мягко сказал он.

— погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

— Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

— Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупою пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колот поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топоризца. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордою коровы,

косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, — никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, — это было их высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее — пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь — лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

— Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

— Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

— Что?

— «Что»! Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

— «Щегольство»! Катерина Ивановна, посмотрите на меня, — правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

— Здравствуйте! Как живете?

— Плохо, конечно. Вещи распродают, — этим питаюсь. А вы?

— Все вещи распродал. Ворую.

— Распродам — тоже останется воровать.

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные

проволами, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось, — что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Сви-репее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаще поджоги. Безбоязненное уклонения от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку.

Сартановы уж неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили, вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

— Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

— Сколько катушка стоит?

— Сорок рублей.

— Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

— Дай, большевики придут, — сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

— Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

— А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

— Я вам не говорила, что мне желательно.

— Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злобно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

— Послушайте. Марина, не видите, — очередь? Что же вы вперед заходите?

— Мне некогда.

— И мне тоже некогда.

— Подождете. Что вам делать? Мы работа-

ем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

— А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, — «работаем»! Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

— Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары щурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

— А мы нешто плохие?

— Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, — «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, — подай убогому человеку!» Ваше назва-

ние — «файдасыз»[Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют болгар. (Прим. В.Вересаева.)]!.. Дай, большевики придут, — они вам ваши подушки по-растрясут!

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

— Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

— Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской

шинели, сказал:

— Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

— Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, — я не смеюсь над ним, потому что знаю: он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь — ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

— Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

— Ну, вот, видите: все-таки, все-таки люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, — почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошою мужицкою улыбкою.

— Верно. Осатанел народ.

— Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

— Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут — полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девочек за груди хватают, и не могли им ничего сказать, — сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам, — говорят, — след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. «Я, говорит, через нее хлеб кушаю». — «Ну, вот покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старик в город пошли жаловаться, все расписали,

как было. Те опять приехали: «Вы, говорят, жаловались?» — «Мы». Отхлестали нагайками и — ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

— Да это и большевики не хуже!

— Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, — только бы порядок был и покой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

— А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на

высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала по одиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

— Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

— У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, — их ночью убили, раздели догола,

и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшею стеклянною дверью, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентою патронов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

— Скажите, здесь живет профессор Дмитриевский?

— Это я.

— Вам письмо от вашего сына.

— Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

— Благодарю вас, меня товарищи ждут.

— Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

— Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий вошел на

террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

— Вам записочка от Мити, — сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

— Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

— Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

— Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армии больше не существует, расплзлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше

не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

— Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения — и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

— С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

— Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах

и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек — ведь сами говорят: Фермопилы — бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, — он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

— Извините, вы мне позвольте написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

— На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

— Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

— Нет, так бывает.

— Да ведь это же хуже большевиков!

— Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

— Сдавшихся!

— А они не так?

— Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

— Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

— Или вот еще, тот же мужик рассказывал.

У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

— А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего

не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

— Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

— Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

— А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, — заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

— Вы говорите — в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать, — все! И с восторгом! Развалили армию,

отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, — поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

— У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

— Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

— То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

— Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, — поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. — Он показал свои мозолистые руки. — У меня своего — вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

— Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

— Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, — сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

— А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

— Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катей.

— Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! — говорил он. — Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

— Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

— Да.

— Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головой.

— Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

— Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! — Она нервно повела плечами. — Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и попытать будет, и застрелит, если кто уйдет, — все!

Профессор растерянно усмехнулся.

— Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

— Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, — сказала Катя.

Профессор изумился.

— Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

— Попробуюсь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашнею его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, — крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихой любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

— Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

— Нет, именно все скажи, именно все!

— Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, — бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уйди». А когда спрошу: «куда?» — он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активной натурой, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обеим сторонам: «уйдите!» — уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие

волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

— Господин поручик!

— Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

— Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

— Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточенны, серьезны — и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

— «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь,

что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

— Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

— Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде не встретила она ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы поить лошадей. Катя с удивлением и радо-

стью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

— Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

— Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздал лошадей перед корытом. Потом сказал:

— Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

— Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, — по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло — и часто налаживало на откровен-

ность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

— Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил — вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград дают, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки, — думаю, — как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника — до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это — права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

— Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром,

вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке и его вдруг хотят с нее столкнуть.

— Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти — нужно, чтоб руки были так. — Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая. — А у нас — так. — Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

— Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок, — помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они — большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

— Ну, а с кем идти? С кадетами?

— Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто вправду за справедливость и свободу.

— Ну, хорошо. А вы вот: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

— Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкой по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату

прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

— Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко схватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

— Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

— Дикая езда приезжал. Греков порубал.

— За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее

трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, — отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

Было везде тихо, тихо. Как перед грозой, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали — безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, — большевики обстреливают город, другие, — что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было

погромов, что все — достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Аврамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатанной рубахе, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

— Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную ограду, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

— Ну!! Живо!

Иван Ильич негодуяюще смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

— Что это за деревня? — Голос у офицера был взволнованный и решительный.

— Это не деревня, а дачный поселок Ар-
матлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича,
увидел его очки и сразу стал вежлив.

— Скажите, пожалуйста, большая деревня?

— Большая.

— А жители кто?

— Больше болгары.

— Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном
переходе к вежливости и к «вы» только из-за
очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал
тот старый, брезгливо огородившийся от на-
рода мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вме-
сте со своими спутниками медленно двинул-
ся по шоссе к деревне. У поворота они остано-
вились, долго разговаривали, поглядывая
вперед, потом двинулись дальше. Иван
Ильич в колебании смотрел им вслед. Они
скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся
за лопату. Вдруг за холмом затрещали вы-
стрелы, послышалась частая дробь подков по
шоссе. Пригнувшись к шеям лошадей, всад-

ники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

Настало светлое воскресение. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, — без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов — в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра до-

несся восторженный крик: «ура!» Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, — как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось, — все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарывает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, — так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальной действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, — до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри города. Когда настанет их час, — Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покон-

читать дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, — как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете»... И вот они пришли, — пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятакон и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, — как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава, — а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, — козявочки опрокинутся на спину, подожмут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

— Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

— А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

— Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие — свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два два обещались приехать за ответом.

— И вы им верите? — смеялся Иван Ильич. — Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически подерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

— И ты — ты тоже бы пошла?

— Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умилен-

но сказал:

— Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даёте!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

— Ты... ты вправду пойдешь?

— Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сторбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ, за подписью коменданта Седого, объявлял, что, ввиду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками за-

пахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

— Кто там?

Голос их кухарки, — кухня стояла отдельно от дома, — ответил:

— Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

— Ты — купец Агапов?

— Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

— Погодите... Товарищи! В чем дело?

— Конtribusiция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

— Конtribusiция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой

черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

— Ася, что это ты?

— Что вам нужно? — спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелка кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

— Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйста в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

— Обыск нужно сделать.

— Вы чего же ищете?

Солдат подумал.

— Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал — прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

— Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

— Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

— Сымай.

Она сняла и подала.

— Слазь с кровати. Обыск нужно сделать.

Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

— Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

— До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как

солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, — на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

— Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди — командир с револьвером у пояса.

— Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

— Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

— Наши? Какую контрибуцию?

— Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

— Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

— Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

— Кто такие?

— Извините, дал им слово их не называть.

— Все равно, назовете.

— Претензий на них я не имею.

— Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

— Не могу-с!

— Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

— Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний, — высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

— Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

Катя встала с солнцем. Выпустила и покор-

мила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев несознательно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа, — помятая, слезавшаяся, — блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало перед ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбенении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это — «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной

слизи эта сверкающая красота, — и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно-необычайный... Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековой миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, — и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на рукавах. Катя весело спросила:

- Вам чего, господа?
- Оружие есть у вас?
- Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у раковины, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу. Когда солдаты вошли с Ка-

тею, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

— Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

— Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная, — должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

— Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

— Ну, что же! Нету ничего, — обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

— Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано

три пулемета.

— Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

— Садитесь, поьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

— Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячий настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

— Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой, — товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

— А сами вы кто?

— Мы рабочие, из города.

— Отчего же вы такой загорелый?

— В горах уж целый месяц, — на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, организовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борь-

бу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

— Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

— Ну, да!

Иван Ильич спросил:

— А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

— Большевизм, это — за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

— И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии — горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

— Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик — темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

— Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса...

— Ваня! — позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

— Ваня, да что же ты это? Арестуют они тебя, — а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неутомонный!

— Э, ч-черт! — Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

— А вы за кого стоите?

— Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я, не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и

лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

— Вы говорите, вы за рабочих. Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли, — и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

— Отдавайте, не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец — желто-бледный, с черной бородкой — резко спросил:

— А скажите — вот эта дачка, — ваша, собственная?

— Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

— Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

— Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит,

а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев — может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои, — виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

— И все-таки, все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то — хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все — «товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

— Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыль-

цом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих, лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышли Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

— Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская Красная Армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскош-

ных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем съестные припасы и одежду, заставим возратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

— Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуя и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека, — два из них — вот они, третий скрылся, — записавшись вчера вечером в Красную Армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающимся негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

— Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

— Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

— Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

— Вот этот взял у меня со стола золотые часы.

Агапов растерянными горящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не

смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

— А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

— Какой брат?

— Какой-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

— Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

— Ишь ты как! Не имеешь! Ну, а я имею.

Он в кадетах служил офицером.

— Это мы исследуем, — зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

— Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

— Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

— Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! — обратился он к своему отряду. — Наша красная рабоче-крестьянская армия — не белогвардейский сброд, в ней нет места бандиту, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы при-

ятными разными вещицами. Эти люди вчера только вступили в ряды красной армии и первым же их шагом было идти грабить. Больше опозорить красную армию они не могли!

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

— Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

— Как вы, товарищи?

— Расстрел! — пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

— Не надо расстрела. Выпороть довольно...

— Выпороть! — подхватила толпа.

Леонид помолчал.

— Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

— Много!

— Ну, двадцать пять. Больше разговари-

вать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

— Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

— Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

— Ну что, Уляша, большевизм, это — дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, — торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхо-

да на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

— Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... — А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! — обратился он к толпе. — Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую, трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путанно, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

— Товарищи! Вы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, Советы трудя-

щих... Значит, ясно, мы должны организоваться и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно-бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этой тихою, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

Около двух часов дня в автомобиле с крас-

ным флагом по шоссе пронесли матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

— Зачем?

— Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... — Он конфузливо улыбнулся: — из буржуазии. Кто не придет — на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

— Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

— Значит, и пожалуйте.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о. Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то

входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

— Чего это вы нас сюда согнали?

— Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик-болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

— Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

— А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

— Член ревкома, — коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито

спросил:

— Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

— Пойду, еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:

— Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

— Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

— Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

— А-а! — зловеще протянул военный. — Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозеро-

ву. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

— Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А впрочем — для многих может быть и радостную, — поправился он. — Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о. Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

— На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились.

Белозеров объявил:

— Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, — все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Авраамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

— Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

— Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

— Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, — нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

— Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой.

Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

— Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

— Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, — узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

— Что же не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

— Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» — и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

— Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипла и припала к нему.

— Старенькая моя! — умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

— Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихой улыбкою Иван Ильич ответил:

— Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

— Ну, идем! — весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о. Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый

Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головой.

— Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

— Доктор, помогите! — позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

— Скорее, граждане! — торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал

пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

— Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

— Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! — приказал он болгарам.

— Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

— Не ваше дело! Прошу не разговаривать! — взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капранов смотрел, сложив руки на груди.

— Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки, — она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

— Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

— Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, — комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшей губою; сизолицый отставной полковник. Сзади — линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе на откосах в глубокой предрастветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По

набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

— Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сторбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом!

— К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

— Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

— Вы мне позвольте только пальто пере-

дать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли, — как же он там, в окопах...

— А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

— Почему вы ей говорите «ты»?! Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

— А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

— Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

— Но ведь мой муж — советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

— Нельзя, товарищ!

— Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

— Нет, только в окопы пошлют. Вон инструмент раздают... Ничего, пушай поработают в

окопах.

— Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

— «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

— Комендант!.. Сычев!

— Который?

— Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

— Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

— К черту ступай! — Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

— Гнать всех в окопы! Никаких разгово-

ров! — крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим с матовым, холеным лицом, в модном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

— Леонид!

Он удивился.

— Катя! Ты как здесь?

— Папу забрали, гонят на окопные работы.

— Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

— И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник

Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

— Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

— Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

— В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагнул вдоль набережной. Катя побежала за ним.

— В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

— Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благода-

рю тебя.

— Ну, папа... Погоди...

— Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

— Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

— Освободили тебе его, чего же еще?

— А других? А за то, что комендант этот больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

— Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «На

что мне эта рухлядь?»

Часть вторая

В Отделе, народного образования, — сокращенно: «Отнаробраз», — работа была ключом. Профессор Дмитриевский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили, — он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик, не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитриевскому. Официально Дмитриевский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитриевский сде-

лал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что баричи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребяташки. И хорошо было, что Дмитревский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия — это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех

других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

— Ну, что?

— Есть! — отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мягких русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

— Арон Моисеич! — он весь взвивался и, вместо «что?», спрашивал:

— Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизировал только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал обяв-

ления: «предлагается гражданам», — Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не регистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на огромный оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалования по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошные комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

— По душе я всегда был коммунистом.

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была это лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплыванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто

из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалование. Самовары рядком стояли на лавке, — грязно-зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

— Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

— Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

— Объясните мне, пожалуйста, — что же это кругом делается? Всё портят, ломают, зажимают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

— Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

Жизнь катилась, шумя и бурля, — дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она

иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала, — и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

— Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит, — как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят, — злые, острые. И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит — и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложив руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

— Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело, — больной бредит.

Но Катя видела, — в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупною дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним, — труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с при-

кушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел, — глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти, — говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не регистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский, — тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

— Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить, — теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

— Так ведь у меня же, правда, туберкулез легких. Они не возьмут.

— Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

— Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

— Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче-крестьянской власти».

— Мама говорит, — пойти, зарегистрироваться.

— Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские бабышники. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всю душой. Был он бритый, с огромною нижнею челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза, — он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

— Товарищи, можно сесть к вашему столику?

— Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки расспрашивать солдат, — кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос, — высокий и крепкий красавец с веселыми глазами, — рассказывал: он — спартаковец, был арестован немецким командованием за ан-

тимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

— Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая, — в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

— А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем, — а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно, как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каж-

дый бросайся вперед и верь, что и другие бросят. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель ткет паутинку и налаживается, чтоб приникнуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

— А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

— Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу, — и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню, и людей — в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebiata! И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходившем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили пря-

мо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, — полная дама с золотыми зубами, — хотела поставить им простой стол, — они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, — и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, — они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с предрешенным нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе в саду ужин на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колол тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

— А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас

хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, — «я, — говорит, — образованный!» — А кто тебе дал образование? — «Отец». — А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

— Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

— Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

— Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас, — как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете, — никогда даже не поздороуетесь, шапки не снимете.

— А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам нижайшее! Позвольте ручку поцеловать!» — Солдаты на скамейке засмеялись. — Прошло времечко!

— Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

— Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред — от буржуазного элемента. Как ужа вилами, прижать — и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, Антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

— Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

— Что?! — Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю. — Не устроим?! — Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь. — Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

— Конечно, не верю.

— А говорите, тоже социалистка! — Матрос с изумлением оглядел ее. — Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

— Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот как с офицерем было! Попищали они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонями ихними! А то в топку прямо, — пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

— Мы на фронте только в газетах прочли,

что погоны снимают, — не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Сигнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут, — умора!

И другой отозвался, бородатый:

— Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!», «Ваше благородие!», «Рад стараться!». А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст, — в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

— Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать, — к черту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает, да горелую корку жует!

— Вы говорите — труд. А я вот смотрю — меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшед-

ше сверкая глазами.

— Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руку и потащила к костру.

— Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие, и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

— Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в прежнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

— Мы сейчас кровь проливаем.

— «Кровь»... Вы — армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все

только говорят: «Вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «Мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

— Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

— А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

— Штучку эту видите? — Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках. — Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

— И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

— С чего? А они как? Попадись к ним, — тоже разговаривать мало станут.

— И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

— Вы раньше крестьянином были?

— Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

— Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

— Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

— Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший,

вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

— Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиной пас! Понимаешь ты это дело?

— Ну, свиной пас? Что понимать? — пренебрежительно спросил матрос.

— Десять лет свиной пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На, — вымай тесак свой, руби!

— Вот дура! — Матрос растерянно взглянул на него. — Пьян!

— Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа; если не будут внесены к сроку. С гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционной строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на днях только было объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел

объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

— Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете — сгною в подвале!» — Он обратился к Кате: — Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, — откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? — спросил он жену. — Приказчик из универсального магазина Оганджанца и Ко, я его помню, в мануфактурном отделении торговал, — молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слышал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли

милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

— Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

— Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

— Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец,

вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивною нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любви Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

— Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

— Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

— Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

— Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

— Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

— Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

— Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным, размашистым почерком было написано:

«Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

— Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстой, заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее, острое наслаждение. Любовь

Алексеевна подошла.

— Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

— Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

— Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

— Где хотите, доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсултом был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер, — будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

— Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

— Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

— Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо — двое мужчин и две женщины.

— Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса,

властно спросил:

— Кто живет в этой квартире?

— Тут много живет...

— Рабочие или из буржуазии?

— В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я — советская служащая...

— Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любови Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

— Товарищ, что ж вы? — Он повел рукой вокруг. — Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

— Скажите, что это? Обыск?

— Изъятие излишков у буржуазии. Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

— Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на

постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

— Товарищ, а зеркало можно взять?

— Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщины разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

— Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

— Послушайте, вы говорите, — изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

— А где ваш муж?

— Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

— Та-ак... — Мужчина усмехнулся. — Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головой в подушку.

— Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий».

«ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУР- ЖУАЗИЮ»

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и

Комслужбой и разных комиссий при Завкомах. Зал театра „Иллюзион“ был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и эту же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков. Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания. Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, пона-

супились брови, сжались неволью в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро. Члены союза „Всерабис“ сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу „Дубинушку“. Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слилось в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах. Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь бы-

ла за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

— Петь можно? — спросил у меня один рабочий.

— Не стоит, — ответил я.

— Чего бояться, ведь мы же рабочие! — возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

Спартак».

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катей, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

— Все это, конечно, очень хорошо. Но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатей-

шего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы разворачиваем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, — его выбрали заведовать местным отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно-интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дашниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашались платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

— Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатною.

— Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду умирают. А болгары платить могут, они богатые.

— Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

— Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

— Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

— Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

— Но ведь сами же они соглашаются платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

— Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа.

Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

— Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков. У кого детей нет, или учить не желает, — разве согласится платить?

— Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками, ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах: там уже третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно не чищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору.

И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо; кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу — въевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг приборною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, — слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, — да, да, — и слава, привет тем, кто с яростною решительно-

стью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец-солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «до нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А, может быть, — может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, — непознаваемое, глубоко скрытое, — великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней?

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет,
Нам безумец дал Новый Завет, —
Потому что безумец был богом!

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины, — может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел,

который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато-светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там внизу, — какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниетдохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились, — жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше наскакивающий матрос с тесаком, и бритый человек с темно-сладоострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она виде-

да в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одною меркою для себя и с иною меркою — для других. А с высоты, — с высоты, может быть, не так? Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И, может быть даже, — великая, благословенная правда и полное оправдание?

Из верхнего этажа дома Мириманова, — там было две барских квартиры, — вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, — только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

— Куда ж нам выселяться?

— Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, — он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, — ушел с многочисленною семьею к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Ми-риманова.

— Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки, — какая же нибудь нужна законность. Ну, выселили, — предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

— «Революционное правосознание!»

— Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленки рыдала.

— Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

— Записали вас, — чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

— Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

— У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

— Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

— Ничего нельзя сделать. К вам вселят по

ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

— Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

— Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

— Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

— Ну, и идите к нему.

— Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

— Товарищ, куда к нему пройти?

— Что?

— Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

— Ах, господи! Комната ЛЬ 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

— Получили ордер?

— Да.

— Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу.

ду. Катя с Сорокиной вошли в комнату Л 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

— Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

— Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

— В чем дело?

Катя объяснила.

— Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

— Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера

сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

— Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

— В чем же закон?

— В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

— Когда же кончится это хамское царство! Молодой человек вскочил.

— Что вы сказали?! Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

— Не слышали? Так я повторяю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

— Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

— Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Това-

рищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

— Вы не отрицаетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

— Не отрицаюсь и еще раз повторяю.

— Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора — приведенную телушку.

— Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

— Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

— Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

— Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

— Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! — распорядился он.

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

— Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

— Нет.

— Так как же?

— На полу. Что тут есть, — у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

— Что надо?

— Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

— Ну? что такое?

— Скажите, где же мне тут спать? Где пристать?

Солдат изумился.

— Где хочешь.

— Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

— Не полагается.

— Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

— Пошел он к тебе!

— Потрудитесь не говорить мне «ты»! — вскипела Катя.

Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

— Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!

Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб вы-

писывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от напозавших вшей. И мелькало пред глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь, — жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и со-

общили, что они — офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

— А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести... Провела я их в комнату, — вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь — в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, — раньше казалось, навсегда минувшие, — времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странно представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бе-

ло-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбывно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б, — «сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А — к выпуску, либо в камеру В — для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилось сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них — тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

— Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

— Вы родственница товарища Сартанова-Седого?

— Это к делу не относится! — резко оборва-

ла Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

— Бывшее звание ваше?

— Дворянка, — с вызовом ответила Катя. И задышалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

— Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

— Я вовсе не от вопроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хамском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

— И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губа-

ми.

— Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести, — обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

— Я имею сделать заявление.

— Пожалуйста.

— Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

— Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подсудимых, дела их еще не рассмотрены, может быть они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их

морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выявляете мою вину, — а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

— Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезнованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, — все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острила, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она — двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жи-

лицный контролер и взял ее комнату на учет.

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытой улыбкой сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь — фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

— Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

— Обязательно!

— А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

— Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи», оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались

красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии, — Катя его однажды видела у Миримановых, — вполголоса говорил соседу:

— Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

— Мама! Мама! Гляди! Вон — они идут! С флагами.

— Значит, крестный ход ихний.

— Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на

руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющеюся походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:

Да здравствует международная социальная революция!

Да здравствует книга в руках пролетариата!

— В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!

Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!

У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей.

Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,

Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,

Рука с рукой, и мысль одна!

Кто скажет буре: «Стой на месте!»

Чья власть на свете так сильна?

Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

— Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!

У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-кровавым огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает, — как может смотреть так благодушно и радостно?

Опять двинулись. Плакат:

Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми! Дружно на общую работу для счастья трудящихся!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь — площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее на-

строение — и потом вдруг отшатывало: столько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей?

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучащая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, — слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него — светлая, благостная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

— Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!

Катя шла на службу и встретила на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.

— Вот. Читали? О первомайском празднике?

— Нет.

— Прочтите.

В отчете, подписанном «Спартак», заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

«Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадить не прекраснотушной болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!»

Профессор в бешенстве воскликнул:

— Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услышав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

— Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди-ка сюда!

Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром... Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

— Я очень извиняюсь... Значит, я не слышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.

— Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

— А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писаке, — ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

— Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я действительно сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

— Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

— Об этом может быть речь, когда появится опровержение.

Профессор с Катей вышли. Катя воскликнула:

— Не напечатают! Вот увидите!

— Нет, это не может быть.

— Да как же им напечатать? «Не штыком, а просвещением». Когда они именно проповедают, что штыком. — Катя засмеялась. — И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку. Редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось, — времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.

У подъезда «Астории» стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал враспяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

— Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!

Ломовик лениво оглядел ее.

— А тебе что?

— Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте, — выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получают они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

— Съедят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

— Э! — Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил головою, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:

— Nein, es wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!

А у Миримановых происходило что-то

странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо, с пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

— И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?

— Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь, — все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном, — как будто говорил на митинге, — не

для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, — что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце мирмановского сада. И Катя спрашивала:

— Ну, как же, — неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, — и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

— Девайся, куда хочешь, — нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному

приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, — сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

— Пройдешься мимо, — отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, — и пожалуйте, живите трое в пяти комнатах. Значит, — спальня там, детская, столовая, — на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, — ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

— Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, — и вы тоже хотите быть такими же?

— Вселил бы я его в свой подвал, поглядел

бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди, — думаешь, — сломаем вам рога!» Вот и дождались, — сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, — так мы этого не считаем.

— Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

— Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а

они нам — двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно, как к волкам. Чего злобиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчята, которых нужно пожалеть. И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

— Вы сами, значит, коммунист?

— Ну, конечно.

— И много у вас на заводе коммунистов?

— Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющихся. Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку, да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? — Никогда. — Ну, вот, значит, ты и коммунист.

Катя шла по набережной и вдруг встрети-лась — с Зайдбергом, — с начальником жил-отдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно из-вивающимся, большим ртом и с видом побе-дителя. Катя покраснела от ненависти. Он то-же узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

— Эй, ты! — раздался с улицы повелитель-ный окрик. Ехало три всадника на великолеп-ных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.

— Что скажете, товарищи? — отозвался Зайдберг.

— Где тут у вас продовольственный комис-сариат?

— Вот сейчас поедете по переулку наверх,

потом повернете вправо...

— Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

— Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.

Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

— Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

— Но позвольте, товарищи, я вам...

— Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди — пышные черно-красные банты.

Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балко-

на ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

— Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом, и с взволнованным ожиданием глядя на Катю.

— Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы, и опять начинали целоваться.

— Как ты сюда попала?

— Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

— Да, в Наробразе.

— Как я рада!

Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

— Захотят они меня видеть?

— Мама, — конечно. А папа... — Катя печально опустила голову. — Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

— А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?

— Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».

— Ой, в «Астории»!.. Перебирайся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

— Вот хорошо, Катюшка!

— Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

— Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.

— А ты знаешь, что со мною там было? — Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

— Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у «объединенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

— Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задернулись непроницаемою внутренней пленкою.

— Да ведь с этим генералом, может быть,

вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

— Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

— Ну, а по существу-то, — ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

— Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок, — это тоже отдельный эксцесс?

— Нет, это, конечно, нехорошо... Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная, — и это виляние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель, — Катю поразило, какое у Веры рваное белье, — и долго еще тихо разговаривали в темноте.

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди.

Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

— Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, — даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под

суд.

— Ты ему все рассказала?

— Ну да.

— О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

— Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

— Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

— И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

— Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно. — И сухо спросил: — Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литерату я вам выдал.

— Опоздала. Пошла на вокзал напиться, — ужасно хотелось лимонаду! Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у нас везде бестолочь. Воротилась, — поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, зажимаем, и ничего не создаем.

— Вы говорите, вы — жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

— Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все-таки сяду.

Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости груди, и в Храброва шло от нее раздра-

жающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

— А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне... — И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: — Зачем вы так выматываете себя на работе?

— Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

— Ну, да... — Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала: — Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

— Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для — «нас»?

Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:

— Ну, если вам так хочется... «для нас»...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

— Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

— Какая... Люся? Я — Мария Александров-

на.

— Вы — Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот — стали шпионкой.

— Коля? — Она в испуге смотрела на него.

— Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

— Как же я вас не узнала?.. Да, верно: я ихняя шпионка... Послушайте меня.

Она робко огляделась.

— Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

— Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.

— Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы

знаете... Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его — все-таки расстреляли!.. О, если это зерно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

— Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер, — он и в особом отделе, — он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подослал... И я боюсь его, — в ужасе шептала она, — он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона слышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними, — командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.

Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею. Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь: — Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру: — Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литературу, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать, и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

— И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм? Это и для них полезно, — они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

— Да, это я вам хотел сам приказать. Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

— Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится. Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.

— Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

— Конечно. Спец, как спец. Следить нужно. Крогер упрямо возразил:

— Арестовать нужно.

Позднюю ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой норд-ост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметенному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стучались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров взгляделся и

узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

— Товарищ Пищальников, это вы?

— Я, товарищ начальник.

— Чего это вы не спите?

— Не спится что-то. Все о доме думаю.

— Вы разве не добровольно пошли?

— Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

— Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

— Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

— Что вы, товарищ, с ума сошли?

— Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

— Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

— Никак нет... А только вот вам крест, — казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился, — вы не от души им служите,

нехристям этим.

Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:

— Крест у тебя на шее есть?

— Есть.

— Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.

— Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

— Так точно, ваше благородие!

— Хочешь России послужить?

— Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.

— Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитриевский поручил ей кстати ознакомиться с работой местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища

была Израэльсон, а псевдоним — Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали, — что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

— На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

— Что ж он у вас такое говорил?

— Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура.

А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

— Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

— И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

— Интересно, — какого он цеха?

— Иглы.

— Ну, так! Значит, портной. Не мастеров ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем, как раньше.

— Само-собою! Раз не ваш, значит — спекулянт и буржуй!

— Скажите, пожалуйста, чем всего больше

озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.

— Темное, несомненно, — отозвался Горелов и мягко обратился к Кате: — В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темнотой истинно пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

— Ничего! Скоро просветим! — сказал Леонид. — Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

— А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

— Конечно!

— А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

— Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять каме-

ру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяной беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

— Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

— Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненные-перечиненные дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обра-

тился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

— Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи несло сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

— Вот человек — Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цингу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из

мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, — какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочной-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

— Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

— Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

— Войдет в хату, — сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю

отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

— Какие вы близорукие, обыватели российские! — обратился он к Кате. — Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот такие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

— Вот, и при вас шныряют, а вы смирененько смотрите.

— Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

— Он не только про махновцев говорил. Сказал — всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

— Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

— Загнал с пьяных глаз, мерзавец! — с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

— Смотрите, что он делает!

— Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

— Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

— По-ли-ти-чес-кий комис-сар... — Он уставился на Леонида. — Советчик? Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

— Почему?

— Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

— А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

— Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «Бей жидов, спасай Россию!». Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям... — Он озорным взглядом

оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: — Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

— Я тебе показал документ, знаешь, кто я, — чего еще спрашиваешь!

— Молчи!.. — Он замахнулся на Леонида нагайкой. — Кто ты?

Леонид пожал плечами.

— Кто! Ну, коммунист.

— Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

— Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбке.

— Хе-хе!.. Верно!.. А ты, — он уставил на нее палец, — ты жидовка!

— Вот так так! Я двоюродная сестра его!

— Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. — И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

— Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

— Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

— Отойдет. Поворачивай!

— Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

— Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

— Слезай!

Греки слезли.

— Кто такие?

— Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

— Вина не везете?

— Поглядите сами, пустая арба... Можно

ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

— Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

— За кого такое?

— Вот за этих. — Он указал на пассажиров.

— Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, — почему я знаю.

— Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, — на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

— Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

— У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:

— Неужели у тебя нет револьвера?

— Ч-черт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сторбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиною к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

— Ты... — зловеще протянул махновец. — Поди-ка сюда, жидовская харя! — И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «Товарищи, вяжите его!» — и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнались по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, — ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властною, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, — на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, — и всю грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валяющуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, — не поддается.

— Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал

на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, — она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать плотную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

— Бросай! — задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

— А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуж-

дым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

— Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари выростали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

— Махновцы! Удирать! — хрипло сказал Леонид. — Погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

— Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще подъедут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками,

указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

— Бежим! — коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

— Смотри, как хорошо! Ведь это им загорживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

— Ну, только бы по ней взобраться, — тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

— Дурак ты, Леонидка! — отозвалась Катя, — так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колю-

чие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

— Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругатель-

ства.

Леонид спросил шепотом:

— Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

— Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

— Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

— Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомни-

лось. Вспомнился взблеск выстрела перед уса-
тым, широким лицом, животно-оскаленные
желтые зубы — Горелова? или лошади с при-
кушенным языком? Но сразу же потом — ра-
достный свист пуль, упоение бега меж кустов,
гребень горы и скачущие всадники... И такой
позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и
френч Леонида накинут на грудь. По лесу гулко
раздавались еще мужские голоса, трещали
кусты под ногами лошадей. Но уже много
дальше. Иногда, словно удар пастушьего кну-
та, перекатывался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно
начала надевать кофточку.

— Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправлен-
ной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь.
Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнул-
ся.

— Ничего, это бывает. Важно не распус-
каться, когда нужно. По закону, девице пола-
гается хлопаться в обморок в минуту самой
опасности, а мужчине, отбивая удары, взва-
ливать драгоценную ношу на луку седла... А с

тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

— Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

— Приблизительно знаю. Это — ущелье Гур-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача... Пройдем.

Катя быстро встала.

— погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

— Спасибо тебе, Катюрка! Кабы не ты сего-

дня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким, — когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, — исхудалый, нервный, — и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

— Если бы вы были другие! — вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

— Не можем мы быть другими.

— Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос... Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас,

как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

— Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

— Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон. Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!

— Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, — и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам испортили. Милая моя, ведь это же взрыв был, — взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, — но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы

это удержат?

— А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

— Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад, — так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженной любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках, — и разговаривай с ними серьезно!

— Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

— Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

— Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

— Тихо. Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

— Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взломаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять-шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

— Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция — две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый,

молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, — ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, — просто за самих себя, — полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учиываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают, — и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по-человечеству сказать, все — люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же!

А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старою меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

— Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, — само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь, — хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

— Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И

какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возра-

жала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

— Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом, — какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опять стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-прежнему хорошо:

— Помнишь, утром, на площади у вас в Атматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отрядец из рабочих, — горящие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот, — что кругом делается! Грабежи, пьянство, притес-

няют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас — люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их организовать. И, конечно, придется совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего оружейного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

— Погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

— Ну! Ну! — жадно сказала она. — Дальше!

— Ну, вот... — Леонид шел, качая в руке винтовку. — В банкирском особняке, где я сейчас живу, попало мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на сигарки... Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя вздрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

— Ну! Как ты говоришь...

— Как говорю... Да, мы с тобой убили. — Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

— Ну, да.

— А, может быть, его не стоило убивать.

— Мне тоже думается.

— Что он за револьвер взял на Горелова, — так можно было разговорить. С пьяным

русским человеком это легко, только шуточка
вовремя. Не то, что с латышом, например, —
эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты
долгие годы будешь задавать себе вопрос:
«Права ты была? Не права?»... А я... Есть мне
время об этом думать! Какая-то огромная, со-
вершенно бессознательная жизнь в коллек-
тиве. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно!
Важно, что земля трясется, что гнилье ру-
шится, что все, о чем вы говорите: «поосто-
рожнее, да не сразу!» — все летит к черту.
Ведь по всей Европе от нас идут подземные
удары, бьют снизу в просторы летаргической
Азии. Все ворошится, просыпается. Придав-
ленные чувствуют, что все они — одна огром-
ная, братская стихия, что нет никаких разъ-
единяющих Христосов, Будд, Аллахов, нет ка-
ких-то священных Франций, Германий, Ин-
дий, Китаев, что все это обман. Один только
вечный, священный, неразрывный объеди-
нитель — Труд... И думать о каком-то махновце
убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, сня-
тых с барина, о том, что мы рот зажимаем
трусам и предателям, которые все это хотят
остановить. «Поосторожнее, да помирнее, да

чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

— Вот это поселок ваш?

— Да.

— Выбрались. — Леонид опять взял Катю под руку. — Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия — что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется — не хватит сил все это выдержи-

вать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задыхалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

— Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, — и тогда сиянием вас окружит история, и вы яркою, призывною звездю будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия, — всё простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую, закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки, — в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

— Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

— Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

— Что же, в чрезвычайке служит?

— Ах, оставь ты, папа! — раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

— Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

— Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

— Откровенно говорю: не желал бы.

— Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедem в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

— А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

— Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы

проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

— Так нужно начальнику их заявить!

— Он говорит: представьте с поличным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный, — маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости.

Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов, — представь себе, Агапов! — стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила — Гребенкин. Свирепствует вовсю. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился

Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревкома, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

— И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему, — сам ни за что не придет. Сытые, отъевшиеся, — и даже не спросят себя; чем же мы-то живем? А у самих всегда — и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

— Ну, все-таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

— Первый, кажется, случай. Да! Раз еще

как-то фунт брынзы дали... На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплуататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтобы Иван Ильич записался в коммунисты. — «Отчего, — говорит, — не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам»... Сам в новеньком пиджаке и брюках, — реквизировал у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброда, бухгалтер деревенского кооператива, — длинный, с большим кадыком на чахоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сильным голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряже-

ний! Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!

Водянисто-голубые глаза его светились суровой ненавистью.

— Я не могу понять, — что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

— Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное, — но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их — либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо деникинщина, возвращение к старому.

— А теперь уже не воротились к старому? Все, как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним становые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

— Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.

Заброда пренебрежительно оглядел ее.

— Смертные казни, подавление самодея-

тельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масляного продналога.

Он — с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос, — слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенной крупой, не варя ее.

— По-моему, можно. Я просто крупую кормила.

— Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще — купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, атели кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

— Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колют?

— Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной свинье позволят держать каждому, остальных будут отбирать.

— Так вы всех лишних спешите зарезать!

— Ну да!

— Это к лету-то! Кто же летом свиней колет? — Катя засмеялась. — Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.

— Нет. Что же это делают! Кому охота ра-

ботать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, «по твердой цене», и все верно лишнее отдай им. Вино забрали, уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Люди все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

— Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

— Вещи — что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонят их.

Катя хохотала.

— Нет, продажного ничего нету.

— Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала, — ведь вот, вы свинью колете.

— А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы — посмотрите. Хе-хе-хе!

— Вот так — шоссе идет, а так, на горке, ха-

та стоит. В отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит, — огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил, — уж не могу сказать. Поел. Спрашивает: «Кто это там на горке живет?» — Никого нету, пустая хата. — «Как так пустая? Там огонь горел».

Стали мужики вспоминать, — верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали, — не зеленые ли по ночам собираются?

Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один, — борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают, — вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продол-

жении. Один говорит: «Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить». А другой ему: «Подожди, потерпи еще немножко. Может, переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет».

Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая: «Михаил, вылезай!»

А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает, — не к нему. А старичок опять: «Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке».

Нечего делать, вылез.

— Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

И врос он в землю по пояс.

Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали, — не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму.

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею

Аврамиди развевался новенький красный флаг и желтела вывеска! «Рабоче-крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Аврамиди. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

— Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, струменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготавливать вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы — им, они — вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.

— Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства, отдел социального обеспечения, — просто сказать; собес, — отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спущать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрягивать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие элементы, которые за контрреволюцию, то железная

рука пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплеванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было. — его перевезли в клуб. Агапов с семьей ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

— Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

— Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихватчу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

— Вина? Не могу товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

— Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.

— Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

— Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!

— Не могу, — понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

— Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они ушли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

— Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли,

понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

— А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

— Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

— Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.

Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

— Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

— «Пригласи-ить»? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.

Катя удивилась.

— Зачем же насильно заставлять? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

— Спрашивать их еще, — «желаете ли?»

Го-го!

— Двух мало, — заметил Капралов. — Запасную еще наметь, — может, какая больна окажется.

— Больна-а? — Гребенкии грозно нахмурил брови. — Нам тогда скажи. Мигом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

— Да будет тебе! Вот человек! — возмутился Гребенкин. — «Просил», «согласилась»... Обязана идти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

— Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измышательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная

усмешка. Ханов лениво сказал:

— Он озорничает. Что вы его слушаете.

— Ничего не озорничаю. «На всю Россию»... Сколько лет тут живет, — почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов, — осунувшейся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

— У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

— Нет, я к тому... Жарко-с! — Агапов обратился к Ханову. — Получил я повестку от рекома, — завтра идти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

— Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

— Помилуйте, мои годы не те!

— Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет, — до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним. — отчего же вас нельзя?

— Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, извольте видеть, большое.

— Сердце у вас от жиру большое. Моцион вам очень даже будет полезен.

— Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

— Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

— Ерунда! — отрезал Гребенкин. — Знаем мы эти свидетельства! Всякую чухотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра, — в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведовавший нарядом подвод. Агапов

помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

— Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

— Не обойдется, — подтвердил Гребенкин. — Хлеба у всех, сколько угодно. Позакопали в землю и прибедняются.

Ханов примирительно возразил:

— Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

— Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

— Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

— Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов, — никогда его Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.

— Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?

— Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку, — в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекаря Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

— Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал, — хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.

Он спросил:

— Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

— Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

— А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

— Вот уж вы какой большевик стали, Ка-

пралов. А не противно вам это?

— Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках. Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна «Нива» да «Вокруг света».

— Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

— Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Густо валила публика, — деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался. Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство, — Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила прохо-

ды. Лутили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.

Третий звонок. Сопротивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерскою будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.

— Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбо-

родком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше.

Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затаили:

Вставай, проклятьем заклеименный,
Весь мир голодных и рабов!

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

— Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

— Господи, что это! Совсем, как в прежние времена с «Боже, царя храни»!

— Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: «вставай, проклятьем заклеименный».

— Мы не клейменные.

— Как это так, не клейменные? В песнях всегда правильно говорится. Вы — проклятьем заклеянная.

— Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

— ...Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: «Мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!» Ну-ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу-то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто такую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возмись, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учись, иди в библиотеку к нам, книжки читай. Только тогда мы силу возь-

мом, когда станем умные. Правильно сказали великие писатели Шекспир и Михайлов-Шеллер, что сила народа — в его просвещении...

Для чего-то задернули занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею — Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

— Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару, Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой, — в нынешнее-то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и, — Кате показалось, — от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запе-

ла:

Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как будто с грохотом посыпалась с потолка штука-турка, — такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали: «Браво! Браво! Бис!» И когда она вышла раскланяться, — опять: «Браво! Андожская!» И красноармеец какой-то упоенно крикнул: «ур-ра!!!»

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, несшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он наполнил всю залу, и бился о стены, и — могучий, радостный, — как будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня, с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг. Гуриенко-Домашевская говорила:

— Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

— Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

— Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда?

Княгиня повела головою и коротко, с не улыбающимися глазами, вдруг сказала:

— Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником. Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из «Пиковой Дамы».

И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко-Домашевская за роялем.

— Друзья мои! — обращалась она к зрителям, чтобы не говорить слова «товарищи». С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно объясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле, но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей, — это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно-подвижную душу.

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце только-только выглянуло из-за моря и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

— Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь. Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревком-е парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

— Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

— Ну, да. Не весь, а называется — хлебные излишки.

— Платите вы им?

— Конечно, платим. По твердым ценам.

— По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сей-

час две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

— А вы хотите, чтобы мы по спекулятивным ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

— Вовсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд, — что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит сорок рублей. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

— Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

— Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен. А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят, — какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать доб-

ром.

— Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. «С чем, — говорит, — я теперь домой поеду?» И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было! — взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

— Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости! — Желтов начинал сердиться. — Вы тех вините, кто антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а социал-предатели им подпевают и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну-ка, товарищ, скажи, —

землю вам Деникин отдал или нет?

— Землю-то, это, действительно...

— Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам ее отдал? Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать, — наше дело сторона! Вот почему название вам — кулаки!

Ханов оживился и сказал:

— Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя.

Гаштов молчал и бережно похлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

— Мужиков мы жалеем. Временем придется их прижать, да душою мы за них. А вот социал-предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут, — эту всю сволочь надобно уничтожить без разговору. Таким — колено на грудь и нож в живот!

— Вот в том-то и слабость ваша...

— Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров, — в город! Пожалуйте в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко-весело и спокойно-спокойно.

— В этом и слабость ваша. Вместо того, чтоб убеждать, — колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной, — а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйста в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

— Я не о вас.

— Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков? Конечно, нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: «Кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!» Они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

— Детские слова говорите! Миролюбие какое-то! Толкуют же вам, — революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

— Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидят. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

— А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу у

моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста, — он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как красная армия наша кровь проливает на фронте...

— Неужели же это теперь кого-нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари-разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые свои очки и еще раз дернула ее за рукав. Желтов спросил:

— Чего же вам надо?

— Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это единственный раз было, только один! А вооб-

це, — что кругом делается! Раньше одна была белая кость, — дворянин, теперь другая стала, — рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

— Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на грудь!

— И нож в живот, Ханов?

— Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку.

Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

— А все-таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что бы... Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образование, нам трудно с вами. Дай вот, образование отнимем у вас, себе возьмем, — тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в объятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались. Вера сказала:

— Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

— Ну, а ты как? — Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала Веру. — Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно спрашивала про отца. Анна Ивановна опасливо покосилась на открытое окно.

— Ты ведь знаешь, — он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь, — не арестуют его ваши за побег?

— Тут же никто про это не знает.

— Но объясни ты мне, Верочка, — за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

— Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменяют.

Она убежала к себе на службу, — шла какая-то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Разговаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

— А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они — такие разные, разделенные; папа далеко, с непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплатаемых рубашек, дырявые полотенца.

— А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка!

Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и

грустный трепет побежал по телу. К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, вокруг ранки — ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд Катя хотела встать, чтоб проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей-то другой женский голос, незнакомый.

Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучившимися, как два прожектора. И ласково-твердый голос говорил:

— Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.

И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневою мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

— Что это, сон был? Мне казалось вчера, — кто-то нежный и ласковый ухаживал за мною и глаза как вечерние звезды.

— Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова, врач.

— Что за Корсакова?

— Жена нового председателя ревкома... Катюрка, а только как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня Леонид приехал из Эски-Керыма и рассказал про твои подвиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец!

Катя покраснела и засмеялась.

— А что у меня такое?

— Рожа вокруг раны.

Катя прохворала дней шесть. Заходил проведывать профессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каждый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая. Но глаза, когда загорались чудесным своим светом, вдруг освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее неожиданный, вдруг вырывавшийся из глубины груди смех. Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александровна несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

— А случай этот, с махновцем, — сообщила

Надежда Александровна, — внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жида-комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колено, и в конце концов убили выстрелом в рот; улика налицо — на дороге остался труп одного жида-комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

— Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измайся над буржуями, — это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб, и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри вырвавшимся смехом.

— Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну,

где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революционный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

— Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые, — как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление, — шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов, и с ним — военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злоклю-

чениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

— Ну, я рад, что ты жив-здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал. Украдкой подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

— А Боря где?

— На службе у них. В военном комиссариате, что-то делает в регистрационном отделе.

— Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдывающе стала объяснять:

— Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стеклом по голенищу сапога.

— «Трусоват был Ваня бедный»...

— Впрочем, кой-какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

— Это, наконец, скучно! Командир бригады — форменный остолоп; единственное достоинство, — что коммунист; а при отсутствии других достоинств это — недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Недаром солдаты прозвали его «Храбров». И командующий фронтом тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

— Он нас предаст.

— Данные?

— Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

— У нас с вами — сказка про белого бычка!.. На то вы и политком, — наблюдайте за ним.

— Я наблюдаю.

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым. Надежда Александровна встре-

тила ее с ярко засветившимися прожекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

— Вот, Михаил! Девушка, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достояна ордена Красного Знамени.

— Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девушке в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

— Ну-у...

— Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

— Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься, — один интерес.

— Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

— Ну да.

— Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

— Ну-у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

— Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

— Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видите в ревкоме. Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

— Ну, ну... Ваше превосходительство, не сердчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно-смеющимися глазами, с равномерною, пухлою полнотою, какою полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покорило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал, оглядел его и покачал головою.

— До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинга выпускать?

— Чтой-то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

— Идите скорей, кончайте ваши дела.

— Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать.

Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный. — Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как-то мило. Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвинуть самое важное. Это, я заметила, специально — пролетарская черта. Интеллигент возьмется: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы-юристы из сил выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своей «законностью», а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

— Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей положение. С Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома, — ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких-то устоев.

Надежда Александровна враждебно взгля-

нула и спросила с насмешкою:

— Как у вас, интеллигентов?

— А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как-то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах, — менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны, с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все-таки, прочная.

— Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот; именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно — то тебе невкусно за столом, того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

— У старых работников это еще ничего, — школа есть, — сказал он. — А вот у новых, недавних, — черт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков.

А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной власти над людьми...

Надежда Александровна вставила:

— В кровавых боях на фронтах...

— Да, в боях... Но нам не только защищаться, — ах, черт возьми, — нам нужно и создавать. Бои, это — пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает, — не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову — долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

— Смотрите, спит!

Вера шепнула:

— Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

— Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и потрянул головою. Взглянул на часы.

— Пора ехать.

— Куда еще?

— Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

— Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три-четыре. А сердце больное... Ну, а ты, партизан, иди-ка спать! — обратилась она к сыну.

Вера спросила:

— На скрипке он теперь продолжает играть?

— Где там! Со времени революции и в руки не брал.

— А помнишь в ссылке, в Верховленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили, — Engellied [Ангельская песня (нем)]. Имеется в виду «Серенада» Г.Браги.]. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

Покойной ночи, мама!

Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлюпал. И я, — так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

— Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такую красотой, все вдруг станут такие близкие.

— А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, перед его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем.

Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных
Я горячо, как братьев, полюбил!

Прости, господь, что вечное добро
Я не считал бессмысленною сказкой!..

Все замолчали. Вера из глубины души
вдруг сказала:

— Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

— Хорошо!

Катя взволновано заглянула Вере в глаза.

— Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

— Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.

— Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят, — просто повесят.

Катя спросила:

— А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна ответила:

— Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пытливо заглядывала в не смотрящие на нее глаза.

— Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

— В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

— Вот, вы видите с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла камса. Улов небывалый, — а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки, — все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воин-

скими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать, — не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен, — а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговой болтовней! Послушайте-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумажки.

— На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку, — как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно постигнут своею судьбою,

именно потому, что глупцы об этом не думают». Только, — глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это — сознательная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

— Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

— Наступит кто, — еще ногу себе напорет.

Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным, — чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере. Вера рассмеялась.

— Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

— Да, да!

— Это Настасья Петровна наша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел, Вера пошла к ней, убедила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой, — кто бы, — говорит, — стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

— Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы, — сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба... Вот

что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдём?

— Хочу, конечно.

— Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет. Но все-таки посмотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят. Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

— Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

— Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.

— Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было. Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

— Уж не знаю, право, как...

Одна старая работница увещающе сказа-

ла:

— Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?

Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

— Ну, вот так. Говорил, что революция, — это все равно, как ребеночек. Сперва-наперво — так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

— Ишь, хорошо как!

— Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

— Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща. Все ведь нужно совсем по-новому устраивать, никогда

еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

— Бабье собрание?

Вера сказала:

— Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

— Я что ж? Я только послушать.

— Нет, нет, ступайте.

— Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

— Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие, — уж как им прозвание, позабыла, — «предатели», что ли? — они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только

и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

— Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке.

Вера, улыбаясь, сказала:

— Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

— Я сейчас доклад делала.

Как кузнечики, стучали наперебой пишущие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк! Дзинь! Трррр... Тк-тк-тк!

— Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

— Да что вы? И давно пропал?

— Два месяца.

— Почему же вы думаете, что пропал?

— А писем не пишет.

Тк-тк! Тк-тк-тк!..

— Ну, а если вдруг воротится?

— Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

Крутился вихрь, — какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали клочья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезображенных христов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки, скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила коптилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

— По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

— И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

— По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

— Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развод руками.

— Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?» — «Агитировал, и всегда буду агитировать».

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

— Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

— Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплились на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

— Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

— Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

— Катя! Меня спрашивают: «Вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду вилять, уклоняться от ответа? Это ты называешь — не задирать!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по несколько человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

— Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

— Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

— Друзья, друзья! А что же хлеба не поку-

паете? Не забывайтесь! Вот хлеб свежий!

— Сколько-о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

— Спички шведские...

— Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

— Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь. Воротишься, — за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросячьего визга — странная, долгая трель:

— А-а-а-а...

— Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

A-a-ah!.. E strano poter il viso suo veder!

Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...

Di', sei tu? Marguerita! Di', sei tu?..[A-a-ax!..

Странно смотреть на себя!]

Ах!.. Могу взглянуть на себя и любоваться собой...

Ты ли это? Маргарита! Ты ли это?.. (итал.) — фрагмент арии Маргариты из оперы Ш.Гуно «Фауст».

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно-стыдящимися глазами глядя вверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.

Катя съежилась, — не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало,

снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведовала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

— Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько.

Катя ахнула.

— Воронько?! Тот, знаменитый?

— Да.

— Г-господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

— Почему ужас?

— Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!

Надежда Александровна веско и отдельно сказала:

— Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка! — Она засмеялась и обратилась к Вере: — Ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «Начальник Ч.К.Воронько, палач Украины». Если бы увидели его, — хорош палач!

Катя враждебно возразила:

— Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... Ну, скажите мне: сама вы, — такая, какая вы есть, — пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении гля-

дела на Катю.

— Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

— И вы не знаете, — скажите, что, правда, не знаете, — какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

— Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, — уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, — никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось, — бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя

сказала, мрачно глядя в окно:

— Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречу, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая — пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещего понимания жизни. Вторая — люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья — все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить

своею зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

— Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, — это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

— Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики, — неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

— Надежда Александровна, как же это мо-

жет доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

— Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бесплодность, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются стро-

ить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, — все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

— Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин, — ржавеют под дождем, расхищаются.

Частная торговля просачивается через все поры...

Надежда Александровна ядовито возражала:

— Значит, опять разрешить частную торговлю, вернуть фабрики хозяевам?

— Да, что-то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.

— И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

— И даже расстреливать?

— Да, и расстреливать.

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили

проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восемь взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, — странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, — испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе — тупой

ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскравили кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.

Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно попраздничать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.

Голову потупил, сумрачно глядит.

С плеч могучих сняли бархатный кафтан,

Кровь струится тихо из широких ран,

Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки — за один торжествующий удар в душу победителя-вра-

Га.

А еще певал я в домике твоём;
Запивал я песни все твоим вином;
Заедал я чарку хозяйскою едой;
Целовался сладко — да с твоей женой!!.

Где в своей душе берет он все, — этот дрянной человечешко с угодливою, мещански-приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преобразаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, — к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, — самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

— Спойте: «В двенадцать часов по ночам

встает император из гроба».

Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:

— Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четырехугольники окон.

— Пробка перегорела.

— Нет, во всем городе темнота.

— Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.

Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:

— Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!

Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

— «Путешествие русского за границу» — не слышали?

— Нет. Валяйте.

Прежний бас:

— Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

— Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, — бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: «Господин, вы что там? Слезайте!» — «Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!» — «У нас так нельзя, идите в вагон». — «Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К.» — «Да билет-то есть у вас?» — «Вот он, вот он, билет». — «Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, — пулею в уборную и заперся. Стучатся. «Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, — заперто. Пришел кондуктор. «Эй, мейн герр [господин (от нем. mein Herr).]! Вы там долго будете сидеть?» — «До Берлина!» — «До Берлина? Вот странная болезнь!»

Сидевший рядом с Катей господин приснул от смеха.

— Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. — «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок». — «Да пожалуйста в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок». — «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера...»

После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали: Р.С.Ф.С.Р.

(редкий случай феноменального сумасшествия расы)

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:

— Все с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

— И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

— Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

— ...Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, — в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, — и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось

из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:

— Ну, хорошо. Это бы все еще можно, — если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

— Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, — важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способ-

ны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, — нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил — хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

— В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсады, идти через все, не сойти с ума, — и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.

Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

— Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу, — вы идейный, убежденный человек. И вот — вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите, — ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

— Воронько.

Катя отшатнулась.

— Во... Воронько?!

— Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

— Вы думали, — у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно-страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

— Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел, — прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная бородка... Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, потоварищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости, — не было. Не было и «великой тайной грусти».

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна, — что он живет бедняком

и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как, — как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях, — не есть ли она нечто временное, служебное, — совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает, — и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор, — разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «Вы так, — ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слы-

шать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодеяниях. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:
— Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

— Он не освободит.

— Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными. А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

— Нет. Он закоренелый контрреволюцио-

нер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

— От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

— Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой, — я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решенный своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

— Он такой подписки не даст.

— Я знаю. Я ему уж предлагал.

— Товарищ Воронько! — Голос Кати зазвенел. — Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

— Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

— Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

— Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, товарищ Сартанова, все, что могу вам сказать.

И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами.

Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот, — сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя рассеянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.

Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучемерными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «Расстрелять! Расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «Мой муж пропал без вести, — уж два месяца от него нет писем».

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще, — мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И были в них что-то важное, организующее. И

умершее. И чувствовалось, — ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипываяще. Вздогнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

— Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

Надежда Александровна встретила Катю словами:

— Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень. Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

— Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и

никто не знает своих прав, — всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.

— Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

— Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

— Великолепно. На стол! Лорд-мэр дома?

— У себя в кабинете.

— Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук-тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

— Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя, — и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет, — и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила:

— Кто это?

— Губпродком, комиссар продовольствия.

Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит, — никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

— Да, энергичный. Я с ним зимой работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито, — как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

— А зато его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.

— Да... А все-таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходить к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

— Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу, — все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По-видимому, это — две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом, — если нужно, то он может

и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

— Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок и проглотил.

— Что это?

— Глицерофосфат.

— Чтоб умным быть?

— Да.

— Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались, — до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было черно, и поблескивали молнии.

— Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепенулась.

— А что же бы тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода, — погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки — и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

— Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

— Ну, барышня, давайте языками потреп-

лем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслюнявленные словца. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха! Долг народу... Ч-чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!

— И на сочувствие народное?!

— Наплевать!

— И на сочувствие рабочих?

— Если за нами не идут, — наплевать! И их устраним. Заставим идти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из-за того на месте топтаться? Давать им разводить меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придержала бутылку.

— Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все-таки хотите ехать?

— Через две минуты.

— Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

— Никогда не бываю пьян. Когда до грозя-

щей точки, — противно становится вино.

Выпил рюмку.

— Вот, барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему. Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры, — боевики, фронтовики, вот с этим! — Он потряс сжатым кулаком. — Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мяклые, а инженеры американского типа, чтобы умели дело делать, не сантименты разводить. А до профессорских штанов нам нет дела.

— Каких штанов?

— Ну, книг, что ли!

Он встал.

— Еду! — Подошел к буфету, открыл. — Ого! Еще целая бутылка коньяку. Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

Часть третья

Медленно извиваясь, по городу расползались глухие слухи. Замирали на время, приникали к земле — и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду — в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном. Военный комиссар Ворошилов докладывал на съезде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но «идейное кулацкое ядро» кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны, — напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины ника-

кой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

— Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

— И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распространяет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждую руку по десятифунтовой банке, — одну с медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

— Что это у вас?

— Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

— А что вам сказали насчет общего положения дел?

— Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великолепны. Спросили меня: «Кто эти слухи распространяет?». Я ска-

зал про Семенова. «Как фамилия? Семенов? А вот мы его запишем и покорнейше попросим!»

— Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

— А что?

— Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом! Неужели вам не стыдно?

— А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

Ездил Белозеров в Арматлук, — отвезти кой-какие принакопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражденной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков. Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное объявление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... распростра-

нителю злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое объявление. Он был только заведующим подотделом театра в Наробразе.

А слухи в городе становились настойчивее, тревога — ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск и у Мириманова. Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой луч прожектора пытливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитревский волновался и был задумчив. Катя расспрашивала Веру, — что слышно? Вера поспешно отвечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось, — опять на-двигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездою на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и эту ночь не ночевал дома.

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двухэтажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним вечером к железным воротам подкатил автомобиль, из него вышли двое военных и прошли в контору. В темной конторе чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели песни.

Один из военных властным голосом спросил:

— Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

— Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

— Приказ, товарищ, получен вами?

— Получен. Сейчас ведем.

— Вот что. У вас тут есть арестант, подлежавший отправке в Москву. Доктор Сартанов. Нам нужно лично быть убежденными, что он больше... не будет опасен. Распорядитесь, чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

— Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

— Нет, нужно только его. — Он обратился к своему спутнику. — Товарищ Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

— Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел, почему-то прихрамывая. Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденье коротко шепнул шоферу:

— В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

— Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, среди тихого аромата лесных трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

— Стой!

Остановились над лесистым откосом, отгороженным от шоссе рядом столбиков.

— Вы проедете дальше, — там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шепотом сказал на ухо китайцу:

— Я сам. Садись обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покати́л дальше. Внизу, где

мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

Через полчаса после отъезда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину безумный, зверино-предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

Улицы были пустынные. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях висели объявления о вздорных слухах, злобно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился.

Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

— Ну, что, Владимир Иванович, — провокационные слухи?

Белозеров покрутил головой.

— Плохо дело.

— Куда это вы?

— В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

— А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой-каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

— Собственно, что ж я такого делал? — Потом покрутил головою и бледно улыбнулся. —

А ведь, чего доброго, — повесят!

— Ну, не повесят. Споете им из «Жизни за царя»: «Чую правду».

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один насмешливо спросил Белозерова!

— Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

— Да, знаете, — на прежней воздух что-то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

— Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, подбежала к парню с винтовкой и крикнула:

— Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка!

Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

— Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

— Что вам надо?

— Она сейчас пропаганду пуцала. Говори-

ла, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

— Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

— Ты что говорила?

— Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли, что большевики уходят из города.

— Ишь, какая теперь смирная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они вам всем покажут, как нас обижать... Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

— Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

— Что?

— Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

— Что вы говорите?!

— Там уж целая толпа родственников.

— Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате Вера с Настасьей Петровой и татаркою Мурэ жгли в комнате бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

— Вера! Скорей, пойди сюда!

Они вышли в пустую комнату.

— Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:

— Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить — значит освободить. Опять пойдут против нас.

— Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

— Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и

уничтожает всех благородных! И ты, — ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

— Ну, Катя!..

— Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно?

По бледным щекам Веры непроизвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

— Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

— Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

— Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою?

Вера безучастно спросила:

— Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

— Как куда? В Джанкой. Приказ — немедленно эвакуироваться всем ответственным

работникам, ты же знаешь. Воинским частям тоже приказ, — как можно скорее уходить с позиций.

— Да, да... — Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить. — Да. Захватите других товарищей.

— Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

— Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

— Ну, это другое дело. Только не задержитесь. Деникинцы высадились в Трехъякорной бухте и идут наперерез железной дороги. Может быть, уже отрезали нас.

— Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразили ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.

— Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

— Да, это верно.

— Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнскою нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще раз с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

— До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

— Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

— Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крылечком в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

— Нужно спешить, пока месяц не взошел.

Едем.

— Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час вы выступите по маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдем вместе с полками.

— Хорошо, товарищ Храбров, — отозвался начальник штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь. Запад слабо светился зеленоватым светом, и под ним черным казался простор некошеной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за канавкой комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то наскакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

— Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!.. Уродливою массой зачернелась над овра-

гом разбитая снарядом ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пицальникова наскочила сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пицальников выхватил шашку, сжал коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пицальников полоснул его наискось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стремянах, а рядом, нагнувшись, скакал Пицальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:
— Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печать и жестяную коробочку с чернильной подушкой. Засветил карманный электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бумагам. Пицальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

— Ну, вот, Пицальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров

и приезжай назад. Буду ждать там подальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

— Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел в глубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади объедали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь, и доложил:

— Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше.

Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

— Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

— Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга, — вдруг обнялись и крепко поцеловались.

— Едем!.. Погоди.

Храбров снял с околыша пятиконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблучком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

Солнца еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасавший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикая горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

— Это — ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

— Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ. Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка, крутые обрывы скал по бокам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубках розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

— Места знакомые. Помнишь, Гриша, весною из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

— Как не помнить! С голоду там подышали в горах. — Он засмеялся. — Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Роба вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и по-

топал ногами.

— Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

— Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

— Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

— Ишь, св-волочи... Высадку, что ли, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как настигнутые воры, стремглав катились по скатам вверх, бесшумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою. Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились во-

круг убитые и раненые, люди метались, ища прикрития. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

— Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебежали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебежали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

— Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его. — Ура!

— Ур-ра-а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозovým до-

ждем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких-то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали разъезды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки. Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились осво-

бождающею душу радостью. И вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

— Куда ты?

— Ну, куда! К товарищам, конечно. В камениломни.

— Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение Вериного лица: как будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что-то несомненное и бесконечно светлое.

Катя впиалась глазами в лицо Веры, и, задыхаясь, спросила:

— Вера... Мы больше не увидимся?

— Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

— Вера! Прости меня!

— За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

— Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты, — ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года, в пользу доблестной Добровольческой армии в Городском театре дан будет спектакль с участием артиста Государственных театров В.И. БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса «В старые годы» с участием лучших сил труппы и что затем выступит В.И.Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша те-

атра, Бороина-Струйская, с красивым и нервным лицом.

— Читали вы афишу?

— Да.

— Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня — играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: «Хорошо! Не хотите, — ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле»... Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В «Астории» играла музыка. На панели перед рестораном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свежем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

Молодой хорунжий-кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

— Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, адъютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, адъютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то и дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Адъютант писал в большой тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, брас-

летов, часов, серебряных ложек. Входили казаки с красными лицами и клали на стол драгоценности.

— А-а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

— Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?

Мириманов сел.

— Что это у вас тут на столе?

— Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

— Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с адъютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

— Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить-есть?.. Но вы поглядите, какая «организованность»! «Товарищи» бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

— А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

— Да ведь мы не так, как махновцы: те с

пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, среди притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики «караул!» и одиночные ружейные выстрелы.

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики-любители и указывали на «сочувствующих». К Кате забежала фельдшерица Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила, — все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контрразведку. Ротмистр с взлохмаченными

усиками, очень напомилавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

— Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он, — тайный советник! — и связался с этими негодьями!

— Но ведь он заведовал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия, — просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

— Вы, госпожа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету «Красный пролетарий» с отчетом о первомайском празднике.

— Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! «Социализм сумеет насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в

мозолистой руке рабочего».

Наталья Сергеевна побледнела.

— Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

— Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

— Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнуто бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал

несколько других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показания. Расшевелил учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского как европейского ученого, гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан. Бывший городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову. Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

— Нет, извините, — не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

— Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

— Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

Депутация шла по коридору «Европейской гостиницы», занятой управлением командования. Были в депутации председатели учи-

тельского союза, союза деятелей науки и искусств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта.

— Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

— Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании, они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми-кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер. Он вдруг остановился перед молодым казаком-часовым и сказал:

— Здравствуй!

Казак ответил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Не слышу, черт твою мать дери!!!.. Как руки держишь, с-сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

— Здравия желаю, господин есаул!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

— Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, pokrutil голову.

— Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но адъютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся крики, робкий голос что-то отвечал.

Катя опять вызвала адъютанта. Он вышел растерянный.

— Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее. Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

— Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

— Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

— Посмотрите, что они со мной делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые втолкнули его обратно в номер. Катя узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно-грозные выкрики:

— Руки по швам, мерзавец! Большевикам проданся! А еще офицер!

Вышел адъютант.

— Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

— Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутренней дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обще-

стве дамском,

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Навстречу, под руку с офицером в блестящих погонах, шел, весело болтая, певец Белозеров.

На стенах и каменных заборах висели объявления новой власти. Не приказы большевиков — грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увилисто сообщалось о твердом намерении идти навстречу «действительным» нуждам рабочих, о необходимости «справедливого» удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось, — это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать, — и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по

отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

— Нет, бог с ними! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

Загорелый, оживленный и радостный, Дмитрий сидел у Кати, с жадною любовью оглядывал ее и рассказывал:

— В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на коленях, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести — триста человек, а в Украину они вступают в составе по пять, по шесть тысяч. Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены резко антибольшевицки, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

— А не кажется вам, Дмитрий, что вы все

время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

— «Вам»? Катя, ты сказала — «вам»?

Она сказала «вам», но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить «ты».

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, пришел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

— Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спальне своей

лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как ссадили на дороге и как военный повел его под откос в кусты.

— Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: «Дядя, не бойтесь ничего, это я». Вглядываюсь в темноте: «Леонид! Ты?» — «Тише! Идите скорее!». Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль, загудел призывной гудок. — «Не пугайтесь, — говорит, — я сейчас выстрелю. Сейчас посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь». Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

— А с другими что сделали?

— Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя

спросила:

— А что с тобою?

— Не знаю... Сначала думал, — ревматизм. Холодно было в подвале и сыро. Сильнейшие боли в колене, — в одном, потом появились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел, — багровые и желто-голубые пятна на бедрах... Ясное дело, — цинга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает. Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

— Ты что-нибудь ел сегодня?

— Да, да, ел. Старуха Воздвиженская принесла супу.

— Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкаф и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы провололочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Объединенные фруктовые деревья и виноград-

ник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницею, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

...мы старый мир разроем

До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

За поселком, под шоссеиным мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умиловить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Аврамиди. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

— Этакую грязь разводил, — а еще крест носишь!

И стоваривались между собою:

— Всем по двадцать пять шомполов вкати по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанас

сия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал в контрразведку длинный доклад с характеристикой всех дачников и крестьян. Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую. Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панамах, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

— А они, — они опять голые на песке лежат!

В женскую камеру городской тюрьмы, пошвыкивая шпорами, вошли два офицера, за ними — начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку!

— Сартанова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

— Это которая?

— Что по дороге в каменоломни поймана, господин полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

— Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Переве-

сти в камеру номер семь.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

— Там мужчины, господин полковник.

— Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.

Спутники засмеялись.

В тесной камере Л 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрывавшийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-пасталах, — сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

— Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

— Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

— У вас семья есть, дети?

— Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

— Вы, товарищ, коммунистка?

— Да. А вы?

— Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

— Сартанова.

— Сартанова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сартанов фамилия.

Вера быстро спросила:

— Вы из Арматлука?

— Да.

— Где сейчас доктор Сартанов?

— Дома. Его было арестовали, а в последний день, видно, выпустили. Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

— Верно?

— Ну да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

— А вы родственница ему?

— Это отец мой... Ну, да! — Она овладела собой.

— Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна, — тоже хорошая. Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, — сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

— Какие мысли?

Он помолчал.

— Вообще, — насчет жизни... Вот, говорим мы, — чтобы всем хорошо стало. А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, кричат: «Что ты их жалеешь? Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого элементу!» Мужиков всех разобидели, они нас ненавидют. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже, — как бы ее поприжать да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили, — за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

— Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

— Ханов.

— Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите, — это все и мне так близко! Скажите мне, — вы раньше когда-нибудь читали Евангелие?

— Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить было по нем начал. Да как-то у него все это... Не получил я покою.

— Так вот, в Евангелии есть: «кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее». Пришло такое время, что нельзя думать о чистоте своей души, об ее спокойствии. С этим — как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что — лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади — кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

— Как вы это узнали?.. Да, да. Понимаете, — вот, как вы сказали, — в грязи купался!

— Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти через грязь и кровь, хотя

бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили, — иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть, — ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложив руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

— А как скажете, товарищ, — скоро социа-

лизм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

— Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

— Через два месяца будет?

— Ну, не через два... — Вера поглядела на него и улыбнулась. — Через два-три года.

— Это ничего. Столько можно подождать. — Матрос радостно засмеялся. — То-то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

— И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализму. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

— Ну, ты, Капралов, — всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

— Как не выйдет?!

— Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

— За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

— Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили, шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров, — в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения. Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножнами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не подъем и не шутки дивили офицера, — это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или насады не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущеюся из

души, торжествующею радостью, как будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

— Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

— Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклеяменный.

Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

— Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Не долго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

— Пли!!

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он — с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос, — слежавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов!

— Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется

мне и абрикосы поливать.

— Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

— Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.

Катя спросила:

— Вы — мобилизованные?

Парень, с свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

— Ну да, значит, — мобилизованные.

— Воевать едете?

— Нет, не воевать.

— А что же?

Парень помолчал.

— Мир вам привезти.

— Как же это?

— А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флага-

ми и вот так мир вам принесем. — Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. — И будет спокойствие.

— Я не пойму. К большевикам перейдете?

— Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползли на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на теплый песок, — Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

— Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

— Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди — ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, — и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю черт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

— Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загрубевшую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

— Давай умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впиалась глазами в его глаза.

— Убить себя? — Она вскочила. — У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скудость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

— А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

— Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, — ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела, — ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково приникал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом. Вдали

ярко забелела стена дачи, — одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

Исанка

Часть первая

Густой, раскидистый липовый куст нависал с косогора над ключом. Вода в ключе была холодная и прозрачная, темная от тени. Юноши и девушки, смеясь, наполняли кувшины водою. Роняя сверкавшие под солнцем капли, ставили кувшины себе на голову и вереницею поднимались по тропинке вверх.

Все были босы, все были с непокрытыми головами. Золотились под солнцем загорелые руки и ноги, стройные девичьи шеи, юношеские, еще безволосые, груди.

Борька Чертов, прямой под тяжелым кувшином на голове, остановился на краю косогора. Счастливо улыбался, дышал ветром, солнцем и любовался вереницею прямо держащихся полунагих фигур, поднимавшихся снизу среди свежей июньской зелени.

Ах, хорошо!.. У каждого бывают в жизни недели, когда все кругом как будто сговорится любовно обступить человека и давать ему

только радость, только радость, доверху переполнить душу радостью. Так было сейчас с Борькой. Солнце, блеск зелени, ощущение наросших мускулов под загоревшей кожей, горение внимательных девичьих глаз, милые товарищи, общее признание.

Прошли снизу, тоже с кувшинами на головах, приземистый Стенька Верхотин и Таня Комкова. В их глазах был блеск той же самопричинной радости, которая опьяняла Борьку. Стенька, не поворачивая головы, на ходу бросил ему:

— Состязаемся. Бег с полными кувшинами. Новый номер легкой атлетики.

Борька сосредоточенно стоял на месте, опустив руки, и медленно извивался туловищем, стараясь удержать на голове без помощи рук полный жестяной бидон. Из лощины поднимались все новые парни и девчата.

Донесся снизу смех Исанки. На тропинке показалась ее тонкая, сильная фигура, с нагою золотисто-загорелой рукою, поддерживавшею на голове кувшин. Прошла мимо. Борька тоже медленно пошел, балансируя под тяжелым кувшином. И смотрел сзади на

Исанку.

Она шла по дороге, придерживая кувшин на голове, — чудесная античная статуя расцветающей девушки. У большинства девчат шаровары были засучены до верху бедер. У Исанки юбка была до колен. И поразительно было смотреть сзади, как узки у нее щиколки и нижние части голеней; чувствовалось в этом что-то благородное и сильное, как в узких голенях породистых беговых лошадей. Ему вспомнилось и вдруг стало понятным выражение древнеэллинических поэтов: «тонколодыжная дева»... Так вот оно что значит! И он с улыбкою повторял про себя:

— «Тонколодыжная дева»...

Дорога сворачивала от перекрестка вправо, в рожь. Кувшины на головах водоносцев закачались над матовою желтизною ржи. Борька смотрел на далеко растянувшуюся вереницу и радовался.

Это была его идея — носить на голове кувшины с водою. В прошлом году Борька ездил матросом на советском пароходе в Палестину и Египет. Его поразило, как прямо держатся там арабы, особенно женщины: каждая по

стройности похожа на финиковую пальму. Он приглядывался, соображал — и нашел причину. Из колодцев и речек женщины носят в кувшинах воду на голове; и вообще все тяжести там носят больше на голове. При этом мускулы спины должны напрягаться, тело вынуждено держаться совершенно прямо; от постоянного упражнения соответственные мускулы крепнут и привыкают без усилия держать туловище в выпрямленном положении. Потом, в Ленинграде, Борька обратил внимание, как прямо держатся всегда разносчики, — не только, когда лоток у них на голове, а даже когда просто стоят у своего лотка. Разносчика и без лотка сразу можно узнать по тому, как он прямо держится, — и прямою естественною, а не искусственною старою солдатскою «выправкою». Бессмысленно было в светских семьях твердить детям: «tenez vous droits»[40]. Нужно с детства приучать детей носить на голове необременительные для черепа тяжести. Тогда прямота придет сама собою. А важна она не только для красоты. Людям умственного труда она необходима, чтоб не скомкивались легкие.

Борька эту мысль высказал. Стенька Верховтин, великолепный организатор, сейчас же воплотил ее в дело. И каждый день в четыре часа вечера, после «мертвого часа», обитатели студенческого дома отдыха сходились с кувшинами к ясеням у околицы усадьбы, а оттуда шли по дороге через рожь за версту к Грозовым Ключам. Ключи на всю округу славились чистотою и вкусом воды. Завхоз дома отдыха с удовольствием предоставил ребятам кувшины и бидоны, — за ненадобностью, они без дела громоздились в кладовых, — дом отдыха имел великолепную питьевую воду, и не нужно было посылать за нею водовоза.

Возле Исанки шел Можаяев, — щупленький, смешно низенький рядом с нею. Шли еще две дивчины в шароварах, высоко засученных до паха. Опять Борьке бросилось в глаза то, что он давно уже заметил: женские ноги изогнуты в коленях внутрь и при ходьбе почти цепляются друг за друга внутренними выступами коленок. Это было очень некрасиво, и ноги парней казались при сравнении стройными, а их шаг твердым, гармоничным.

Можаев отошел к тем двум девочкам. Борька нагнал Исанку.

— Скажи, Исанка, отчего ты не ходишь в шароварах, как другие?

— Н-не знаю... Мне так больше нравится. Борька посмеивался и ласково глядел на нее.

— В тебе есть бессознательная интуиция, она ведет тебя по верному пути. Посмотри на Зину и Веру: какие у них кривые ноги. Женщины всегда чувствовали, что ноги у них поставлены некрасиво, и везде, всегда окутывали ноги юбками, рубашки носили длиннее мужских... Когда художникам приходилось изображать голое женское тело, они постоянно наталкивались на это женское уродство. И Тинторетто, например, просто выпрямлял своим женским фигурам ноги.

Подошел Можаев, усмехнулся, сказал, вздохнув:

— Энциклопедия!

Но с интересом стал слушать. А Борька восторженно продолжал:

— Эллины... Ах, эллины никогда не фальсифицировали природу, они всегда умели найти точку, с которой природа является кра-

сивой без всякой фальсификации. Посмотри, например: у Венеры Милосской, у Венеры Книдской нижняя часть туловища, начиная с чресел, закутана, и ноги скрыты...

В разговоре Борька продел руку за голую руку Исанки. По руке ее пробежал трепет, и Исанка отдернула руку.

— Чего это ты? — удивился он.

Исанка сконфуженно ответила:

— Я не люблю. — И с интересом сказала: — Ну, дальше!

Он помолчал, ища сбившуюся мысль, и продолжал:

— Самый распространенный тип Венеры — тип *Venus pudica*, Венеры Стыдливой. Такая Венера стоит, чуть наклонившись вперед, одно колено выдвинуто перед другим, — получается очень естественно, и природный недостаток становится незаметным.

Исанка, придерживая рукой кувшин на голове, с интересом слушала. Борьку всегда было интересно слушать. По разнообразию знаний он, правда, был форменная «енциклопедия». Особенно было хорошо, что знания его не лежали в нем мертвым грузом, а все время

крутились, кипели, сцеплялись друг с другом, проверялись наблюдениями, складывались в новое и интересное. И всегда он весь был в том, что говорил. Весь дом отдыха он зарядил своею напряженною умственной жизнью, всех заставлял больше думать и большим интересоваться. Сейчас Борька безоглядно увлекался эллинизмом, изучал греческий язык, уже читал Гомера. Кругом было солнце, зной, красивые молодые тела, постоянные телесные упражнения. И все это становилось ярче, углубленнее и серьезнее, озаренное эллинистическим прожектором Борьки.

На откосе роци, за канавою дороги, водоносы расположились на отдых. Кувшины и бидоны, полные сверкающей водой, рядом стояли на валу канавы, а ребята лежали под березами, сплетшись в одну огромную, живописную кучу. В зеленой тени сверкали золотистые, бронзовые и оливковые тела, яркими цветами пестрели женские косынки и блузки.

— Борька! Исанка! Отдых!

Борька опустил свой бидон на землю, отер потный лоб и весело замешался в общую ку-

чу. Руки переплетались с ногами, у наклонявшихся девчат в вырезах блузок мелькали на миг, обжигая душу, грушевидные груди. Стенька Верхотин лежал головой на коленях Тани, а она, наклонившись, гладила его курчавую голову.

Исанка поставила свой кувшин в ряд с другими и села сбоку, не мешаясь в кучу.

Можаев враждебно спросил:

— Ты почему в сторонке села? Исанка презрительно ответила:

— Тебя не спросила! Жарко!

— Нет, не жарко потому что. Ты всегда держишься в сторонке. Вон, Борька чуть тронул за руку, — «ах, ох, это неприлично!». Мещанка ты, интеллигентка! Нет у тебя настоящей товарищеской простоты.

Вера Горбачова поддержала Можаева:

— Как будто в старорежимные времена в великосветской гостиной... Тургеневская девушка.

Борька расхохотался.

— Товарищи, что это? Мы еще начнем вводить регламенты, как держаться и где садиться! Черт знает! Исанка, будь сама собою и

плюй на всех!

Можаев проворчал:

— Черт с ней, пускай будет сама собой!
Очень мне нужно!

Стенька Верхотин лениво и строго сказал:

— Можаев! Не бузи! Покультурнее нужно
быть.

Поднялись, поставили кувшины на головы, пошли дальше. В такт шагу задекламировали все вместе:

*Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой!
Клячу истории загоним...
Левой! Левой! Левой!*

Можаев с виноватым видом подошел к Исанке.

— Ты не сердись, что я тебя так. Я задеваю тебя, а все-таки очень люблю.

— А мне надо?

Отодвинулась от него и дружески взглянула на подходившего Борьку.

Борька привык первенствовать и привык к жадно слушающим, влюбленным девичьим глазам. Но Исанка становилась ему все желаннее и милее, потому что у нее были гор-

дые и дерзкие глаза, потому что она не позволяла к себе прикасаться.

Он тяжело вздохнул.

— Эх, Исанка! Завтра уезжать, — как не хочется! Я так к тебе привык!

Она из-под руки, придерживавшей кувшин, взглянула, не умея сдержать радости.

Над густолиственными ясенями забелел вдали бельведер дворца. Широкая подъездная аллея. Потом веселая лужайка с цветниками перед террасой. И огромный двухэтажный дворец-красавец — раньше графов Зуевых, теперь — студенческий дом отдыха на сто двадцать человек.

Прошли через лужайку к боковому двору и перед кухнею стали сливать свои кувшины в бочку. Потом на спортплощадку. Большая партия вузовцев, отжившая свой месяц, завтра покидала дом отдыха, на место их приезжали другие. И все спешили последний день наиграться. Спортплощадка была разбита на лужайке перед дворцом.

Футболисты с толстыми икрами и голыми коленками метались по полю, выкатив глаза и по-бычачьи наклонив головы; за проволооч-

ной сеткой мелькали ловкие фигуры теннисистов, вздымались ракетки, и пулями летали мячи. На дороге играли в городки.

К Борьке подбежала Зина Арнаутова и, глядя влюбленными глазами, сказала:

— Борька, мы сейчас в баскетбол собираемся играть. Будь у нас рефери!

Она была в красной физкультурке, с голыми руками и ногами, легкая, тоненькая. Борька молча взял ее за руки ниже запястий и попытался поставить на колени. Она изгибалась, стараясь не поддаться, и смеялась радостно. Раньше, до Исанки, Борька много ходил и говорил с нею, потом отстал, и она тайком следила за ним грустными глазами. Сейчас на душе у Борьки было хорошо и светло, всем хотелось сделать приятное. Он ласково улыбнулся, стараясь изогнуть ей руки. Потом сказал, как будто потеряв надежду:

— Нет, с тобой не справишься!.. Ну, пойдем.

Были две сыгравшиеся за месяц баскетбольные женские команды по пять человек. Завтра многие из них уезжали и сегодня состязались в последний раз.

Борька, с свистком в губах, расхаживал вдоль площадки и зорко следил за играющими. Ах, хорошо! Мяч быстро и плавно перелетал из рук в руки, прыгал по земле, ловко ударяемый ладонью, опять взлетал; крутясь вокруг своей оси, устремлялся дугою к сетке. Плавно изгибались тела, грациозно мелькали нагие руки, как будто живое море ласково плескалось по площадке. Исанка была центровым игроком и капитаном юбочниц: одна партия была в юбках, другая в шароварах. У противной партии в центре играла Зина. И обе они стоили одна другой, — две олицетворенные волны, — легкие, подвижные, гибкие. Борька любовался обеими, когда, вводя мяч в игру, он подбрасывал его, а они, близко стоя с заложенной за спину рукой, готовились к прыжку.

Захватывала слаженность игроков, красота строго организованных движений, грация тел. Но еще больше Борьку восхищала общая дисциплинированность. Всякое слово судьи принималось играющими, как неоспоримое слово рока, — а Борька был судья очень строгий, почти придирачивый; ни одним словом

не перекидывались играющие, только, когда нужно, — призывный хлопок в ладоши; не касались друг друга, не толкались, не задерживали мяча; каждая бегала, как будто одна была на площадке, и мяч летал без остановки, как будто живой. Вот где обучение культуры и дисциплине.

Через двадцать минут Борька объявил перерыв. Уселись на длинной скамейке около площадки. Солнце садилось, дворец под его светом сиял своим огромным белым фасадом, вдали зеленую полянку обступали огромные, тихие дубы парка. И кипела молодая, здоровая, радостная жизнь, набираясь сил на работу и будущее. Представилось, как было тут раньше: вяло и скучающе бродили среди этой красоты вырождающиеся, изнеженные люди, не умея вложить в жизнь ни поэзии, ни страсти. И были эти бездельные люди владельцами всех богатств вокруг за то, что предок их услаждал своим офицерским телом ночи развратной старушки-императрицы. И вот — «священная собственность»!.. Хе!

Борька был сын мелкого, разорившегося помещика, но революцию любил. Потерял он

от нее немного, а в себя верил крепко, верил, что сам сумеет проложить себе в жизнь дорогу. Любил он революцию за то, что она все сдвинула со своих мест, что открывала головокругительные возможности к творчеству нового.

Опять играли. Колокол зазвонил к ужину. Исанка пошла ужинать к себе. Она жила не в доме отдыха. Ее дядя был помощником завхоза дома отдыха, она жила лето у него. Занимал он флигель за прудом. Борька сказал:

— Я тебя провожу.

— А вам ужинать.

— Ну, опоздаю. Без ужина. Неважно.

Пошли ясеновой аллеей к плотине пруда. Исанка сказала:

— А знаешь, я уже чувствую, как отзывается на спине наше ношение кувшинов. Легко и приятно идти прямо, как будто посторонняя сила поддерживает.

— Да? Вот видишь!.. — Борька заговорил с воодушевлением: — Это лето для меня какое-то совсем особенное. Как будто у меня только что раскрылись глаза на человеческое тело, как оно может быть прекрасно, как важ-

но, чтоб оно было здорово и прекрасно, и как мало мы об этом думаем. И каждый день меня на этот счет озаряют гениальнейшие идеи. Сегодня, например... Скажи, ты любишь смотреться в зеркало?

— В зеркало?.. Как сказать...

— Ну, ясно, конечно, — не знаешь, как сказать. Ты хорошенькая, конечно, смотришься в зеркало, но как это сказать!.. А нужно твердо знать вот что: человек должен постоянно смотреться в зеркало. Если он будет видеть свое тело, — ему захочется, чтоб оно стало красивее, мускулистее, здоровее. И лицо свое нужно видеть почаще, чтоб оно было светлое, с ясными глазами, чтобы не было брызгливых складок в губах. Тело так же действует на душу, как душа на тело. Если будешь ходить прямо, то и поникшая душа выпрямится; если стонишь угрюмость с губ, она сойдет и с души.

Свернули около плотины на тропинку, перешли через пролом в кирпичной ограде, обросшей крапивою.

— Ну, не прощаюсь. После ужина приходи во дворец, смотри. Придешь?

— Ага.

Исанка пошла по тропинке к дому, а Борька повернул назад. Он медленно шел ясеневой аллеей. Солнце уже село. На западе столбами стояли странные облака — теплого, жемчужно-серого цвета. Как будто из-за горизонта тихо вынеслись огромные фонтаны, и замерли в воздухе, и царили над всею землею. Борьку поразило, какая тишина кругом. Он остановился. За канавкою слабо дышала цветущая рожь и как будто прислушивалась к чему-то, сдерживая дыхание. Так было тихо, что когда незаметный ветерок вдруг закачал над головою ветку ясеня, показалось, что и ветка живая и шепот листвы самостоятельный.

Борька стоял, прислонившись плечом к стволу ясеня. Все больше охватывала душу эта колдовская тишина. Он произнес вполголоса:

Есть некий час всемирного молчанья...

Еще страннее и таинственнее стала тишина от этих таинственных слов... Как там даль-

ше? Что-то еще более таинственное и вещее. Как будто не просто стихи, а дряхлая сивилла медленно шепчет малопонятные, не из этого мира идущие слова. И на остром ее подбородке — жесткие, седые волоски. Но как же там дальше?

Ах, как хорошо! Как хорошо! Вся радость, весь свет и счастье, которые Борька впитал в себя в этот сверкающий месяц, вдруг разом заполнили душу. И вся она трепетала от ощущения нарастающего, приближающегося какого-то блаженства, которому нет и не будет имени.

Есть некий час всемирного молчанья...

Ну, как же там дальше?.. Среди тихой теплыни чуть слышно звенела мошкара в ржи. За бугром, в невидимой деревне, изредка лаяла собака. Вдруг оттуда донесся закатистый детский смех, — совсем маленький ребенок радостно смеялся, заливался тонким колокольчиком. Звуки отчетливо доходили по заре. Борька светло улыбался. И еще раз ребенок залился смехом. И еще. И прекратилось.

Борька ждал долго, но уж не было: видно, перестали смешить или унесли в избу. Стало опять тихо.

Есть некий час всемирного молчанья...

И вдруг в памяти медленно, уверенно выплыло дальше:

*И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище
небес...*

По дороге от деревни, держась за руку, шли Стенька Верхотин и Таня. Какие славные ребята: и тут, на отдыхе, не бросают общественной работы. Он помогал в деревне организовать комсомольскую ячейку, она развернула широкую работу в женотделе. И как хорошо идут, держась за руку, — какая хорошая товарищеская пара!

Подожли. Пошли все вместе ко дворцу. Борька сказал:

— Ну, Стенька, Танька! Может, никогда больше не увидимся. Вы в Москву, а я в Ленинград... Хорошо месяц прожили, правда?

Стенька широко улыбался скуластым, бритым лицом.

— Ясно. И знаешь? Ты мне много дал за этот месяц. Сначала меня возмущали все эти твои эллинские утонченности, постоянные твои разговоры о теле, здоровье, красоте. А потом я убедился, что настоящая физкультура именно требует такого опозитизирования и углубления и что греки в этом деле были не дураки.

— Други мои милые. Ой, не дураки они были! Борька крепко обнял за шею Стеньку и Таню, и так, обнявшись втроем, они подошли ко дворцу.

Отужинали. В огромные окна дворца глядела звездная ночь. В белом зале с ненатертым паркетом играли на рояли, танцевали, декламировали, пели. В темно-вишневой гостиной, со старинными картинами в тяжелых золотых рамах, на всех столах и столиках играли в шахматы и шашки.

Исанка вошла в гостиную и сразу нашла глазами Борьку, — по высокому его росту, по крепкому, мужественному голосу и по тому,

что глаза всех окружающих загорались оживлением и мыслью. Васька Шилин, лучший шахматный игрок, с насмешкой спрашивал:

— Контрреволюционная игра?

— Да, контрреволюционная. Так же, как футбол. Футбол и шахматную игру должны бы насаждать в рабочем классе только фашисты, чтобы отучать рабочих думать над серьезными вопросами.

Можаев из-за шахматной доски враждебно возразил:

— Шахматы как раз приучают думать.

Борька с издевательской насмешкой доказывал, что из культурных способов отвлечения людей от серьезных умственных запросов два самые верные и незаметные — футбол и шахматы. Футбол — для людей со слабою умственностью: вся кровь уходит в ножные мышцы, и для мозга ничего не остается. Шахматы — для людей помозговитее. Вот, поглядите кругом, не было бы шахмат, — один бы книжку читал или газету, другой, кто умом устал, — гулял бы, занимался бы здоровым спортом.

— Э, дурак! Сам Ленин играл в шахматы.

— Возражение! Атлету играть десятифунтовыми гирями — один отдых, а нам, брат, с тобою это — работа, да еще какая!

Стенька слушал с довольной улыбкой, другие сердились и яро возражали, но Борька всех побивал. Исанка давно заметила, — он везде искал спора, чтобы упражняться в диалектике, изучать психологию спорящих и — наслаждаться своим превосходством.

Борька увидел Исанку, кончил спорить, подошел к ней.

— В духоте какой сидят. Пойдем, пройдемся. Вышли на террасу, спустились в парк. Он хотел взять ее за руку, но она осторожно высвободила ее и с удивлением спросила:

— Неужели ты это серьезно про шахматы?

— Немножко бузил, конечно, но в общем настаиваю. Про самого себя скажу: когда голова работает, лучше почитаю в чуждой мне области или беллетристику. А не работает, — отдохну поумнее, чем тратить мозговой фосфор на передвижение куколок по квадратам.

Они шли над Окой, на горе сиял окнами обоих этажей дворец, а вверху шевелились

густые звезды.

Борька спросил:

— Ну-ка, Лебеда найдешь?

— Ну, конечно. Вот он, в Млечном Пути.

— Покажу тебе еще на прощанье Козерога, — январский знак Зодиака. Эти три звезды Орла ты знаешь. От них проведи линию вниз. Дай-ка руку... Вот так три звезды Орла. Ниже идет, как продолжение, линия мелких звезд...

Он в темноте отмечал расположение звезд, надавливая пальцем на ее ладонь и предплечье, и радовался, что она не отнимает руки.

Долго бродили по парку. Исанка сказала:

— Мне пора. Неловко, — все лягут спать, придется стучаться, будить.

Он проводил ее до их флигеля. В окнах везде уже было темно. Окно Исанкиной комнаты выходило в сад и было открыто.

— Ну, прощай!

И протянула Борьке руку. Борька обеими руками сжимал ее руку и смотрел ожидающими глазами.

— Ну... прощай!

Исанка подтянулась на руках, вскочила на подоконник и прыгнула в комнату. Зажегся

огонь и осветил комнату изнутри.

Борька вполголоса позвал из чащи сирени:

— Исанка! Смотри-ка: взошел Юпитер. Она высунулась.

— Где?

— От тебя, должно быть, еще виднее. Сейчас покажу. Вскочил на подоконник, сел.

— Нет, тут угол сарая мешает. Вот сюда подайся, вправо. В созвездии Водолея. Видишь?

— Ага!.. Ах, красота! Замолчали, любуясь. Борька сказал:

— Юпитер еще в полужидком состоянии, в его теплых и неглубоких морях только-только начинает зарождаться органическая жизнь.

— А ты знаешь... — Исанка мечтательно глядела на звезду. — Знаешь, в прошлом году я пережила душою это рождение живой материи из косной природы. Так было удивительно! Я была с экскурсией в Крыму. Раз я ушла одна далеко от всех, над морем между скал нашла себе местечко, разделась, лежу на солнце. Серые скалы, небо темно-синее, море бьет ровными, ритмическими ударами. И постепенно я перестала чувствовать себя как

что-то отдельное, странно было подумать, что я сюда откуда-то сейчас пришла. Казалось, я давно уже, с незапамятных времен, лежу здесь, как эти серые камни, под ровные удары волн. Где море, где камни, где я? Мне казалось, я даже не могу шевельнуться по своей воле, а вот, если подхватят волны или ветер, то сладко закачаюсь и поплыву куда-то, — и совсем не мое дело куда. И вдруг...

Голос ее задрожал взволнованно.

— Вдруг из-за скалы вылетела чайка. Белая, яркая, быстрая, с живым, своим полетом, совсем другим, чем ровные движения волн. Что-то странное случилось, я не могу передать. Теперь это? Миллионы лет назад? Но я вдруг почувствовала, что чайка эта вот сейчас только там за скалою родилась из всего мертвого, что было кругом, — из влаги моря, из прибрежного ила, из солнечного блеска. Родилась живая, свободная, сбросила с себя косность — и полетела, как хочет, куда хочет, вкось, вверх, вниз, наперерез ветру и волнам. Как будто миллионы лет эволюции слились в один миг. Я вскочила, взмахнула руками, — почувствовала тоже, что и я, и я — я не ка-

мень, не волна, что я свободная, как эта чайка, — свободная, ничем не связанная, с живым, своим полетом!.. Удивительное было ЯНЯРНяние, — как будто бы только что я совсем по-особенному родилась на свет.

Борька изумленно воскликнул:

— Исанка! Да как же это у тебя интересно!

Она поморщилась и сказала:

— Потише! Услышат... И вообще, — прощай!

— Слушай, ведь, оказывается, никому ты своим приходом не помешала, окно открыто, — пойдем, еще погуляем.

Она поспешно и резко ответила:

— Нет!

— Почему же?

— Ну... Не хочу больше...

— Ладно, тогда прощай. Я буду в Ленинграде, ты в Москве. Если напишу тебе, Исанка, — ответишь?

— Ясно, — отвечу.

— А завтра, когда автомобиль подадут, придешь нас проводить?

— Ну, приду же!

Борька пристально поглядел ей в глаза,

вздыхнул и медленно сказал:

— Прощай.

И спрыгнул с подоконника в кусты.

Пошел бродить по парку. В душе была обида и любовь, и пело слово: «Исанка!» В парке стояла теплынь, пахло сосною. Всюду на скамейках и под деревьями слышались мужские шепоты, сдержанный девичий смех. На скамеечке над рекою, тесно прижавшись друг к другу, сидели Стенька Верхотин и Таня.

Хотелось быть совсем одному. Борька ушел в глубину парка, где начинались обрывы над Окою, поросшие березою и дубом. На откосе, меж дубовых кустов, была полянка, вниз от нее, по склону, рос донник: высокая, кустистая трава с мелкими желтыми цветочками, с целомудренным полевым запахом. Сзади поднимался над поляной огромный дуб. Борька сел. Тишина все такая же удивительная. Внизу, в чаще обрыва, отчетливо был слышен шелестящий по сухим прошлогодним листьям осторожный шаг крадущегося барсука. На душе было необычно чисто и светло, и тесно было в груди от радости, которая переполняла ее.

Борька лег на спину, закинул руки за затылок и смотрел вверх. Звезды тихо шарили своими лучиками в синей темноте неба, все выше поднимался уверенно сиявший Юпитер, и девически-застенчивым запахом дышал чуть шевелившийся донник. Борька заснул.

Когда проснулся, — уже светало. Теплый пар курился над поверхностью Оки, вдали темнели выбегавшие в реку мысы. Небо было зеленоватое, и все кругом ясно было видно в необычном ровном полусвете без теней. Борька вскочил на ноги. И сейчас же в душе опять запело: «Исанка!»

Он пошел к парникам. Крадучись, чтоб не увидал садовник, нарезал в розариуме огромный букет роз. Черные, пунцовые, розовые, телесные, белые. Обрызганные росой. С прохладным запахом. Окно Исанки, наверно, осталось открытым. Он бросит ей в окно прощальный букет.

Перебрался через пролом в кирпичной ограде. Вдали, в окне Исанки, что-то белело. Он удивленно вглядывался, подошел ближе. У окна сидела Исанка.

Борька осторожно шепнул из кустов:

— Исанка!

Она вздрогнула, вдруг встала во весь рост и с широко открытыми глазами протянула руки вперед.

— Борька!

Он вскочил на подоконник, уронив букет; они схватили друг друга в объятия и крепко припали к губам.

— Я ждала, что ты придешь! Ты должен был прийти! — Она оторвала от него свое бледное лицо, глубоко заглянула в глаза. — Только отчего так долго?

— Ты... ты с тех пор ждала?

— Ну да!

Крепко обняв, он целовал ее в губы, в щеки, в глаза и со стыдом думал:

«А я-то... спал там, на полянке. Вот дерево!»

Они вылезли в окошко, ушли в парк и все утро проходили, держась за руки, и говорили, говорили. Он спросил:

— Зачем ты меня так резко прогнала?

— Я... я не знаю. Что-то такое большое было в душе, страшное. Мне необходимо было остаться одной.

— Хорошо, что я не обиделся и все-таки пришел сейчас.

Она благодарно сжала его руку.

Часть вторая

Всю зиму они переписывались. Его письма были очень умные и интересные, ее — сероватые, когда была умною, захватывающие, когда писала о своих переживаниях. Каждое письмо связывало их все больше, и к весне через письма выросла между ними большая, крепкая любовь. Он немножко испугался этой любви, боялся, что она его свяжет. Но все-таки написал: женимся! И подал заявление о переводе из ленинградского университета в московский. А летом ему удалось с большим трудом опять попасть в тот же дом отдыха над Окою, где рядом, в доме дяди, опять проводила лето Исанка.

Они виделись очень часто. Участвовали в общих прогулках, играх, физкультурных упражнениях, но все это было второстепенное, и они считали минуты, когда останутся одни.

Вечером пили чай на небольшой деревянной террасе флигеля, где жил дядя Исанки, Николай Павлович, помощник завхоза.

Борька стоял с ним у перил. Николай Павлович говорил:

— Вот эта вся лужайка перед террасой и вся трава в этом уголке сада, за прудом, отдаю в мое распоряжение. Запасаю траву для двух своих коров.

Николай Павлович — суетливый человек, постоянно потирает руки, под носом — маленький темный треугольничек волос на вы бритой губе. Во всей его фигуре — как будто он сейчас хочет куда-то предупредительно броситься, что-то сделать для собеседника. Это у него от застенчивости перед мало знакомыми людьми. Наедине со своими он спокоен и даже медлителен.

— А кто вам будет косить?

— Найму. У самого сердце сейчас плохое. Когда-то косил.

— Давайте, я вам скошу.

Николай Павлович метнулся.

— Что вы, что вы! Чего ж вам беспокоить-ся!

— Я люблю физические упражнения, для меня это будет удовольствие. Исанка, ты умеешь косить?

— Нет.

— Хочешь, скосим лужайку эту? Я тебя научу.

— Ага! Очень рада.

Чай разливала Лидия Павловна, мать Исанки. Она была вдова врача и жила у брата, вела у него хозяйство. Сухоощаая, с изящным лицом и медленными движениями. Она с грустью следила за Исанкой: коробило ее, и не могла она привыкнуть, что в молодежи так легко теперь говорят друг другу «ты», зовут друг друга уменьшительными именами. Она видела, как легко одевались девушки, как они, обнявшись, ходили с молодыми людьми. Сердце ее дрожало и болело за Исанку, поэтому в глазах у нее всегда была грусть и тревога. А это лето тревога еще усилилась. Лидия Павловна видела, как Исанка в присутствии этого высокого студента вся начинала светиться внутренним светом, как часто этот студент к ним приходит. К чему все это поведет? Исанка — всего только на третьем курсе

медицинского факультета, он тоже еще юный студент... А теперь все это у них так просто!

И она боком глаза смотрела на подругу Исанки, Таню Комкову: на лице у нее были некрасивые коричневые пятна, грудь разжидлась, живот выпячивался вперед... Как она теперь будет учиться?

Таня глядела бодро и весело. Она это лето жила не в доме отдыха, а в деревне, — заведовала избой-читальней. Она оживленно рассказывала о своей избаческой работе, об организации крестьянок, о злобе на нее мужиков. Лидия Павловна слушала и думала: все это хорошо, — но зачем же тогда ребенок?

Скоро разговором незаметно овладел, как всегда, Борька. После чая Таня встала. Борька сказал:

— Ну, и я с тобой. Пора.

Они вместе вышли. Он проводил ее до самой околицы деревни, потом медленно пошел назад. В парке шла обычная ночная жизнь, слышался мужской шепот, девичий смех. Борька темными лесными тропинками пробрался к пруду, перескочил в густой крапиве через кирпичную ограду. В этой части

сада никого не было слышно. В конце запущенной боковой аллеи, у канавы, за которою было поле, стояла старенькая скамейка.

Борька сидел на скамейке и ударял срезанным ивовым хлыстиком по голенищу сапога. В душе волновалось жадное нетерпение. Вчера, на прощание целуя Исанку в щеку, он крепко обнял ее и, как будто нечаянно, попал ладонью на ее грудь. И весь день сегодня, задыхаясь, он вспоминал это ощущение. Тайные ожидания и замыслы шевелились в душе. Снова и снова всплывавшее воспоминаение сладострастным жаром обдавало душу.

Затрещали в сумраке аллеи сучки под ногами. Легкою своею походкою быстро подошла Исанка и сказала:

— Долго я сегодня?

Борька раскрыл ей навстречу объятия. Они сели рядом и тесно прижались друг к другу.

— Очень долго сегодня мама не уходила спать. Помогала дяде сводить счета. Заметила бы, что ухожу, — Исанка повела плечами. — Так противно, что все время прячемся, скрываемся. Отчего не прямо?

— Что «не прямо»? Не сесть у вас на террасе так, как мы сейчас сидим?

Исанка засмеялась и теснее прижалась к его боку под мышкой. Борька медленно целовал ее в мягкие волосы. Они замолчали.

Теперь наедине они вообще больше молчали. Хотелось какого-то другого общения, не словесного; хотелось быть ближе, ближе друг к другу, приникнуть щекою к плечу, губами к виску, и молчать, отдаваясь горячим токам, перебежавшим из тела в тело. Был какой-то особенный, бессловесный, непрерывный разговор взглядами, — радостными, дерзкими, стыдящимися; прикосновениями; поцелуями. Руки все время оживленно беседовали между собою неуловимо-легкими оттенками пожатий; таких тонких оттенков не смогло бы передать никакое слово.

Исанка сказала:

— Сними пенсне, мешает.

Борька снял. Исанка прильнула щекою к его щеке. Он медленно целовал ее в маленькую, мягкую ладонь. Сквозь ЛЮИЙС он ощущал, как к его груди невинно прижималась молодая девическая грудь. Его особенно вол-

новала эта невинность прикосновения, — Исанка, очевидно, совершенно не понимала, как это на него действует. И Борька боялся шевельнуться, чтобы она не переменяла положения.

Сзади, в канаве, что-то хрустнуло. Они отшатнулись друг от друга. Послышался шорох и приближающийся треск. Борька заговорил обычным, несдерживаемым голосом, как бы продолжая разговор:

— Просто нельзя поверить, что «Вильгельма Мейстера» писал тот же человек, который создал «Фауста»: такая рыхлая, вялая канитель, главное, — такая художественно самодовольная!..

На валу зачернело, послышалось настороженное рычание. Исанка шепотом позвала:

— Цыган!

Цыган бросился ласкаться. Они засмеялись. Исанка переспрашивала:

— Так как, товарищ, говорите? «Вильгельм Мейстер» — самодовольная канитель? Запомни, Цыган, это для твоего говорилось поучения!

Борька схватил Исанку и жарко стал ее це-

ловать, и, как будто нечаянно, попал рукою на ее грудь. Исанка затрепетала и стыдливо сдвинула его руку к поясу.

— Ну, Исанка, мне так удобнее!

— Боречка... Не надо!..

Она это сказала таким жалобным, молящим голосом, что у Борьки опустилась рука. Он нахмурился и стал играть с Цыганом. И очень этим увлекся: теребил Цыгана за уши. Цыган игриво рычал и небожно хватал его зубами за руки. Лицо Борьки было холодное, глаза смотрели враждебно.

Исанка ласково просунула руку под его локоть.

— Ты, правда, так думаешь о «Вильгельме Мейстере»? Значит, мне его не стоит читать?

Борька ответил деревянным голосом:

— Не стоит.

— Борька, ты за что-то рассердился на меня. Он помолчал.

— Не рассердился... А что-то, правда, происходит между нами совсем непонятное. Ты так от меня отшатнулась, как будто к тебе прикоснулся какой-то гад. За что?

Исанка тоскливо повела плечами и опу-

стила голову.

— Так не нужно делать. Мне неприятно.

— Ну, слушай, Исанка, ведь это же смешно! Тебе не двенадцать лет. Ты согласна быть моей женой. Если бы наше материальное положение было другое, мы бы уж поженились. А ведь ты медичка, уж по этому одному, я надеюсь, ты знаешь... что любовь... что это не одни только... поцелуи. И как же ты думаешь? Ты станешь моею женою, а я все не буду иметь права ласкать тебя, где захочу... раздевать...

Исанка дрогнула и, страдальчески наморщившись, закусила губу.

Он продолжал:

— А мне именно в этом видится огромнейший смысл настоящей любви. Случилось что-то, пала какая-то непреодолимая преграда, — и стало дозволенным, естественным, желанным все, о чем раньше даже подумать было бы бесстыдством. И ты знаешь?..

Голос его стал нежным, ласкающим. Он привлек к себе Исанку и крепко поцеловал в волосы. Она радостно прижалась.

— Ты знаешь? Вот, когда мы с тобою си-

дим, как сейчас, когда я сквозь одежду ощущаю, как ты вся прильнула ко мне, — я чувствую, ты такая близкая мне, такая моя. А когда ты вдруг гадливо отшатываешься, когда я чувствую, что прикосновением своим наносу тебе форменное какое-то оскорбление, — я совершенно начинаю теряться: как это может быть? Почему то, что мне дает такую радость, для нее — только грязь и стыд? Не ошибся ли я? Может быть, все это просто недоразумение: дружеское расположение ко мне, интерес к моим умственным переживаниям ты приняла за любовь. Иначе как возможно такое отращение?

Исанка виновато молчала и не знала, что возразить. Преодолевая себя, крепче прижалась к Борьке и прошептала:

— Неужели ты можешь сомневаться, что я тебя, правда, люблю?

Он целовал ее в затылок, где вились мелкие золотые волосики, и шептал:

— Милая ты моя, хорошая девочка!

Опять замолчали. И опять пошел таинственный, бессловесный разговор легкими рукопожатиями, поглаживанием волос, дол-

гими поцелуями, соприкосновением тел. Время проходило странно быстро. Как будто две-три минуты назад произошла размолвка, а уже заметно передвинулись звезды на небе. Борька посадил Исанку себе на колени, крепче прижал ее, и сильнее между ними пошел жаркий ток. Постепенно и незаметно, опять как будто нечаянно, он положил ладонь на ее грудь, чуть-чуть только касаясь ее. Почувствовал, как Исанка опять вся внутренно затрепетала, но не отнял руки, а крепче нажал ее и с вызовом сказал:

— Я не нечаянно руку сюда положил!

Исанка замолчала, опустив голову и закусив в темноте губу, вся внутренно сжавшись, как будто под пыткой. А он вдруг расстегнул у нее на блузке одну пуговичку, дернул другую, — она оборвалась, — быстро провел руку под блузку. Исанка скорчилась на его коленях и крепко схватила обеими руками его руку.

Сзади, в канаве, опять затрещало. Они настороженно выпрямились, хотя знали, что это все тот же Цыган, поэтому даже не обернулись. Но затрещали шаги тяжелые, и мужской голос сказал:

— Цыган!

В зеленоватых сумерках июньской ночи на валу появилась из канавы черная фигура Николая Павловича.

Исанка слабо вскрикнула и вскочила с колен Борьки, сжимая рукою расстегнутую на груди блузку. Борька растерянно остался сидеть. Николай Павлович тоже стоял растерянно и смотрел глупыми глазами.

Спокойным, самым обыкновенным голосом Борька заговорил:

— Что это, вы тоже соблазнились ночью, гуляете? Я думал, вы такими пустяками не занимаетесь.

— Нет, я с ночного шел... Наши лошади санаторные на ночном, — ходил посмотреть, не спит ли ночник. И назад пошел напрямик, через сад...

Борька ужасно заинтересовался.

— А скажите, неужели вы никогда так, без нужды, не гуляете? Ну, вот такая, например, ночь, как сейчас: я места дома не мог найти, с самого ужина шатаюсь по парку и по вашему саду. И Исанку встретил сейчас совсем пьяную от восторга... А вы, если бы не надо было

идти на ночное, — так бы и не вышли из дому?

Исанка, закусив губу, неподвижно стояла и не вмешивалась в разговор. Они еще поговорили напряженными голосами. Николай Павлович сказал, что ему завтра рано вставать, и пошел к дому по нечищенной аллее, шурша прошлогодними листьями.

Исанка все стояла неподвижно. Борька беззвучно засмеялся и хотел обнять ее. Но она гадливо, не скрывая теперь этой гадливости, передернула плечами и резко сказала:

— Пора домой.

Он разочарованно спросил:

— Уже?

Исанка нервно вздрогнула.

— Гадость! Какая гадость!.. Этого не нужно делать, что мы делаем!

Борька сердито закусил было губу, но овладел собою и ответил покорно и печально:

— Как хочешь.

Она слабо поцеловала его и задумчиво пошла по аллее.

Горела на столике свеча. Исанка сидела на постели, прикусив губу, пришивала к блузке

новую пуговку, и слезы медленно капали на голубую блузку.

Борька вместе с Исанкой выкосил лужайку перед домом Николая Павловича и отведенную ему часть сада за прудом. Косить Исанка легко научилась. Потом ворошили и сушили сено. Им хорошо было, потому что были вдвоем.

На Петров день Николай Павлович и Лидия Павловна уехали в Калугу, на именины к старшему их брату, фининспектору. Днем было жарко, хорошо, а к ночи вдруг на востоке потемнело и стало поблескивать.

Исанка волновалась: такое зеленое, сухое сено, — и вдруг замочит. Решили с Борькой, — сколько можно будет, стаскать на террасу; а в саду, нечего уже делать, придется только скопнить.

В темневших сумерках они доверху заполнили террасу душистым сеном, — уместилась вся лужайка. Потом скопнили по саду лежавшее в валах сено.

Потом долго гуляли по парку, — как всегда теперь, не умея определить, прошло ли пол-

часа, или три часа.

На востоке, за Окою, ярко-белым светом широко вспыхнул небосклон, слепя глаза. И тихо-тихо было. И томительно тепло. Душной и тягостной чувствовалась одежда; хотелось все сбросить с себя, чтобы теплый воздух ласкал свободное тело.

Исанка медленно сказала странным голосом:

— Будет гроза.

Борька ответил:

— Будет. Только не из-за Оки. Я заметил: гроза всегда приходит к нам с юга или с запада, а не с востока.

— А земля такая сухая и теплая. Хочется прижаться к ней.

Борька поднял руку Исанки и короткими поцелуями целовал в мягкий сгиб локтя. Исанка вдруг быстро повела плечами и выпрямилась.

— Боря, пора!

— Еще что.

— Нет, Боря, правда. Поздно.

— Да что ты, с ума сошла? Всегда говоришь, — неприятно, что мать видит, как ты

поздно приходишь, а сегодня что? Никого дома у вас нет.

Исанка настойчиво твердила:

— Нет, нет. Уж пора.

Борька неожиданно согласился и больше не возражал. Он сказал с неопределенною улыбкою:

— Ну, пойдём.

Они шли в теплой тьме лесной дорожки, под сводами нависшего сверху орешника. Сухо пахло сосновой хвоей. Борька держал Исанку за руку выше локтя, слегка пожимал пальцами упругие ее мускулы, и из пальцев его лилось в тело Исанки какое-то томное, жаркое электричество. Глаза ее блестели недоуменно и тревожно.

Перешли через пролом в кирпичной ограде, подошли к дому. Исанка протянула руку.

— Ну, прощай!

Борька беззвучно смеялся, смотрел на нее и не протягивал в ответ руки. Вдруг крепко обнял и пошел с нею вместе на террасу. Она билась в его сильных объятиях, упиралась в ступеньки, но он взвел ее наверх. Изменившимся, слегка задышающимся голосом Борька

сказал:

— Нет никого во всем доме, мы одни. Со всем одни. — Крепко обнял ее и горячо шепнул на ухо: — Представь себе: как будто никуда уже тебе не нужно от меня уходить, никто не вправе грустить, что ты со мною поздно засиживаешься. Нечего бояться, что кто-нибудь нас увидит...

— Неужели это когда-нибудь будет?

— Сядем.

Исанка села на сено, Борька растянулся рядом и прижался щекою к ее плечу.

— И ты... ты не говоришь то и дело: «нельзя!», «не надо!» Все, наконец, можно, ни на что нет запрета...

Они затихли. И долго молчали. Исанка несколько раз тревожно выпрямлялась, пыталась отвести руки Борьки, но он крепче сжимал ее. Она шептала, стыдясь:

— Боря, не надо!

— Вот видишь, опять «не надо!».

Руки ее сопротивлялись упорно, но не хватало силы удерживать сильные руки Борьки. А ласки его становились все дерзче. Изнутри у Исанки поднималось неведомое что-то,

сладкое и острое. Тревога, испуг переполнили душу.

— Погоди, что это там? — Исанка встрепенулась и отвела от себя руки Борьки. — Кто-то идет.

Они стали вслушиваться. За неподвижным бором поблескивало, доносились глухие перекаты. Кругом было очень тихо. Среди этой замершей тишины что-то подозрительно шуршало в бузине у кирпичной ограды.

Исанка, застегивая на груди кнопки кофточки, слушала. Щеки ее были красны, настоженные глаза блестели. Но вглядывалась она вовсе не в бузину, откуда шел шорох, а как будто в себя куда-то. Борька рассмеялся.

— Миленькая моя! Это тебя, вправду, собака испугала в бузине? Вот ты какой стратег! Ловкий маневр. Молодчина девка!

Исанка виновато и блаженно засмеялась. Он бурно охватил ее за плечи, опрокинул в сено и стал целовать в шею, в плечи, в грудь. Она больше не сопротивилась, и затихла, и дышала все тяжелее.

Взблеснула далекая молния за бором и вздрагивающим, перемежающимся светом

осветила Исанку. Борьку поразила новая, невиданная красота ее лица. Губы были решительно сжаты, огромные глаза блестели шедшим изнутри сосредоточенным светом. И Борька тоже стал для Исанки необычен, — страшный, неодолимо-властный и по-новому милый. Хотелось быть покорной и безответной, отдать ему все. Не было больше неловкости, не было стыда. С рокотом несся на души огненный вихрь, и все сейчас должно было закружиться в безумии страсти и счастья.

— Исанка... Исанка... Моя?

Ярким бело-голубым взблеском вспыхнуло небо. Еще ярче, обжигая душу, сверкнула в расстегнутых одеждах девичья нагота. Миг, и случилось бы что-то огромное, неслыханное и потрясающее, после чего в изумлении и восторге они бы спросили: что такое, что такое сейчас было?

Борька горячим шепотом спросил:

— Так ты не боишься, что мы увлечемся?

Она задорно ответила:

— Я вообще люблю, когда люди увлекаются.

— А... а вдруг ты забеременеешь?

Она нетерпеливо поморщилась и жарко прильнула к нему.

Но его руки вдруг ослабели. Огромным напряжением воли он разорвал крутившееся вокруг них огненное кольцо, — сел в сене и, скорчившись, охватил колени руками. Исанка растерянно и недоуменно взглянула на него.

Потный и горячий, с прилипшей к телу сенной трухой, Борька встал и, шатаясь, подошел к перилам. На юге часто сверкали молнии, гром ворчал глухо. По листьям порывами проносился нервный трепет. Исанка лежала в сене не шевелясь.

Весь дрожа мелкою внутренней дрожью, Борька смотрел вдаль мутными глазами, к которым постепенно возвращалась трезвость. Ветер освежил мокрое от пота лицо. Он долго стоял, потом потер лоб и медленно заходил по террасе мимо куч сена, в которых по-прежнему молча и не шевелясь лежала Исанка. Его удивило, что она так тиха и неподвижна.

Борька подсел к ней на сено, взял бессильно лежавшую руку, медленно и крепко поцеловал. Потом почесал за ухом и сказал улыба-

ясь:

— Да-а-а... Чуть бы, чуть...

Исанка молча смотрела на него огромными темными глазами. Их выражения Борька не мог разглядеть. Он продолжал целовать ее безответную руку, спросил:

— Правда, как здесь жарко на сене?

Она молчала и все смотрела неподвижными глазами. Сверкнула молния, гром ударил близко за бором. Борька сказал:

— Гроза надвигается.

Исанка быстро встала.

— Да. Пора тебе идти.

Она начала оправлять растрепавшиеся волосы и вдруг вздрогнула так, как будто сквозь нее пробежал сильный электрический ток.

— Что это ты?

Она растерянно взглянула.

— Ничего!.. Не знаю...

Борька нежно гладил ее руку выше локтя. Она не противилась и глубоко молчала. Он сказал:

— Ну, прощай.

Исанка, сосредоточенно молчащая, безучастно приняла его поцелуй в щеку и, пону-

рив голову, пошла к стеклянной двери террасы.

Назад Борька пошел берегом Оки. Далеко внизу, под обрывом, темнела бестуманная река. Черные тучи быстро неслись над головой, молнии сверкали чаще.

Борька сел над обрывом на сухую и блестящую траву под молодыми березками. Сзади огромный дуб шумел под ветром черною вершиною. Кругом шевелились и изгибались высокие кусты донника, от его цветов носился над обрывом тихий полевой аромат. Борька узнал место: год назад он тут долго сидел ночью накануне отъезда, и тот же тогда стоял кругом невинный и чистый запах донника.

А как с тех пор все изменилось!.. Тогда, — какая тогда была ясная, утренне-чистая радость! Теперь было в душе чадно и мутно. Борька охватил руками голени, уткнулся лицом в коленки, и морщился, и протяжно стонал от стыда. Гадость, гадость какая! Какое бесстыдство!

Но тотчас же он вспомнил, как неожиданная молния осветила полураздетую Исанку.

И откровенная, сосущая, до тоски жадная страсть прибойною волною всплеснулась в душе и смыла все самоупреки: сладко заныла душа и вся сжалась в одно узкое, острое, державное желание — владеть этим девичьим телом. Только бы это, а остальное все пустяки. И уже далеко от души, как легкие щепки на темных волнах, бессильно трепались самоупреки, стыд, опасения за последствия.

Борька встал на ноги и громко произнес:

— Что же это за сила проклятая! Какой ужас!

Ветер с воем мчался вдоль реки. За ним, прыгая с тучи на тучу, яростно гнался гром. Сверкнула молния, осветив встревоженную речную гладь и высокие прибрежные обрывы. На одном обрыве что-то неподвижно и ярко белело над самою кручею. Борька удивился: что это может быть? Человек — не человек. Белье, что ли, развесили сушиться и забыли?

Всю ночь бушевала гроза, и всю ночь Борька не спал, лежа на своей кровати среди крепко спавших товарищей. Болела голова, и ужасно болело в спине, по позвоночному

столбу. Задремлет, — вдруг ухнет гром, он болезненно вздрогнет и очнется. Угрюмый, он вставал, ходил по залам и коридорам дворца, останавливался у огромных окон. Под голубыми вспышками мелькали мокрые дорожки сада с бегущими по песку ручьями, на пенистых лужах вскакивали пузыри, серые кусты, согнувшись под ветром, казались неподвижными.

Проснулся Борька очень поздно, с тяжелою головой, мрачный. В восемь утра его пытались разбудить ребята на утреннюю физкультуру, но он сказал, что нездоровится. Никого уже в спальне не было. Он долго лежал, глядел на лепные украшения потолка, и мутные, пугающие мысли проходили в голове.

Захватила душу какая-то чертова сила, окрутила его и тащит на аркане, и нет сил ей противиться. Да ведь это сумасшествие! Для чего было переводиться в Москву! Что будет? Соединятся они, — он, студент; она... Беременность, дети. Нелепость, нелепость!.. «Отец семейства». И она, эта девчурка, — «мать»... И прощай все мечты о профессуре, о блестящей

научной деятельности. Ч-черт, ч-черт! А ведь не случилось вчера, случится завтра. Перевалялся мячик через какой-то кряж, покатился под гору, — и теперь его не остановишь. Ах, нелепость! — Он морщился и хватался за голову. — Прочь от этого колдовства, выскочить из зачарованного круга, пока не поздно!

Но вдруг опять ему вспомнилось, какую он увидел Исанку под взблеском молнии, и опять все всколыхнулось и сладко заныло в душе. И он почувствовал: что бы в будущем его ни ждало, — теперь все равно. Пока не осуществится то, что огненным буравом сверлит тело и душу, пока Исанка не будет ему принадлежать, никаких вопросов он не сможет решить. Даже не сможет решить вопроса самого существенного: подходят ли они друг к другу, могут ли быть мужем и женою. Разве возможно подобные вопросы решать в состоянии того непрерывного опьянения, в каком их держит страсть?

Борька вышел на веранду. Небо было в мутных, неясных облаках без очертаний, тусклое солнце белесым светом отражалось на сырых крышах. Парило, было душно и ти-

хо. У кухни напряженно кричали петухи. На футбольной площадке тренировались парни, обливаясь потом.

Борька пошел купаться. Морщась от головной боли, он шагал по мокрой траве рядом с маслянисто-черной дорогой, с водою в расползшихся колеях. На теплой грязи сидели маленькие оранжевые и лиловые бабочки, каких можно увидеть только на мокрых дорогах и у ручьев. За парком широко подул с реки освежающий ветер, но сейчас же стих.

Исанка, с полотенцем на плече, медленно поднималась от реки по откосу, редко поросшему полынью и колючим репейником с голубыми листьями. Борька пошел навстречу. Лицо Исанки было серое, жалкое, под глазами темнели черные полукруги. Они поздоровались за руку и заговорили о незначительном. Борька старался не смотреть в ее глаза: в них была такая тоска, такое недоумение и растерянность, — как будто она узнала что-то страшно важное, о чем до сих пор и не подозревала, но чего и теперь не в силах была понять.

Он шел рядом с нею вверх. Исанка рассеян-

но спросила:

— Ты купаться идешь?

— Да... А ты сейчас домой?

Она помолчала, опустив голову, и вдруг решительно сказала:

— Пройдемся немножко.

Они пошли бичевником вверх по реке, по береговой дорожке, протоптанной бурлаками и их лошадьми. Исанка шла, понутив голову, и молчала. И вдруг она показалась ему чужою, он заметил, какой у нее невысокий лоб, как она сутулится. И, пугая, через душу быстро пронесся вопрос, как паровозная искра сквозь ночную темень:

«Да кто она такая? Зачем я с ней связываюсь?»

Пронесся вопрос и исчез. Борька оглянулся. Парк наверху скрылся за выступом. Он поднес руку Исанки к губам и крепко поцеловал. Она в ответ пожала его руку, но пожатие вышло мертвое, тока между ними не получилось.

Свернули влево и стали подниматься на Змеиную Гору, острым мысом врезающуюся в Оку. Меж низких ореховых и дубовых кустов

пестрели иван-да-марья, алели вялые листья земляники. Было тепло, и душно, и тоскливо. И все больше болела голова. Из кустов несло влажным теплом, кожа была липка от пота.

Исанка, волнуясь, сказала:

— Сядем где-нибудь.

Присела на гнилой дубовый пенек, обросший мохом. Но все не заговаривала, и только грудь ее чуть заметно вздрагивала. Мутное небо в полной тишине заметно темнело, стали падать мелкие теплые капли. С резким треском неожиданно через все небо прокатился удар грома, и опять кругом стало расслабленно-тихо. В мутной дали Оки показался пароход и бессильно пыхтел, как будто не двигаясь с места.

Борька ласково сказал:

— Исанка, тебе все время хочется что-то мне сказать. Скажи.

Она сидела, локти в колени и голову в ладони. Вдруг плечи ее стали вздрагивать. Она стиснула голову, стараясь сдержаться, но всхлипывания становились все сильнее

— Что с тобой? Девочка моя!

Исанка вздрагивала, как лист под каплями

дождя, и вдруг разрыдалась. Борька стал взволнованно гладить ее по пушистым, золотым волосам, с мелкими капельками дождя на них, и говорил ласковые слова.

— Боря! Голубчик! — Исанка обеими руками схватила его руку и прижала к своей груди. — Я не знаю, что со мною! Я места себе не могу найти со вчерашнего. Мне так стыдно! Я сама не знаю чего. Но мне стыдно, стыдно. Так стыдно!

Борька изумился.

— Исанка! Да ты с ума сошла! Передо мною? Что же теперь может нас разделять?

— Я знаю, что мне тебя нечего стыдиться, что я вся твоя. Я вот держу твою руку и чувствую, что эта рука такая близкая, родная... Но скажи мне, что со мною? Как будто я со вчерашнего вечера вся вымазалась в грязи, — что такое? Милый мой, любимый!

Ее глаза сияли, тоскующее, смятенное лицо осветилось изнутри и стало вдруг прекрасным. Она с надсадом прижимала к колеблющейся груди его руку, как будто старалась убедить саму себя, что эта рука, правда, близкая-близкая, как своя.

Борька опустился возле Исанки в горячую, влажную траву, взял ее руку и стал целовать. Нежно и уверенно он говорил, что все, переживаемое ею, вполне естественно. Мы с детства воспитываемся в глубочайшем презрении к телу и к любви, поэтому подход к ней всегда болезнен и мучителен, люди уже совсем близки стали духом, а попытки к телесной близости вызывают испуг и стыд. А между тем как же быть иначе? Этого обойти нельзя, раз есть любовь.

И он много еще говорил, держа ее руку в одной руке и нежно глядя другою.

Исанка неподвижно сидела, уставясь в землю широко раскрытыми глазами. Потом подняла на него глаза. В них замер такой вопль ужаса, что Борька внутренне вздрогнул и замолчал.

— Какой все это кошмар, Боречка! Пожалей меня, помоги. Я не знаю, что такое со мной. Вчера, когда мы с тобой разошлись... Я не знаю, как это случилось... — Она повела вокруг помешанными глазами. — Я вдруг стою над Окою; смотрю с обрыва вниз. Там, внизу, у воды, камни, — такие белые и такие

большие... И тянет туда, и вдруг пришла мысль: один шаг, — и конец этой бессмыслице. Я ничего, Боря, не понимаю, только мне страшно, страшно! И так стыдно!..

Борька сидел, склонив голову. Вдруг рыдания порывом подступили к его горлу. Он молчал, стараясь с ними справиться. Потом, пряча лицо, припал губами к руке Исанки и сказал:

— Прости меня, если можешь.

Встал и, шатаясь, с вздрагивающими плечами, пошел прочь.

Часть третья

С жильем в Москве было очень трудно устроиться. Устроились так. Исанка жила на Девичьем Поле в одной комнате с Таней Комковой, — обе они были медички. Большую их комнату разгородили дощатой перегородкой пополам, и Стенька Верхотин перебрался к Тане. А свою каморку у Арбатских ворот, в восемь квадратных аршин, бывшую комнату для прислуги за кухней, он уступил Борьке.

«Прости, если можешь...»

Прости-то, прости. Легко было сказать. Но мяч перекатился через кряж и неудержимо катался вниз. Изменений в отношениях не было.

Раз в субботу вечером Борька зашел за Исанкой, они долго бродили по Девичьему Полю. Было очень хорошо. Стояла глубокая осень, шли дожди, — и вдруг ударил морозец, черные, мокрые улицы стали белыми и звонкими. Сквозь ветки тополей с трепавшимися остатками листьев сверкали яркие звезды.

По аллеям шевелились под ветром душистые кучи опавшей листвы. Дышалось глубоко и бодро.

Они ходили по аллеям, держа друг друга за руку, разговаривали теплыми, медленными пожатиями, а Борька в это время одушевленно, как всегда, говорил. Это были теперь для Исанки самые любимые минуты в их общении.

Борька изучал английский язык и читал сейчас в подлиннике Шелли. Он возмущался непроходимую пошлостью бальмонтских переводов и наизусть переводил Исанке це-

лые куски из Шелли. После фармакологии и общей хирургии это был для Исанки светлый, зачарованный мир, в котором сладко отдыхала душа.

— Вот, — послушай, — заключительные строфы «Мимозы»: «Все эти сладостные образы и запахи в действительности вовсе не миновали, не кончились. Это мы изменились, наши души. Для любви, для красоты и для радости нет ни смерти, ни изменения: сила их выше наших чувств, и они сами, наши чувства, слишком темны, чтобы выдержать их свет». Мистика, конечно. А знаешь, — когда у меня на душе грязно, темно, скверно, я именно это вот и ощущаю, что у Шелли тут сказано: есть эта красота и радость, это мы изменились, наши чувства слишком темны, чтобы долго выдерживать их свет...

Потом они на Плющихе зашли в кооператив, купили колбасы и белого хлеба, пошли к Исанке чай пить. Комната ее была в полуподвальном этаже, окно, в уровень с землей, выходило на двор. Стоял в комнате кисло-сырой, тяжелый запах, и избавиться от него было невозможно: мусорный ящик стоял как раз

перед окном. Но в самой комнатке было девически-чисто и уютно. Это всегда умиляло Борьку. Что у него было, в его комнате!

Исанка ушла в кухню вскипятить на примусе воды, пришла с кипятком, радостная, светящаяся. Пили чай, болтали. Чувствовали себя близко-близко друг к другу; Исанка положила голову на плечо Борьки.

Глаза Борьки изменились. Он привлек к себе Исанку и стал расстегивать на ее груди блузку. Она крепко сжала обеими руками его руку и ласково сказала:

— Боря, не надо.

— Ну, ну! Вот еще! С чего это не надо?

И он крепче охватил ее. Но Исанка вывернулась, отошла к стене и извиняющимся голосом сказала:

— Больше этого не будет.

— Почему?

— Борька, гадко! У меня больше нет сил.

— Странно! Четыре месяца было ничего, и вдруг — нет больше сил.

— Мне все время было тяжело.

— Только тяжело? И больше ничего?

— Нет, то-то особенно и мучительно: ядо-

витый какой-то дурман, едко и сладко, и потом так от него погано!

— Угу! — Борька самолюбиво блеснул глазами и замолчал.

Исанка печально сказала:

— Ну, Боря, как хорошо сегодня все у нас было, и вдруг...

— Это дело вкуса.

Он медленно поднялся и начал надевать пальто.

— Уходишь?

— Да, пора.

С каменным лицом пожал ее руку. Она преодолела гордость и спросила:

— Когда придешь? Он рассеянно ответил:

— Право, не знаю. Я очень занят.

И ушел.

Она, стиснув зубы, прошлась по комнате, остановилась у окна. Потом тряхнула головою и села за фармакологию Кравкова.

Мнения относительно действия атропина на спинной мозг расходятся. Можно думать, что атропин сначала увеличивает рефлекторную возбудимость, а затем ее парализует...

Читала, а слезы медленно капали на страницы. Болела голова, ничего в нее не шло. У нее теперь часто болела голова. Исанка приписывала это помойке перед окном, — нельзя было даже решить, что полезнее — проветривать комнату или нет. И нервы стали никуда не годные, она постоянно вздрагивала, ночи спала плохо. Похудела, темные полукруги были под глазами. Такими далекими казались летний блеск солнца, здоровье, бодряя радость!

Разделась, легла спать. Но мешал плач грудного ребенка за дощатой перегородкой. Таня баюкала его, ходила с ним по комнате. Успокоился наконец.

Но скоро пришел Стенька Верхотин с двумя товарищами. Они пили чай и яростно спорили о троцкизме и оппозиции. Сквозь щели перегородки лез мутный запах дешевого табаку. Иногда начинал плакать ребенок, и голос Тани баюкал его. До двух часов ночи тянулись споры. Исанка представляла себе: табачный дым столбом, они, «деятели», спорят о важных вещах, измученная Таня старается заснуть среди табачного дыма и криков. И с

ненавистью Исанка прислушивалась к добродушному голосу Стеньки и вспоминала сегодняшнее каменное лицо Борьки. И недоброе чувство шевелилось к вековечным господам — мужчинам.

В три часа, когда уже ушли ребята, Исанка слышала, как Таня стучала кулаком по столу и истерически кричала:

— Все, все по-прежнему! Ни на волос ничего не изменилось! «Жана»? Что на нее смотреть? «Наплявать!» Не хочу с тобою жить, ухожу, и девай своего ребенка, куда знаешь! У меня своя работа есть, ничуть не менее важная, чем твоя!

Слышался виноватый, уговаривающий голос Стеньки. В четыре же часа Стенька раздраженно спрашивал:

— Что ж, мне его прикажешь грудью кормить? Так у меня в грудях нету молока!

Прошла неделя. И другая. Борька не приходил. Раз вечером Исанка шла по Никитскому бульвару и увидела: по боковой аллее идет Борька с незнакомой дивчиной; обнял ее за талию и одушевленно, как всегда, говорит, а

она влюбленно слушает. Матовое лицо, большие, прекрасные черные глаза.

Постоянно болела голова. И работоспособность падала. Мутная вялость была в мозгах и неповоротливость. Исанка пошла на прием к их профессору-невропатологу. Вышла от него потрясенная. Села на скамейку в аллее Девичьего Поля.

Он ее долго и добросовестно исследовал, расспрашивал; осторожно подошел к вопросу об отношениях с мужчинами и спросил:

— Можете вы мне в этой области рассказать все? Исанка покраснела, опустила голову, ответила:

— Да.

И рассказала. Тогда он сказал:

— Ну-с, так вот вам. Основная, все исчерпывающая причина. Хотите быть здоровой, — либо установите нормальные отношения, либо разорвите их. И не откладывайте. И ему скажите, — он вузовец? — скажите, что это ведет к понижению умственных отправления, к ослаблению памяти, и вообще последствия этого — сквернейшие.

Потом посмотрел на нее умными, прони-

цательными глазами, мягко улыбнулся и прибавил:

— У вас чистые, хорошие глаза. Вот что я вам еще скажу: не поддавайтесь ничьим софизмам и верьте вашему чувству. Самое большое горе женщины в этой области, что она вообще позволяет мужчинам ломать и коверкать свое непосредственное чувство их логикой. Вот, товарищ. Идите и хорошенько подумайте обо всем этом.

С двух сторон шли железные решетки и оставляли широкий выход из сквера; направо, вдоль Большой Царицынской, тянулись красивые клинические здания, белая четырехэтажная школа уходила высоко в небо острой крышей. И солнце победительно сверкало, желтели на синеве неба кое-где еще не опавшие листья клена. Свет был и простор. Исанке казалось, что она сможет выкарабкаться к этому свету. Вспомнилось из Шелли: «Наши чувства стали слишком темны, чтоб выдерживать свет красоты и радости». Остро укололо душу воспоминание о Борьке. Как нерадостно, как запачканно проходит их любовь. И было в душе чувство твердости и чув-

ство освобождения: уверенно было оправдано то, что жалобно кричало и протестовало внутри ее самой.

А слезы капали из глаз на спинку скамейки. Эта самая скамейка. На нее они присели, когда Борька читал Шелли. Как тогда было хорошо!

А Борька все не приходил. Ну что ж! Ну, и хорошо! Все само собой прекратится. А душа рвалась и тосковала.

И дома было невесело. Исанка готовилась к зачетам вместе с Таней. Было больно за нее и трудно. Исанка читала фармакологию, а Таня тупо слушала, потом расстегивала блузку, брала плачущего ребенка и прилаживала к своим большим, матерински-мягким грудям. Несколько времени говорили об алкалоидах, потом Таня страстно начинала жаловаться на свою жизнь, и глаза горели озлобленно.

— Господи! Что стало с жизнью! И общественная вся работа пошла к черту, и наука припадает на обе ноги... Пеленки, ванночки, присыпки... Но что же мне делать? Не могу же я к этому малышу относиться кое-как!

Исанка с враждебным огоньком в глазах говорила:

— Ты должна настоять, чтоб тебе побольше помогал Стенька.

— Стенька!.. Степанушка мой... — Таня с ненавистью рассмеялась. — Придет, покрутит носом: «Ну, мальчишка все кричит, мешает работать, — пойду заниматься к товарищу!» Все я, все я одна. И даже на него стирать, — все я же должна.

Исанка энергично воскликнула:

— Ну, уж этого бы я ни за что не стала делать!

— И я бы не хотела. А ничего не выходит. Он общественный парень, прекрасный работник. Но ты не можешь себе представить, до чего он грязен и некультурен. Не починешь носков, — так и будет ходить в рваных. Ох, эти носки! Грязные, вонючие. Один на комод положит, другой на окно, рядом с тарелкой с творогом. От рубашки его так воняет потом, что я не могу с ним спать. Ну, как не выстираешь?

Исанка возмущенно прошлась по комнате.

— Все-таки знаешь, Танька? Я тебе скажу:

ты та-ка-я женщина!

Танька помолчала, вздохнула и виновато улыбнулась.

— Исанка! Я та-ка-я женщина!.. Что же мне делать?

Исанка добыла билеты на «Дело» Сухово-Кобылина во втором МХАТе и почти насильно потащила Таню, чтобы ее немножко рассеять. После спектакля, при выходе уже, они столкнулись в вестибюле с Борькой. Он опять был с тою же еврейкою с большими глазами, смотревшими влюбленно.

И разом они оба бросились друг к другу — Исанка и Борька. Горячо пожали руки, заговорили. И пошли назад вместе. Исанка забыла о Тане, Борька — о своей черноглазой.

Шли по сверкавшей снегом Моховой, разговаривали, как прежде. Она не спросила, почему он все время не приходил. А он сам сказал: чувствовал, что неправ, но самолюбие не позволяло.

В сквере около храма Христа Спасителя они сели на гранитный парапет над площадью Пречистенских ворот. Внизу, за спиною, звеня и сверкая, пробегали красноглазые

трамваи, вспыхивали синие трамвайные молнии, впереди же была снежная тишина и черные кусты, и тусклым золотом поблескивали от огней внизу главы собора. Говорили хорошо и долго.

Исанка рассказала про свое посещение профессора.

— Мне и раньше всегда так было погано, я чувствовала, но не могла дать себе отчета. А теперь... Борька, мы друзья с тобой? Настоящие?

Он крепко поцеловал ее в пушистые волосы над ухом, она сжала его руку.

— Борька, бросим это, будем хорошими товарищами, пока не сможем быть мужем и женой.

Он продолжал целовать ее в висок, посмеивался и говорил:

— Как добродетельно!.. Хорошо, Исанка!

Потом стал серьезен и сказал:

— Нет, это, правда, позор! Ломаем жизнь и себе, и друг другу. И настолько нет силы воли, чтобы стать выше этого. Хорошо. Давай друг другу помогать.

— И ты вперед не будешь обижаться, если

Я...

— Может, и буду. Ты меня тогда назови дураком и подлецом.

Они пошли, держась за руки, опять разговаривая медленными, горячими пожатиями. Прошли по тихому Сивцеву Вражку, по Плющихе. Борька проводил Исанку до дому, в Первом Воздвиженском переулке. У каменных ворот, около подстриженных тополей, тянувшихся вдоль панели, они остановились. В колебании поглядели друг на друга. Борька решительно сказал:

— Ну, поцеловаться-то можно!

Она засветилась, крепко охватила его шею и обожгла девическим поцелуем.

Борька пришел на следующий день. Был блестящ, много и одушевленно говорил. В душе горел сладкий, необычный поцелуй, который был вчера. Пили чай. А потом Борька потянулся к Исанке и обнял ее за талию. Исанка решительно уклонилась.

— Боря! Этого больше не будет никогда. Помни, мы дали слово.

— Ну, слово!.. — Он подошел сзади, губами припал к ее шее и попытался положить руки

на грудь. Исанка решительно встала и отошла к стене. Борька сел к столу, огорченно положил голову на руку.

— Боря, вспомни, что мы вчера говорили.

— Э! — Он нетерпеливо махнул рукою. — Ерунду мы вчера говорили. Как это возможно! Вчера, как расстались, я все время думал о тебе, вспоминал, как ты меня поцеловала... Это выше всяких клятв. Я не могу. Как лавина какая, — накатилося и несет с собою. Сходиться друзьями... Да это издевательство! Вся мысль только о том, чтоб иметь тебя всю. Какая мука!

Он схватился за голову и наклонился над столом. Исанка подошла к нему близко, положила руку на плечо и, прикусив губу, заглянула ему в глаза серьезным, пристальным взглядом.

— Боря, ну, тогда... будем жить, как муж и жена.

Он усмехнулся.

— Как Стенька Верхотин с Таней? Только предупреждаю: варить каши и стирать пленки у меня не будет времени. И я должен быть свободен. Исанка, пойми, — я не могу

наваливать на себя семью, не могу связывать себя. Я чувствую в себе незаурядную умственную силу, я знаю, что буду великим человеком. И потопить себя в пеленках и кашках — ни за что!

— А я одна тонуть в пеленках и кашках не хочу.

Замолчали. Исанка продолжала пристально смотреть ему в глаза.

— Как же тогда быть?

— Ну, давай жить по-настоящему... Только, чтоб не было последствий.

— Это, — аборт, если что?

— Ну, что ж поделаешь!

Она опустила руку с его плеча и с отвращением повела плечами.

— Н-ни за что! Убить своего ребенка!.. И потом. Вижу я кругом девчат. Как возятся с последствиями, как месяцами ходят к докторам, как синеют у них носы... Вам-то до этого нет дела.

Борька раздраженно сказал:

— Черт знает что получается! Трогательная картинка из дореволюционного быта: она — небесно чистая девушка; он, пока что,

пляется по проституткам и, наконец, лет эдак через семь-восемь, с полузалеченными венерическими болезнями, срывает ее перерзлую чистоту... Ты какая-то совершенно ископаемая... Кто сейчас на все это смотрит так сложно?

Исанка вспыхнула.

— Ну, и ищи себе современных, везде кругом сколько угодно. Да кстати, ты, кажется, уж и нашел себе.

Он просто и кротко ответил:

— Это было только от тоски. Я люблю тебя и никого другого неспособен искать.

Это ее тронуло. Она опять прикусила губу, серьезными, любящими глазами заглянула в его глаза и тихо спросила:

— Так как же нам быть?

Они долго и бесплодно говорили. Он робко ласкал ее руку, потом незаметно шел все дальше, ей было сладко и противно...

— Нет!

Исанка вскочила и, оправляя платье, решительно отошла к стене.

Борька раздраженно кусал губы. Она заговорила о своем впечатлении от вчерашнего

спектакля в МХАТе. Он слушал рассеянно. Раз не могло быть того, — она казалась ему серой и неинтересной.

Замолчали. Исанка стояла, прислонившись спиной к высокому подоконнику.

Вдруг раздался пискливый, пронзительный, дурацки неестественный голос:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Борис вскочил. Исанка, смеясь, держала в руке зеленого вербного чертика. Сегодня утром она проходила по Смоленскому рынку: на душе было радостно от примирения с Борькой и что он придет вечером, увидела, что китаец продает этих смешных чертиков, и купила.

Борька медленно бледнел.

— Это ты нарочно припасла на этот случай? Улыбка недоуменно застыла на губах Исанки.

— Как это нарочно?

Борька встал с злыми глазами, порывисто вздохнул, закусил губу.

— Я тебе не мальчишка, чтоб надо мною шутить такие шуточки, с такими бабьими намеками.

— С какими намеками? Борька, да что ты?

Он грубо крикнул:

— Сейчас же спрячь!

Исанка вспыхнула.

— Вот еще!

— Я требую, чтоб ты спрятала, не хочу слушать этого дурацкого писка!

— А мне нравится!

Она надула игрушку, и чертик, спадаясь и сморщиваясь, опять завопил пронзительно:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Борька, смотря на нее злым взглядом, сказал раздельно:

— Фамилии своей я все равно не переменяю, прославлю ту, какая есть.

— При чем тут фамилия?

Исанка высоко подняла брови, — она вдруг сообразила: фамилия Борьки — Чертов; в чертике он видит какой-то намек на себя.

— Какой же ты, Борька, дурак!

Исанка вдруг почувствовала, что страшно устала. Она замолчала и тесно прижалась к стене плечом и головой.

Борис прошелся по комнате и спокойно, равнодушно заговорил:

— Наши отношения с тобой окончены. навсегда. Я вижу вообще, что мое увлечение тобою было ошибкой. И подумать: из-за тебя я бросил Ленинград, налаженные отношения с профессорами!.. Я считаю нужным тебя предупредить, не удивляйся, если я встречу с тобою и не поздороваюсь.

Исанка, устало прислонившись к стене, слабо кивала головою и отзывалась:

— Да!.. Да!..

Он ушел и тайно ждал, что Исанка кинется за ним, станет звать. Не позвала.

Устало села к столу. Оттопыривался карман. Что это там? Вынула зеленого чертика, с удивлением поглядела. Надула, — он завопил:

— Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди!

Исанка рассмеялась.

— Вот наша любовь...

И долго смеялась. Таня сквозь перегородку спросила:

— Чего это ты, Исанка?

— Очень весело!

Через пять дней.

Борису Васильевичу Чертову.

Я шла, это было вечером вчера, Гоголевским бульваром. На душе вообще было ничего себе. Но мне казалось, что в жизни с тобою я пью накипь с какого-то скверного супа, который варится кем-то, — не мною и не тобою.

Было очень холодно и мокрый снег. Я устала, тяжелые ноги не двигались, я села у памятника Гоголя. Вдруг ярко блеснуло солнце, засверкали леса за Окой, увидела веселые, загорелые лица с здоровым блеском глаз, все несут на головах кувшины, чтобы научиться держаться прямо... Х-ха-ха! Как это важно в жизни, — держаться прямо!

Наверное, ты знаешь, что к одиноко сидящим женщинам подходят мужчины. Он внимательно заглянул мне в лицо и сел возле. Он был осторожен, так как колебался, как и я; а может быть, думал, что мне надо много платить, не знаю.

Волнение немножко мешало мне, голос был нетвердый, но мне захотелось посмотреть, красив ли он, и хватит ли у него той капельки настойчивости, которая нужна. Взглянула. Одет очень хорошо, с брюшком, но без-

условно красив, особенно глаза черные.

Мы много говорили о разном, обо всем, он грел мои руки, ласково заглядывал в глаза. Много ходили по улицам, где поменьше было народу, наконец, привел в Мерзляковский переулок. Спросил: «Может быть, вы зайдете ко мне выпить чашку чаю?» Мне было интересно, что будет дальше. И смешно было. Как люди живут богато! Он угощал меня фруктами, ликерами, — замечательно вкусные. Потом подсел ко мне, стал очень настойчив. Мне все было все равно. Он ужасно удивился. «Вы девушка?» Я рассмеялась. «Какая я девушка! Это так только кажется!» Когда я уходила, он мне что-то сунул в руку. На улице поглядела при фонаре: червонец. Ого! Пригодится. Мне деньги нужны.

Вот все. Нет в душе моей раскаяния и жалости к себе. Все благополучно. И нет к тебе никакой злости (ты говорил как-то, что лучший признак равнодушия, — когда нет злости). Главное, нет больше этой мучительной тяги к тебе, никому не нужной зависимости.

Это письмо, конечно, последнее. Исанка.

Борис хотел в воскресенье идти к Исанке мириться. И как раз получил утром это письмо. Три раза перечитал, в изумлении вытаращил глаза, в душе больно заныло. Разорвал письмо, с омерзением выбросил клочки в форточку. И больше к Исанке не ходил.

Раз на святках Борька с тремя девчатами сидел на Никитском бульваре. Они возвращались с диспута в Политехническом музее о половой проблеме. Празднично сверкала луна, была тихая морозная ночь, густейший иней висел на деревьях, телефонных проводах и антеннах. Борька с одушевлением говорил, девушки влюбленно слушали. Среди них была и та дивчина с черными глазами.

Борька говорил, что брак, как дружеский товарищеский союз между мужчиной и женщиной, может быть заключаем только года через два-три после физического сближения. До того есть только влюбленность, есть страсть, при которых человек совершенно слеп и должен быть готов на всякие неожиданности. Глубочайший смысл имеют «пробные браки», существующие у некоторых на-

родов.

Простились. Девчата пошли к Кудрину, Борька по бульвару — к Арбатским воротам. Лунный воздух поблескивал иголочками инея. На скамейке, с книгою под мышкой, сидела Исанка и глядела на Борьку. Он дрогнул, хотел пройти мимо, но потом подумал: «Невеликодушно!» Подошел к ней и дружески протянул руку.

Исанка оглядела его озорными глазами и нехотя протянула руку. И спросила:

— Ну что, удав, — сколько еще цыплят проглотил? Над многими еще женщинами показал свою власть?

Борька мягко сказал:

— Что это, Исанка? Зачем ты так?

Он сел и внимательно поглядел на нее. Месяц ярко освещал лицо Исанки. Она сильно похудела, нос заострился, глаза впали и от этого казались глубокими и прекрасными. Вдруг Борька почувствовал, что она ему по-прежнему дорога, и сердце сжалось от боли, что она так горько запачкала себя.

От нее пахло дешевым табаком. Раньше Исанка не курила.

— Зачем ты так говоришь, Исанка?

— Праздную свое освобождение от тебя. Как хорошо! Вот уж два месяца прошло, а все живу этим чувством освобождения. Я теперь решила совсем иначе жить. Раньше я давала целовать себя, а теперь сама целую, — это гораздо интереснее. Раньше я говорила: «Приходи ко мне», — и плакала, когда не приходили. А теперь говорю: «Я буду приходить, когда я захочу!» Раньше мучилась я, а теперь пусть мучаются они.

Борис сказал задушевно и грустно:

— Я очень мучаюсь.

— Да? Ну, это очень приятно. — Она закурила папиросу. — Жалко только, что это совсем не отразилось на твоём лице.

Борька ласково положил руку на холодную руку Исанки и сказал бережно:

— Исанка! Что ты мне тогда написала, — про то, у памятника Гоголя, — я это игнорирую. Я понимаю, все это было сделано с отчаяния, и что тут, может быть, виною — я.

— Ты... и-г-н-о-р-и-р-у-е-ш-ь?.. Ха-ха-ха! — Исанка вскочила со скамейки и с негодованием смотрела на него. — Ты игнорируешь! А

как я тебя ждала после этого письма! Господи, как ждала! Я ждала, — ты прибежишь ко мне, как хороший товарищ, как друг, схватишь меня за руки, станешь спрашивать: «Исанка, Исанка, как это могло случиться?!» Какая я была дура!.. А ты, гордый своею добродетелью, наверно, с презрением бросил письмо в печку... Борька!

Она вплотную остановилась перед ним, расставив ноги и засунув руки в карманы потрепанного своего, короткого пальто.

— Борька! Неужели ты так подл и так глуп, что поверил тому, что я там написала? Я только хотела с тобою разорвать.

Он вскочил и схватил ее за руку.

— Правда?!

Исанка на мгновение не отняла затрепетавшей руки, но сейчас же ее высвободила.

— Ага, — правда! А дальше что?

— Исанка, зачем этот тон? Я тебя совсем не узнаю.

— Что же дальше?

— Ведь это совсем меняет дело, — то, что ты мне сейчас сказала.

— Ха-ха! Ну, ясно, — меняет! Раз так, то

можно и помириться, правда? И опять ты меня начнешь поганить, и будешь мне твердить, что из-за меня не станешь великим человеком.

Борька смущенно молчал. Грудь Исанки вдруг судорожно задергалась.

Загремел и зазвонил вдали трамвай, меж пушисто-белых ветвей заморгала красная надпись: «Берегись трамвая!» Исанка вскочила.

— Пятнадцатый номер! Последний, наверное. Придется на Девичье Поле переть пешком... Пока!

И побежала к остановке, скрипя по морозному снегу.

1928

Euthymia

(Эйтемия)

Насмешка судьбы соединила друг с другом самого счастливого человека с самым несчастным.

Леонид Александрович Ахмаров был талантливейший инженер-строитель, один из лучших советских архитекторов. Каждая его постройка вызывала шум и разговоры. Она была оригинальна, ни на что прежнее не похожа и покоряла красотой, жадной любовью к жизни и мужественностью духа. Начинала светиться душа, когда глядел человек на благородные линии его зданий, на серьезную, чисто эллинскую радость их, осложненную современной тонкостью и сложностью. Леонид Александрович много зарабатывал. Был красив, молод, здоров. Прекрасный теннисист и конькобежец. Во всем ему сопутствовала удача.

Жена его Люся была собранием множества болезней и множества несчастий. Восход ее жизни был ярок и многообещающ. Студенткой университета она была принята в студию

Станиславского, там все носили ее на руках. Станиславский повсюду говорил торжествующе, что появилась в Советском Союзе первоклассная трагическая актриса с огромным темпераментом. И вдруг все оборвалось. У Люси открылся туберкулез кишечника. Рухнули надежды на артистическую дорогу. У ней много было и еще болезней. Прирожденное сужение аорты. Рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства. Сколько она проглотила пирамидона, фенацетина, кофеина! И только незадолго до смерти выяснилось, что мигрени вызывались скрытою малярией, не разгаданною врачами. Все почти время Люся проводила в постели. А была при этом полна огромной энергии, не имевшей приложения. Изнывала от страстной жажды материнства, но врачи запретили иметь детей.

Оба они сильно и прочно любили друг друга.

Машина мягко неслась по гудронированному шоссе дачного поселка. Леонид Александрович возвращался из Москвы с дневного диспута в Политехническом музее об его по-

следней постройке — Всесоюзном Дворце физкультуры. Нападали, защищали, но в том сходились все, — что это будет одно из замечательнейших зданий Москвы, что оно, пожалуй, даже знаменует нарождение в архитектуре нового, советского стиля. Потом был банкет. Голова кружилась от шампанского и восхвалений. Дубы и сосны просеки чернели высокою стеною, закрывая заходящее солнце. Как всегда после временного отсутствия, все вокруг было по-новому мило, неожиданно, значительно.

Машина въехала в ворота дачи. В саду, около куста цветущей жимолости, лежала в гамаке Люся и смотрела на заходящее солнце. Лицо у нее было бледное и страдающее. Она медленно перевела глаза на входившего в сад мужа и встрепенулась.

— Ну, иди скорей, рассказывай!

Расспрашивала о всех подробностях диспута, жадно глядя огромными черными глазами, расспрашивала серьезно и требовательно. Леонид Александрович сидел возле гамака на березовом пне, рассказывал, а в душе было горько: в какой он живет яркой, инте-

ресной жизни, а она тут вяло прозябает в одиночестве и непрерывных страданиях.

Кончил рассказывать, припал головою к ее плечу.

— У тебя очень страдающее лицо. Плохо тебе? Она нетерпеливо повела плечами.

— Это совсем неважно! — И оживилась. — Знаешь, я сейчас лежала и смотрела вон туда. Березы стоят огромные, тихие-тихие. Зелень под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! И как будто все замерло в благоговении. Как хорошо! Какая красота! — повторяла она в упоении. — И воздух какой, вдохни всю грудью! Ой, Леня, как у нас тут хорошо!.. И.. ой-ой! Смотри-ка, Анна Павловна идет гнать меня домой!

По дороге шла, подергивая головою, худенькая старушка и лукаво улыбалась.

— Людмила Александровна, солнце садится, нужно домой.

— Да уж вижу, идете отравлять мне жизнь!.. Ох, Леня, какая это отравительница жизни, если бы ты только знал!.. Ну, что ж делать! Нужно идти.

Анна Павловна сконфуженно улыбалась, и

кожа темени светилась сквозь седоватые, очень редкие волосы.

Пошли к дому. В цветнике к вечеру сильно пахло левкоями и резедой. На застекленной террасе кипел самовар. Анна Павловна села к нему.

Леонид Александрович сказал нерешительно:

— В филармонии объявлен концерт. Пятая симфония Шостаковича. Взять и для тебя билет?

— Что за вопрос? Конечно!

— Люся, ведь после этого опять на несколько дней придут твои ужасные мигрени.

— И из-за этого отказываться от радости! Какая нелепость! Очень прошу тебя не опекать меня. Обязательно возьми.

Он пожал плечами и сказал покорно:

— Хорошо.

С разговором и смехом вошла на террасу молодежь: комсомолец-вузовец Борис, брат Леонида Александровича, и две племянницы Люси — сероглазая хохотунья Ира и чернобровая Валя с насмешливыми глазами. Все были в теннисных костюмах, с ракетками.

Перебивая друг друга, стали рассказывать: приезжал в гости к Куприянову чемпион по теннису, знаменитый Кидалов. Борька играл с ним сингль, конечно, проиграл, однако взял два гэма. Вот так Борька наш! Все-таки два на шесть!

Борис сказал брату:

— Кидалов много слышал про тебя и очень жалел, что не застал сегодня. В следующее воскресенье опять будет здесь и был бы рад сразиться с тобою.

— С удовольствием. Таким игроком интересно быть и побитым.

Леонид Александрович был очень рад. Он самозабвенно любил теннис — вольность и разнообразие движений в нем, красоту и удобство теннисных костюмов, упоение от удачно посланного или принятого мяча. А тут еще встреча с таким мастером, как Кидалов.

Всегда, когда у него была радость, Леониду Александровичу было стыдно перед Люсей, больно, что она в ней не может участвовать, и поднималась к ней особенная нежность.

Молодежь ушла гулять. У Люси глаза были очень бледны, она с трудом поднялась со сту-

ла: начинался скрытый припадок малярии. Леонид Александрович подал ей руку, чтоб отвести в ее комнату. Но Люся сурово сказала:

— Не надо. Я с Анной Павловной. Иди к себе работать.

В просторной спальне от открытых окон стояла сыроватая ночная свежесть. Анна Павловна грела постель, Люся причесывалась на ночь. Разделась, подошла к постели, сказала устало:

— Какая я счастливая! Уж не нужно раздеваться, не нужно причесываться, все позади. А постель какая мягкая, какая нагретая! — С наслаждением завернулась в одеяло. — Ой, как хорошо!.. Как тепло! — Притянула за руку Анну Павловну и шепнула:— Анна Павловна, милая! Я вам так благодарна за вашу всегдашнюю заботу обо мне! Я не представляю, что бы я без вас делала. Мне только перед вами не стыдно страдать.

Анна Павловна изумилась.

— Вы — благодарны мне! Я никогда не смогу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали.

Люся засмеялась, махнула рукой и сказала:

— Ну, покойной ночи! Знакомство их началось так.

Года два назад, в слякотный осенний день, Люся шла через Патриаршие пруды и увидела на скамеечке маленькую женщину с трясущейся головою. Лицо женщины, мокрое от мелкого дождя, застыло в таком страдании и отчаянии, что Люся невольно повернула к ней, села рядом и заговорила. Старушка отшатнулась. Но Люся была мягко настойчива, и постепенно старушка все рассказала. История была простая. У нее умерла от тифа единственная дочь восемнадцати лет, вузовка, в которой была вся ее жизнь. Люся с жадным участием расспрашивала, и старушка с радостью рассказывала, какая ее девочка была талантливая, красивая, добрая, как ее все любили. Люся просидела со старушкой под зонтиком два часа. Старушка плакала, а Люся ей говорила, говорила горячо и долго. Ни Анна Павловна, ни сама Люся не смогли бы передать, что именно говорила Люся. Дело было не в словах, не в мыслях, не в логике. Действовала спокойная мягкость голоса, несокрушимая вера в жизнь, ясно осязаемое, жаркое

сочувствие. Как будто музыка звучала, серьезная и торжественная. Анна Павловна слушала и облегченно плакала.

После этого Анна Павловна несколько раз была у Люси. Эта больная, уже негодная для жизни женщина непонятным образом давала ей силу нести горе и опять привязала ее к жизни. Вышло как-то так, что Анна Павловна поселилась у Люси и стала в доме совершенно незаменимой: заведовала хозяйством, ухаживала за Люсей, чинила белье и платье. И решительно отказывалась от вознаграждения. Жила же тем, что шила на заказ. Люсю она любила сильно, благодарною любовью, окружала материнскою заботою, в нее вкладывала весь огромный запас любви, который оставался в ее душе неистраченным после смерти дочери.

И обеим было хорошо друг от друга.

Утром Леонид Александрович проснулся по-обычному в мрачном настроении. Еще отуманенный сном, он только ощущал владевшую душою мутную тоску, но не мог бы даже ответить, с чего она. Вечные дома болез-

ни. Вообще всегда что-нибудь мешает полной радости. Ах да, вот что сейчас главное, Борис. Скоро из-за неуспешной учебы ему придется покинуть вуз. Куда, к чему его приспособить? Перед необходимостью всякого решительного действия Леонид Александрович терялся и становился беспомощным. С Люсей надо поговорить.

Комната ее уже была прибрана. Люся, одетая, лежала на кушетке и читала. В раскрытые окна сквозь листья ясеней рвались в комнату запахи сада, зеленый солнечный свет, стрекот и птичий гам. Люся рассеянно протянула мужу руку и, полная большой внутренней сосредоточенности, медленно стала читать из книжки:

*Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне — и я во всем...*

Леонид Александрович нежно поцеловал

ее и спросил:

— Чье это?

— Тютчева.

В глазах Люси он прочел ту бурно кипящую радость, которая ею овладевала при художественных или умственных переживаниях.

Он нерешительно сказал:

— Мне хочется поговорить с тобою об одном деле, но, может быть, потом? Это не к спеху.

— Нет, отчего! Говори сейчас!

— О Борисе. Беда мне с ним. Мальчик он добрый, но какая умственная пустота и какое легкомыслие! Наукой не занимается, курса, наверно, не кончит. И думает только о теннисе. Говорить с ним совершенно безнадежно: он всею душою рад пойти мне навстречу, но что способен вместить этот низкий и отлогий лоб спортсмена, кроме дум о теннисе и футболе?

Он угрюмо зашагал по комнате. Люся спокойно ответила:

— Страшного тут ничего нет. Лобика ему не переделаешь. Нужно мириться с тем, что

есть.

— Это довольно печально.

— В нынешнее время ничего не печально. Отчего ему не стать, например, инструктором по теннису? Чем это плохо? Пусть переведется в физкультурный институт. Что у тебя за склонность все видеть в мрачном свете и сейчас же падать духом! А по-моему, как бы было хорошо, если бы взамен постылой термодинамики и дифференциального исчисления у него явилась работа, в которой бы он горел душою. Ведь это же красота! Как я буду рада за него!

Леонид Александрович все больше светлел. Он подсел к Люсе, прижал ее ладонь к своей щеке.

— Поговоришь с тобою — и сразу как-то становится на душе крепко. Подумаю. Это выход. — Встал и весело сказал:— Ну, пойду купаться!

Странный встречается народ среди художников. Публика читает юмориста и покатывается со смеху, а сам он угрюм и в жизни никогда не смеется. С самою искреннею ненавистью писатель громит мещанство, а сам не

живет как мещанин только потому, что живет как владетельный принц. Смеясь, умиляясь, любя, ненавидя, художник в творчестве своем искренне и сильно переживает соответственные чувства. А в жизни проявляет их очень мало. И в творчестве его нет никакой фальши! Этим он в корне отличается от художников неискренних, приноравливающих, чувствующих про себя одно, а выражающих другое. Таких художников читатель раскусывает скоро и не стоит перед их биографией в недоумении, как перед биографией, например, Некрасова, Достоевского или Гейне.

Творчество Леонида Александровича дышало мужеством и благоговейною, чисто религиозною любовью к жизни. Но сам он был к жизни мрачно равнодушен, она не зажигала его, в будущем он опасливо ждал от нее самого плохого... Был косен и неактивен. В углах губ его красивого лица всегда лежала угрюмая складка. И часто Люся говорила ему:

— Леня, Леня, почему у тебя всегда такое нерадостное лицо? Да оглянись вокруг, погляди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг какому-нибудь там верховному существу взбре-

дет в голову мысль устроить суд над людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было дано в жизни так много, а как ты к этому относился? Ничего не замечал». И даст оно тебе подзатыльник, и ты кувыркком полетишь в бездну скуки, ничтожества и равнодушия. И поделом тебе будет!

Сама несчастная, кругом обделенная жизнью, Люся была подлинною музою Леонида Александровича, вдохновлявшею его на бодрость и радость.

У Люси стали сильно разбалчиваться зубы. В начале августа она поехала в Москву к зубному врачу. На обратном пути полил дождь с холодным ветром. Она вышла из машины продрогшая, бледная. Леонид Александрович заботливо спросил:

— Ну, что?

— Еще беда! И без того своих зубов почти уже нет, а тут: три зуба вырвать, две коронки, протез... Совсем хочет опустошить мой рот. И сам говорит: «Уж не знаю, на чем мне прикрепить протез». Господи, что же это!.. Ну, да ничего!

Но в потускневших глазах Леонид Александрович прочел отчаяние. Она прошла к себе, попросив прийти Анну Павловну. Начинаясь жестокая мигрень.

Весь день она мучилась несказанно. Анна Павловна клала ей на голову горячие компрессы, поддерживала лоб при мучительных позывах на рвоту. К вечеру Люся заснула. К ночи позвала Леонида Александровича.

Лежала успокоенная, с ласковым, измученным лицом. Он тихо целовал ее худые руки.

— Трудно тебе, бедная моя!

— Ну, бедная! Сейчас ничего. Вот утром — да! Пала духом. Тогда стала бедная. А это — самое страшное преступление, какое только можно себе представить, — пасть духом. Тогда убивается все, и право жить на свете остается только за счастливыми.

Он продолжал целовать ее пальцы, а сам думал: «Как может она жить в этих непрерывных бедах? Я бы уж давно покончил с собою».

Большие черные глаза Люси засветились. Она говорила мечтательно:

— Ты сказал: трудно. Мне недавно пришло

в голову: трудно, когда человек думает о будущем или прошедшем. А без этого жить всегда можно. Как все живое, кроме человека, — не заглядывать в будущее, не вздыхать о прошедшем. Как это у Тютчева? погоди.

*Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет;
И страх кончины неизбежной
Не свет с ветки ни листа.
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.*

Леонид Александрович думал: «Она настойчиво вырабатывает для себя особую, свою философию преодоления страдания».

Люся говорила:

— Вот я и спрашиваю себя: ну, если не думать о прошедшем и будущем, чем мне сейчас плохо? Зубы не болят, голова прошла, на душе тихо, в спальне моей так уютно, в окно смотрит Юпитер... И ты возле меня... О моя дорогая рука!

Она гладила его руку, сиявшими любовью глазами смотрела на него и вдруг сказала:

— Ничего, что ты в жизни такой нытик. Ты всегда будешь творцом советского архитектурного стиля, от которого радостно улыбнется весь мир... Да, да!

Веселым солнечным утром Люся рыхлила в цветнике землю вокруг тубероз и подвязывала к палочкам их вытянувшиеся, пышно зацветавшие головки. Вышел из дома Леонид Александрович.

— Я сейчас еду в Москву. Нужно тебе там что-нибудь?

— Ой, как хорошо! Нужно очень. Сейчас, когда я вот здесь смотрела с обрыва на заречные дали, мне вдруг вспомнилась одна наша факультетская лекция о Демокрите, греческом философе. Особенно одно его изумительное слово — ейтемия. И захотелось хорошо познакомиться с ним. Пожалуйста, поищи его у вас в библиотеке или еще где-нибудь и привези сегодня же.

Леонид Александрович неохотно возразил:

— Как же его искать?

— Только не говори себе с самого начала, что это невозможно. Если не на русском, то,

наверно, на немецком найдется перевод дошедших до нас его отрывков. Только чтобы в подлиннике, а не в пересказе ученого тупицы. В университетской фундаментальной библиотеке, наверно, найдется.

Необходимость всякого энергичного действия вызывала у Леонида Александровича тоску. Люся внимательно посмотрела на него и настойчиво сказала:

— Леня, преодолей себя. Мне очень нужно. Ну как при желании не найти — где? В Москве!

Он ответил с сомнением в голосе:

— Постараюсь.

Оказалось, найти было совсем нетрудно. Как раз только что вышло в русском переводе издание всех отрывков Демокрита, и Леонид Александрович с торжеством привез купленную книжку.

Люся с жадностью сейчас же принялась читать. Читала до вечера и сердилась, когда ее отрывали. К ужину она вышла с прочитанною уже книжкою. Люся обладала редкою способностью очень быстро читать и усваивать прочитанное.

Ужинали на застекленной террасе. Была половина сентября, но стояла такая теплынь, что все рамы были отодвинуты и теплые волны аромата тубероз плыли с цветника на террасу. Небо непрерывно дрожало тусклыми взблесками. Голубоватые зарницы перебежали с тучки на тучку, на миг выделяя их темные силуэты. Вся природа как будто была полна смутной нервной тревоги.

Огромные черные глаза Люси блестели, лицо было необычно оживлено. Как будто большим праздником была охвачена душа.

Она сказала:

— Ну, молодежь, слушайте и вы. Может быть, и вам будет интересно.

Дрожащими от волнения пальцами она перебирала по закладкам листы.

— Вот! Во-первых: огромный, всеобъемлющий гений. Путем почти одной интуиции он строит миропонимание, которое только через десятки веков было подтверждено наукой. Вы только послушайте! Все вещество состоит из атомов. Мир бесчисленное множество. Ничего не возникает из ничего. Люди явились на свет подобно червякам, без всякого творца

и без всякого разумного основания. Борьба за существование научила людей всему. Ощущения и мысли — только изменения тела... Это все он говорил больше двух тысяч лет назад! — в восторге воскликнула Люся.

Леонид Александрович мягко положил руку на ее локоть.

— Люся, не так страстно! Разволнуешься — не будешь спать ночь.

Она сердито сверкнула глазами.

— Господи! Знаешь ли ты хоть какую-нибудь радость, из-за которой не побоялся бы бессонной ночи!

И продолжала говорить. Она горела, глаза светились жарким, как будто собственным светом. Вся она была в полном упоении от встречи с великим умом эллинской древности.

Леонид Александрович думал: да, радости такого размаха, какую сейчас переживает Люся, сам он, может быть, никогда в своей жизни не знавал. Даже самый яркий подъем вдохновения мутнел у него от мысли: «Не одолею, ничего не выйдет!» И удивительно, как из всего вокруг она умеет извлекать ра-

дость — из большого и малого. Симфония Бетховена и писк зверюшки в ночном болоте, великий человеческий подвиг и земляника со сливками — ото всего она в восторге обо всем: «Ой, как хорошо!»

Люся продолжала:

— В этой же книжке приведено: «Сенека называл Демокрита „самым тонким из древних“». А кто его у нас сейчас знает? Никто. Теперь вот! Самое главное. Слушайте. В чем высшее благо? Важно только одно: «эйтимия». «Ей» по-гречески значит «хорошо», «thymia» — «дух». Переводчик в этой книжке переводит: «хорошее расположение духа». Хорошее расположение духа!.. Человек вкусно пообедал, закурил сигару, прихлебывает кофе — вот хорошее расположение духа. Но как перевести? «Прекраснодушие», «благодарнодушие»... Это все у нас уже с совершенно определенным значением. Нужно какое-то особенное слово. По-моему, вот какое: «радостнодушие». Слушайте же!

Леонид Александрович обеспокоенно переглядывался с Анной Павловной. Подъем даже для Люси был совершенно необычный, внут-

реннее пламя как будто сжигало ее. Но оставив ее было бесполезно — только сердить.

Люся читала по книге:

— «Цель — равнодушие. Оно не тождественно с удовольствием, как некоторые по непонятливости своей истолковали, но такое состояние, при котором душа живет бодро и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни болезнью демонов, ни каким либо другим страданием». Демокрит называет такое состояние также бесстрашием и счастьем... Вот! Правда, замечательно?

— Замечательно! — отозвался Леонид Александрович. Анна Павловна сочувственно кивнула головой. Молодежь неопределенно промычала. Она осталась глубоко равнодушной. Миропонимание Демокрита было для них банальнейшими аксиомами, а «радостно-душия» у них самих было столько, что проповедование его казалось странным. Они с недоумением смотрели на восторженное оживление Люси. Поговорили, сколько требовала вежливость. Ира переглянулась с Борисом и Валей.

— Какая ночь замечательная! Пойдемте, ребята, пройдемся к реке!

— Пошли!

Шумно разговаривая, они скрылись в тревожно сверкавшей зарницами тьме.

Люся с любовною улыбкою перелистывала книгу. Она сказала усталым голосом:

— Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданиями — вот счастье! Леня, дорогой мой, как бы я хотела, чтобы ты почувствовал, сколько в этом счастья! А ты все измысливаешь себе каких-то «демонов»! Ой, как я боюсь: вдруг эти демоны прокрадутся и в твоё творчество!..

Вдруг она замолчала. Глаза взглянули странно. Еще более побледневшее лицо склонилось на плечо. Книга упала. И Люся всем телом заскользила с кресла на пол.

Борис мчался в машине Леонида Александровича в Москву за профессором Багадуровым, всегда лечившим Люсю.

Догоравший костер вспыхнул последним ярким светом и теперь чуть тлел, угасая.

Люся быстро приближалась к смерти. Она

стала малоразговорчива. Все силы ее были устремлены на преодоление темных волн, набегавших на душу, на смотрение поверх этих волн, в широкую даль, где она хотела видеть блеск и свет. Однажды она сказала мужу:

— А знаешь, Леня, в смерти определенно есть какая-то скрытая радостность. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!

Леонид Александрович хотел переехать с нею в Москву. Но она упорно отказывалась.

— Довольно лечений и курортов. Ничего мне уж не поможет, а я хочу видеть желтеющие березы, сверкающие в воздухе паутинки, трепеты воробьиной ночи.

С каждым днем она все больше худела и слабела. Малокровие быстро усиливалось. В ушах стоял непрерывный, очень тягостный звон.

Леонид Александрович, низко опустив голову, сидел возле ее постели. Дождь хлестал в окна, небо было серое, ветки ясеня бились под ветром, бросая желтые листья в воздух, полный брызг. Люся лежала вытянувшись, с

закрытыми глазами и тихим голосом говорила, как будто сама с собою:

— Какой странный звон в ушах! Как будто тысяча кузнечиков стрекочет кругом. Вспоминается детство, наше Опасово, залитый июльским солнцем большой наш сад.

*А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомный звон!..*

А потом вечер. От нагретого за день каменного крыльца дышит теплом. Падает роса. И задумчиво трещат сверчки... Как хорошо!

1943

Примечания

Из стихотворения А. А. Фета «Еще весна, —
как будто неземной какой-то дух ночным вла-
деет садом...» (1847).

[^^^]

2

Из VII главы романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1860).

[^^^]

3

Гартман Эдуард (1842–1906) — немецкий реакционный философ-идеалист, которого В. И. Ленин назвал «истинно-немецким черносотенцем» (В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 273).

[^^^]

4

Из лирической драмы А. Н. Майкова «Три смерти» (1852) «...И незаметно ветер крепкий потопит нас среди зыбей, как обесмысленные щепки победоносных кораблей...»

[^^^]

5

Буквально: ужасный ребенок; здесь — человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (*франц.*).

[^^^]

Пожарск может собственных Невтонов рож-
дать! — Из «Оды на день восшествия на Все-
российский престол ее величества государы-
ни императрицы Елисаветы Петровны, 1747
года» М. В. Ломоносова. Невтон — Исаак Нью-
тон (1643–1727), великий английский физик и
математик.

[^^^]

7

Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво,
любите меня! (*Немец. поговорка.*)

[^^^]

Женский медицинский институт был открыт в Петербурге в 1897 году.

[^^^]

«Опасные связи» — роман в письмах французского писателя Шодерло де Лакло (1782), показывающий разложение французского светского общества конца XVIII века.

[^^^]

Фома Кемпийский (1379–1471) — средневековый философ-мистик, автор книги «Подражание Христу» (1427).

[^^^]

Теория фагоцитоза — открытая в 1883 году И. И. Мечниковым способность особых клеток живого организма, фагоцитов, защищаться от посторонних частиц, в том числе микробов.

[^^^]

Гипотеза Альтмана — реакционная теория (1890) строения живого вещества, выдуманная немецким медиком Альтманом и отвергнутая впоследствии наукой.

[^^^]

Земство — местное (земское) самоуправление. Земская ре-форма 1864 года — «это, — по определению В. И. Ленина, — именно такая, сравнительно очень мало важная, позиция, которую самодержавие уступило растущему демократизму, чтобы... разделить и разъединить тех, кто требовал преобразований политических...» (Соч., т. 5, стр. 59). В 1890 году было введено новое земское положение, лишавшее земство даже видимости всеобщности в избирательной системе.

[^^^]

Акцизная часть — управление, ведавшее акцизом — видом косвенного налога на производителей или продавцов товаров массового потребления (табак, чай, сахар, спички и т. д.)

[^^^]

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) — по определению В. И. Ленина, «...герой либеральных буржуа и тупых мещан...» (Соч., т. 20, стр. 131), был премьер-министром Англии в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894 годах.

[^^^]

Джордж Генри (1839–1897) — американский мелкобуржуазный экономист — «буржуазный национализатор земли», как писал В. И. Ленин (Соч., т. 13, стр. 367).

[^^^]

17

Цитата из евангелия от Матфея, гл 10, 36.

[^^^]

«Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева.

[^^^]

«Без догмата» Сенкевича.

[^^^]

Рассказ этот в свое время вызвал со стороны критики немало нареканий за то, что лишен действия и состоит из одних разговоров. Нарекания были вполне законны. Но показать представителей молодого поколения в действии было по тогдашним цензурным условиям совершенно немыслимо. Даже в предлагаемом виде рассказ мог появиться в свет только после долгих мытарств. Время действия относится к лету 1896 года, когда в Петербурге вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, отметившая собою нарождение у нас организованного рабочего движения. — Автор.

[^^^]

Нижегородская выставка — Нижегородская всероссийская художественно-промышленная выставка была открыта 28 мая 1896 года и работала по 1 октября 1896 года.

[^^^]

На Страстном бульваре находилась редакция реакционной газеты «Московские ведомости».

[^^^]

Впереди про это рассказано в дневниковой записи за 1 июля (стр. 34).

[^^^]

Съезд состоялся в Ганновере в 1899 году и осудил Э. Бернштейна, автора книги «Проблемы социализма» (1898), в которой ревизуются основные положения марксизма.

[^^^]

Заимствование у А. С. Грибоедова (см. комедию «Горе от ума», действие 2, явление 4).

[^^^]

«Гамлет», действие 1, явление 5.

[^^^]

Ария из оперы А. Г. Рубинштейна «Демон» (1872), написанной на слова поэмы М. Ю. Лермонтова.

[^^^]

Из стихотворения А. А. Фета «Приметы»
(1854–1855).

[^^^]

Из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861).

[^^^]

Начало русской революционной песни на мотив французской «Марсельезы». Слова П. Л. Лаврова.

[^^^]

Серия приключенческих романов французского писателя Понсон дю Террайля (1829–1871), выходявших в Москве в 1874–1875 годах. Он же автор авантюрно-приключенческих романов «Похождения Рокамболя» и «Воскрешение Рокамболя».

[^^^]

Из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) М. Ю. Лермонтова.

[^^^]

Драматическая поэма норвежского драматурга Генриха Иоганна Ибсена «Пер-Гюнт» (1866), действие 2.

[^^^]

Одна из основных работ (1781) немецкого философа-идеалиста Иммануила Канта.

[^^^]

Беклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский художник-символист, автор картин «Остров мертвых», «Поля блаженных», «Священная роща» и др. Был популярен в буржуазной среде.

[^^^]

«Орля» — повесть Ги де Мопассана (1887).

[^^^]

Свобода! Равенство! Братство! (франц.)

[^^^]

Говорите о себе!.. (от франц. Parlez pour vous!..)

[^^^]

Бесполезно!
Superflu!..)

Бесполезно!..

(от франц.

[^^^]

держитесь прямо! (*фр.*)

[^^^]